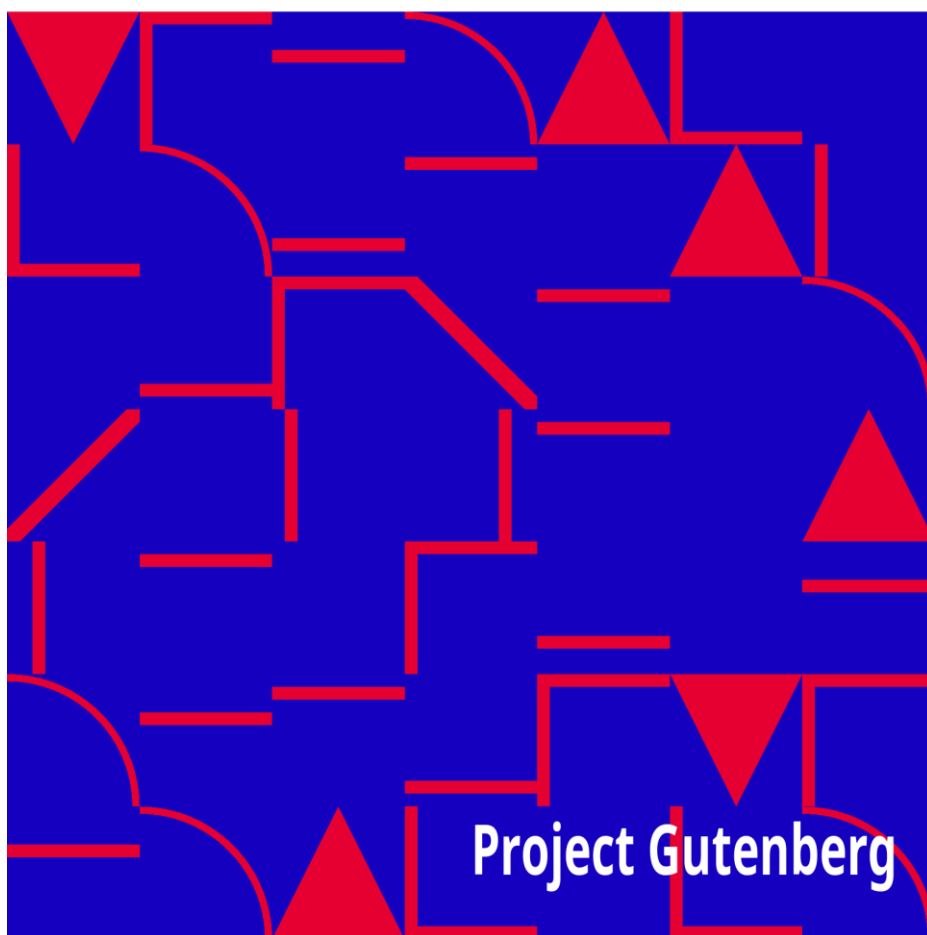


Общественная жизнь Рима в эпоху Цицерона

У. Уорд Фаулер

Social life at Rome in the Age of Cicero

W. Warde Fowler



Электронная книга проекта Гутенберга о общественной жизни Рима в эпоху Цицерона

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Общественная жизнь Рима в эпоху Цицерона

Автор: У. Уорд Фаулер

Дата выхода: 1 февраля 2004 г. [Электронная книга № 11256]

Последнее обновление: 28 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсеры: Тед Гарвин, Николас Хейс и корректоры PG Distributed

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РИМА В ЭПОХУ ЦИЦЕРОНА" ***

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РИМА В ЭПОХУ ЦИЦЕРОНА

У. УОРД ФАУЛЕР, магистр медицины

'Ad illa mihi pro se quisque acriter intendat animum, quae vita, quae mores fuerint.'—LIVY, *Praefatio*.

AMICO VETERRIMO

И.А. СТЮАРТ

ROMAE PRIMUM VISAE

ПРИХОДИТ ВОСПОМИНАНИЕ

Д.Д.Д.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально предполагалось, что эта книга станет дополнением к книге профессора Такера "Жизнь в древних Афинах", опубликованной в журнале Messrs. Серия руководств Макмиллана по археологии и искусству; но от этого плана отказались по причинам, на которых мне нет необходимости останавливаться, и прежде чем книга была полностью закончена, меня призвали к другой, более специализированной работе. В нынешнем виде это всего лишь попытка удовлетворить образовательную потребность. В наших школах и университетах мы читаем великих писателей последней эпохи Республики и узнаем кое-что из ее политической и конституционной истории; но на нашем языке нет книги, которая давала бы представление о жизни и нравах, образовании, морали и религии в тот чрезвычайно интересный период. Общество эпохи Августа, которое во многих отношениях было совсем другим, известно гораздо

лучше; и в последнее время увлекательные книги моего друга профессора Дилла познакомили нас с общественной жизнью двух периодов Римской империи. Но эпоха Цицерона в некотором смысле, по крайней мере, столь же важна, как и любой другой период Империи; это критический момент в истории греко-римской цивилизации. А в переписке Цицерона, состоящей из более чем девятисот писем современников, мы имеем богатейшую сокровищницу общественной жизни, сохранившуюся с любого периода классической древности.

Помимо этой переписки и другой литературы того времени, моей опорой на протяжении всего времени был *Личный справочник по ремеру* Марквардта, который составляет последнюю часть большого *Справочника по ремеру* Моммзена и Марквардта. Я также в большом долгу перед профессорами Тиррелом и Персером, благодаря трудам которых мы получили текст писем Цицерона, которым мы можем с уверенностью пользоваться; все цитаты из этих писем были проверены в новом оксфордском учебнике, отредактированном профессором Персером. Еще одно имя, которое я должен упомянуть с благодарностью. Я твердо верю, что единственная великая надежда на классическое обучение заключается в интересе, который необразованная публика может пробудить в античной жизни и мысли. Мы только что потеряли французского ученого-ветерана, который, возможно, сделал для создания и поддержания такого интереса больше, чем любой человек своего времени; и я с радостью признаю, что именно книга Буассье *"Сисерон и друзья"* в дни моей молодости впервые заставила меня почувствовать реальность жизни и характер в эпоху, о которой я тогда почти ничего не знал, кроме запутанной политической истории.

Я должен поблагодарить моих бывших учеников, мистера Х.Э. Манна и мистера Гилберта Уотсона, за любезную помощь в доработке корректур.

В.В.Ф.

Содержание

ГЛАВА I

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ

Герой Вергилия прибывает в Рим по Тибру: мы следуем его примеру; обоснование этого; вид из Яникула и его уроки; преимущества положения Рима для обороны и наступления; недостатки с точки зрения торговли и оздоровления; взгляды римских писателей; прогулка по городу в 50 году до н.э.; Форум Боариум и Большой цирк; Porta Капена; виа Сакра; сумма сакра виа и вид на Форум; религиозные сооружения на восточной оконечности форума; Форум и его постройки во времена Цицерона; восхождение на Капитолий; храм Юпитера и вид с него.

ГЛАВА II

МЕНЬШЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

Распространение города за пределы первоначального центра; плебеи жили в основном в низинах; мало что известно о его жизни: безразличие литераторов; жилье: инсулы; отсутствие признаков домашней жизни; плохое состояние этих домов; как существовал плебс; вегетарианская диета; запасы кукурузы и их проблемы; закон о кукурузе Гая Гракха; результаты и более поздние законы; водоснабжение; история акведуков; занятость населения низшего звена; аристократическое презрение к розничной торговле; торговля золотом; отношение

свободного к рабскому труду; пекари; поставки овощей; одежды; кожи; железа и т.д.; давали работу большому количеству людей; носильщики; ненадежные условия труда; колебания рынков; отсутствие хорошего закона о банкротстве.

ГЛАВА III

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ И ИХ МЕТОДЫ

Значение equester ordo; как капиталист получил свои деньги; пример Аттика; приход богатства после Ганнибаловой войны; внезапность этого; подъем класса капиталистов; подрядчики; государственные подрядные компании; в эпоху и трудах Цицерона; их политическое влияние; и власть в провинциях; банкиры и ростовщики; происхождение римского банкира; характер его бизнеса; риски ростовщика; общая задолженность общества; Долги Цицерона; история Рабирия Постума; зло, совершаемое как подрядчиками, так и ростовщиками.

ГЛАВА IV

ПРАВЯЩАЯ АРИСТОКРАТИЯ

Старые дворянские семьи; их исключительность; отношение к ним Цицерона; новый тип дворянства; Сципион Эмилиан: его "круг"; его влияние на эпоху Цицерона в (1) манерах; (2) литературные способности; (3) философская восприимчивость; Римский стоицизм; его влияние на юристов; Сульпиций Руф, его жизнь и творчество; эпикурейство, его общее влияние на общество; случай Кальпурния Пизона; погоня за удовольствиями и пренебрежение долгом; пренебрежение сенаторскими обязанностями; легкомыслие молодых общественных деятелей; пример М. Целия Руфа; очерк его жизни и характера; жизнь Форума, как видно из писем Целия.

ГЛАВА V

БРАК И РИМЛЯНКА

Значение matrimonium: его религиозная сторона; показано на древнейшей церемонии бракосочетания; его юридический аспект; брак с отказом от брака; обручение; брачные обряды; достойное положение римской матроны; идеальная материнская семья; изменение характера женщин; его причины; дамы времен Цицерона; Теренция; Помпония; дамы общества и культуры: Клодия; Семпрония; развод, его частота; замечательная римлянка: Laudatio Turiae; история ее жизни и характера, записанная ее мужем.

ГЛАВА VI

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШИХ КЛАССОВ

Необходимо воспитание характера; Идея образования Аристотеля; образование в Риме мало интересовало; биографии умалчивают; образование Катона младшего; сына и племянника Цицерона; Варрон и Цицерон об образовании; древнеримское воспитание тела и характера; причины его разрушения; новое образование под греческим влиянием; начальные школы; используемые в школах сентенции; арифметика; утилитарный характер преподавания; продвинутые школы; преподавание слишком полностью лингвистического и литературного характера; ношение тоги вирилис; изучение риторики и права; ораторское искусство как главная цель; результаты это; Сын Цицерона в Афинском университете: его письмо Тирону.

ГЛАВА VII

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Спрос на рабочую силу во втором веке до нашей эры; как она поставлялась; работорговля; похищения пиратами и т.д.; разведение рабов; цены на рабов; возможная численность во времена Цицерона; экономический аспект рабства: мешало ли это свободному труду?; между ними нет явного соперничества; ни в Риме, ни на ферме; пастухи-рабы Южной Италии; они исключают свободный труд; юридический аспект рабства: абсолютная власть владельца; перспектива освобождения; политические результаты рабовладельческой системы; освобождения; этический аспект: разрушение семейной жизни; отсутствие моральных стандартов. ; последствия рабства для рабовладельцев.

ГЛАВА VIII

ДОМ БОГАЧА В ГОРОДЕ И ДЕРЕВНЕ

Жизнь на свежем воздухе в Риме; но римский дом изначально был домом; его религиозный характер; атриум и его содержимое; развитие атриума: перистилий; тяга к загородным домам: многолюдство в Риме; посетители, клиенты и т.д.; влияние городской жизни на человека; загородный дом Сципиона Африканского; водопой в Кампании; значение виллы во времена Цицерона: парк Гортензия; Виллы Цицерона: Тускулум; Арпинум; Формии; Путеолы; Кумы; Помпеи Астура; постоянная смена места жительства и ее последствия.

ГЛАВА IX

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Римское деление дня; солнечные часы; часы менялись в зависимости от сезона; ранний подъем римлян; отсутствие искусственного освещения; ранние часы Цицерона; ранние посетители; завтрак, за которым следуют дела; утро на Форуме; обед (prandium); сиеста; баня; ужин: его время становится более поздним; званые ужины: триклиний; выпивка после ужина; безразличие Цицерона к столу; его прием у Цезаря в Кумах.

ГЛАВА X

ПРАЗДНИКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ УВЕСЕЛЕНИЯ

Итальянская феста, древняя и современная; значение слова *feriae*; изменение его значения; праздники плебса; фестиваль Анны Перенуа; Сатурналии; люди и их происхождение; люди рома и плебеи; другие люди; поддерживается государством; частными лицами; вход бесплатный; Большой цирк и гонки на колесницах; гладиаторы на погребальных играх; театральные постановки в *ludi*; политические настроения, выраженные в театре; упадок трагедии во времена Цицерона; первый постоянный театр, 55 г. до н.э.; открытие Театр Помпея; рассказ Цицерона о нем; великие актеры времен Цицерона: Эзоп; Росций; фарсы; Публилий Сирус и пантомима.

ГЛАВА XI

Религия

Отсутствие настоящего религиозного чувства; пренебрежение богослужением, за исключением семейного; иностранные культы, например, Исиды; религиозная позиция Цицерона и других

общественных деятелей: свободомыслие в сочетании с поддержанием божественного закона; Лукреций осуждает любую религию как унижающую достоинство: его неспособность найти ей замену; Стоическое отношение к религии: стоицизм находит место для боговгосударства; отношение Варрона к теологии по-стоическому; его монотеистическая концепция Юпитера Капитолийского; Юпитер-стоик - юридическое, а не моральное божество; Юпитер в "Энеиде"; суеверие эпохи; вера в предзнаменования, видения и т.д.; идеи бессмертия; чувство греховности или отчаяния перед будущим.

ЭПИЛОГ

Указатель

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ПЛАН ДОМА СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ В ПОМПЕЯХ

КАРТА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИЛЛ ЦИЦЕРОНА

ПЛАН ВИЛЛЫ ДИОМЕДА В ПОМПЕЯХ

ПЛАН ТРИКЛИНИЯ

Карта

РИМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЕСПУБЛИКИ *В конце тома*

Переводы отрывков из этой книги на иностранные языки можно найти в Приложении, следующем за страницей 362.

ГЛАВА I

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ

Современный путешественник, прибывающий в Рим по железной дороге, едет в свой отель по неинтересным улицам современного города, а оттуда направляется на Форум и Палатин, где его внимание быстро поглощается раскопками, в которых ему трудно разобраться. Вполне вероятно, что он может покинуть Рим, ни разу не представив возможности осмотреть все окрестности древнего города или задать вопрос и, возможно, ответить на него, как он вообще оказался там, где находится. Занимаясь музеями и картинными галереями, он вполне может потерпеть неудачу в "totam aestimare Romam". [1] Предполагая, что читатель никогда не был в Риме, я хочу перенести его туда в воображении и с помощью карты совершенно другим маршрутом. Но сначала пусть он возьмет в руки восьмую книгу *Энеиды* и заново прочтет древнейшую и наиболее живописную из всех историй о прибытии в Рим; [2] пусть он выбросит из головы все справочники и сосредоточит ее на Энее и его кораблях на их пути из моря к месту строительства Вечного города.

Вергилий проявил себя настоящим художником, подняв своего героя вверх по Тибру, который в его время свободно использовался для навигации до города и даже над ним. Он увидел, что только у реки он мог высадиться именно там, где его дружелюбный хозяин мог показать ему, почти с первого взгляда, каждую существенную особенность этого места, каждое место, наиболее почитаемое древностью в умах его читателей. Плывя вверх по реке, которая милостиво замедлила свое быстрое течение, Эней вскоре увидел стены и цитадель и высадился сразу за тем местом, где Авентинский холм круто обрывается почти к самой кромке воды. Здесь

в исторические времена находилась римская верфь; и здесь, когда поэт был ребенком, Катон высадившись с добычей на Кипре, как на ближайшем берегу реки для передачи этой несправедливо нажитой прибыли в казну под Капитолием.[3] Вергилий представляет берег, покрытый лесом, и в лесу — там, где впоследствии был Форум Боариум, людное место — Эней находит Эвандра приносящим жертву на Ара максима Геркулеса, из всех мест лучшим отправным пунктом для прогулки по сердцу древнего города. Справа был Авентин, возвышающийся примерно на сто тридцать футов над рекой, и это был первый из холмов Рима, который произвел впечатление на чужеземца сказкой о Геракле и Какусе, которую Эвандер рассказывает своему гостю. Впереди, но близко, был длинный западный склон Палатинского холма, где, когда история будет рассказана и обряды Геракла завершены, Энею должны были показать пещеру Луперкаля; и снова слева, на расстоянии двухсот ярдов от реки, должен был быть Капитолий:

Hinc ad Tarpeiam sedem et Capitolia ducit,
Aurea nunc, olim silvestribus horrida dumis.

Под ним герою показано святилище вещейней нимфы Карменты с Воротами Карменталис, ведущими в Марсово поле; затем лощина, которой суждено было однажды стать Римским форумом, а за ней, в долине небольшого ручья, который здесь сбегал с равнины за ним, - роща Аргилетум. Здесь и выше по склону священного Клива, с которым мы вскоре познакомимся, паслись стада Эвандера, который затем приглашает своего гостя отдохнуть на ночь в своем собственном жилище на Палатине, месте самого древнего римского поселения.[4]

То, что Эвандер показал своему посетителю, как мы сейчас увидим, включало в себя все сердце и жизнь города, какими они должны были стать, все, что лежало под крутыми склонами трех почти изолированных друг от друга холмов - Капитолийского, Палатинского и Авентинского. Поэт знал, что ему не нужно продлевать их прогулку до других так называемых холмов, которые спускаются отрогами с равнины Кампании, — Квиринала, Эсквилина, Целиана. Какими бы густонаселенными они ни были в его время, они не были важными органами социальной и политической жизни; пульс Рима сильнее всего ощущался на пространстве между ними и рекой, где также были зафиксированы древнейшие и наиболее почитаемые ассоциации римского народа, мифические и исторические. Я предлагаю подвести читателя, с единственным отклонением, к той же теме и попросить его представить ее такой, какой она была в тот период, о котором мы рассказываем в этой книге. Но сначала, чтобы окинуть взглядом и умом весь город и его расположение, давайте оставим Энея и перейдем на правый берег Тибра у моста Эмилия, [5] поднимемся к форту Яникулум, древнему фортификационному сооружению против нападения с севера, через виа Аврелия, и отсюда насладимся видом, который Марциал сделал навеки знаменитым:

Hinc septem dominos videre montes
Et totam licet aestimare Romam,
Albanos quoque Tusculosque colles
Et quodcunque iacet sub urbe frigus.

Никто, кто когда—либо стоял на Яникуле и смотрел вниз на реку и город, а также через латинскую равнину на гору Альбан и длинную линию холмов — последние отроги Апеннин, - окаямляющих равнину на севере, не может не понимать, что *Рим изначально был форпостом*

латинян, ее родственников и союзников, против могущественной и зловещей этрусской расы, обитавшей в холмистой местности на севере. Это место было форпостом, потому что три изолированных холма делают его естественным пунктом обороны и нападения на север, если бы атака была желательна; ниже по реке подобной выгодной точки не найти, и если бы город был расположен выше, Лациум остался бы открытым для атаки, — три холма были бы оставлены открытыми для врага, чтобы прочно закрепиться на латинской земле. Кроме того, как оказалось, это была замечательная операционная база для ведения войны на длинном и узком полуострове, столь неудобном, как на свой страх и риск обнаружил Ганнибал, для разработки определенного плана завоевания. Из Рима, по ту сторону Тибра, армии могли действовать на "внутренних линиях" против любой комбинации — могли нанести удар на север, восток и юг в один и тот же момент. Имея за спиной верного Лация, ее нельзя было взять с тыла; непобедимый Ганнибал действительно однажды приблизился к ней с этой стороны, но снова отступил, как волна, набегающая на скалистый берег. С моря ни один враг никогда не пытался добраться до нее, пока Гензерихх не высадился в Остии в 455 году нашей эры.

Таким образом, нетрудно понять, как Рим стал ведущим городом Лация; как он проложил свой завоевательный путь в Этрурию на севере, страну странного народа, который когда-то угрожал господствовать над всей Италией; как он продвинулся вверх по долине Тибра и ее притокам в сердце Апеннин, а затем на юг, в осканскую страну Самний и плодородную равнину Кампания. Один взгляд на карту Италии сразу покажет нам, насколько уместно замечание Ливия о том, что Рим располагался в центре полуострова.[6] Этот полуостров выглядит так, как будто он был разделен надвое Тибром, или, другими словами, Тибр осушает большую часть центральной Италии и несет воды вниз по хорошо обозначенной долине к центральной точке западного побережья, с объемом воды большим, чем у любой другой реки к югу от По. Таким образом, город, господствующий над долиной Тибра, и особенно над нижней ее частью, находится в стратегически выгодном положении по отношению ко всему полуострову. Итак, Рим, как заметил Страбон, был единственным городом, действительно расположенным на берегу реки; и Рим находился не только на реке, но и с древнейших времен по обе стороны от нее. Она владела землей на обоих берегах от своего собственного участка до устья Тибра в Остии, как мы знаем из того факта, что у одного из ее самых древних жрецов [7] была священная роща в пяти милях вниз по реке, на северном берегу. Таким образом, у нее был легкий доступ к морю по реке или по суше, а также открытый путь вглубь страны вверх по единственному большому естественному входу из моря в центральную Италию.[8] Ее положение на Тибре во многом похоже на положение Испании (Севильи) на Бетисе или Арля на Роне, городов, открывающих путь торговли или завоеваний вверх по бассейнам двух великих рек. Несмотря на некоторые недостатки, которые следует отметить сразу, в Италии не было такого благоприятного положения для мужественного народа, способного сражаться и завоевывать. Капуя, расположенная на богатой вулканическими ресурсами равнине Кампании, обладала гораздо большими преимуществами в плане природных богатств; но Капуя находилась слишком далеко на юге, в более изнуряющем климате, и мужественность никогда не была одной из ее сильных сторон. Корфиниум, расположенный в самом сердце Апеннин, когда-то казался грозным соперником и какое-то время был центром мятежной конфедерации; но этот город находился слишком близко к восточному побережью — невыносимое положение для первопроходца итальянского владычества. Италия обращена на запад, а не на восток; почти все ее естественные гавани находятся на западной стороне; и хотя гавань в Остии из-за большого

количества ила, наносимого Тибром, никогда не была хорошей, это единственный порт, о котором можно сказать, что он обеспечивает вход в центр полуострова.

Однако никто не стал бы утверждать, что положение Рима является идеальным. Взятая сама по себе, без привязки к Италии и Средиземноморью, эта позиция мало что может рекомендовать. Он расположен слишком далеко от моря, почти в двадцати милях вверх по долине реки с неудобно быстрым течением, чтобы быть крупным торговым или промышленным центром; а таким центром Рим на самом деле никогда не был за всю свою историю. По соседству нет крупных природных источников богатства — ни рудников, подобных Лауриуму в Аттике, ни обширных земель, где выращивают кукурузу, подобных Карфагену. Река тоже была подвержена наводнениям, как и сейчас, из знакомая ода Горация рассказывает нам, как во времена Августа вода доходила даже до центра города.[9] Наконец, это место никогда по-настоящему не было здоровым, особенно в июле и августе, [10] которые являются самыми смертоносными во всем бассейне Средиземного моря. Эпидемии были обычным явлением в Риме на заре его истории и оставили свой след в календаре его религиозных праздников; например, аполлинские игры были учреждены во время Ганнибаловой войны в результате эпидемии и назначены на нездоровый месяц июль. Иностранцы с севера Европы всегда были подвержены лихорадке в Риме; захватчики с севера никогда не могли долго выдерживать здешний климат; в средние века одна германская армия за другой таяли под его стенами и выходили из него таинственным образом победителями.

Есть некоторые признаки того, что сами римляне время от времени испытывали опасения по поводу превосходства своего места. Существовало предание, что после сожжения города галлами было предложено, чтобы люди покинули это место и переселились в Вейи, завоеванный этрусский город на севере, и что Камиллу потребовалось все красноречие, чтобы отговорить их. Это дало Ливию [11] возможность вложить в уста оратора великолепную похвалу городу и его окрестностям; но никакая подобная история не смогла бы найти места в римских летописях, если бы Капитолий так же глубоко запал в сердца людей, как Акрополь в сердца афинян. В более позднее время глубокой депрессии Гораций [12] мог бы фантастически предложить, чтобы римляне покинули свой древний дом, как фокейцы в древности, и искали новый на островах блаженных. Ходили слухи, что Цезарь намеревался перенести резиденцию правительства в Илион, и после Акции то же намерение приписывалось Августу, вероятно, безосновательно; но третья ода третьей книги Горация, по-видимому, выражает народные слухи, и в интересной статье Моммзен [13] высказал свое мнение, что новый властелин римского мира, возможно, действительно думал о переносе резиденции правительства в Византию, высочайшее удобство и красоту которой уже начали ценить.[14]

С другой стороны, Вергилий, хотя и был родом с подножия Альп и не любил Рим как место для проживания, абсолютно верен великим традициям этого места. Для него "*rerum facta est pulcherrima Roma*" (Георг. ii. 534); а в *Энеиде* судьба Рима настолько предсказана и выражена, что римский читатель не может думать о ней иначе, как в связи с городом. Тому, кто хочет убедиться в этом, достаточно еще раз обратиться к восьмой *Энеиде* добавить к очаровательной истории о первом посещении Энеем семи холмов великолепную картину происхождения и роста римского владычества, выгравированную на щите, который Венера дарит своему сыну. Цицерон, хотя и не был римлянином по происхождению, страстно любил Рим и в своем трактате "*О Республике*" с искренней любовью восхвалял ее "*nativa praesidia*".[15] Он говорит о Ромуле, "что он выбрал место, изобилующее источниками, здоровое, хотя и в

чумной местности; ибо ее холмы открыты для бризов, но дают тень ложбинам под ними". И Ливий в уже процитированном отрывке языком, даже более совершенным, чем у Цицерона, писал обо всех преимуществах этого места. , заканчивая описанием его как "regionum Italiae medium, ad incrementum urbis natum unice locum". Любопытно, что все эти панегирики были написаны людьми, которые не были уроженцами Рима; Вергилий был родом из Мантуи, Ливий - из Падуи, Цицерон - из Арпина. Они, несомненно, подлинные, хотя и в некоторой степени риторические; высказывания Цицерона и Ливия вряд ли можно назвать строго точными. Но взятые вместе, они могут помочь нам понять то очарование Рима, которому Вергилий придал такое неподражаемое выражение.

На этом месте, которое когда-то было переполнено только тогда, когда римские фермеры укрылись за стенами со своими семьями, стадами скота при угрожающем появлении врага, ко временам Цицерона собралось огромное население. Объединило это население множество причин, на которые здесь можно лишь мельком взглянуть. Как в Европе и Америке в наши дни, так и во всех странах Средиземноморья, начиная с эпохи Александра, наблюдалась постоянно возрастающая тенденция к переселению в города; и рост огромных городов, таких как Антиохия, Александрия, Карфаген, Коринф или Родос, со всеми неизбежно вытекающими социальными проблемами и осложнениями, является одной из наиболее заметных характеристик последних трех столетий до н.э. В Италии, в частности, помимо любви к приятной общественной жизни, свободной от физического труда, с различными удобными курортами и развлечениями, длинная серия войн способствовала увеличению населения, несмотря на то, что в Италии было много стран. постоянные потери от меча или эпидемии; для солдата-ветерана, который, возможно, годами служил за морем, было трудно вернуться к монотонной сельскохозяйственной жизни, или, возможно, его владения были присвоены каким-нибудь могущественным землевладельцем, с которым было бы безнадежно оспаривать владение. Войны также привели к неуклонному увеличению численности рабов в городе, многие из которых со временем выйдут на свободу, женятся и таким образом увеличат численность свободного населения. Это лишь некоторые из многих причин, действовавших после Пунических войн, которые собрали на месте Рима население, которое во второй половине прошлого века до нашей эры, вероятно, достигало полумиллиона или даже больше.[16]

Давайте теперь спустимся с Яникула и попытаемся представить себя в Риме времен Цицерона, скажем, в последний год Республики, 50 год до нашей эры, когда мы проходим по оживленным местам скопления людей. Мы не станем задерживаться на правом берегу Тибра, который, вероятно, долгое время был домом золотых дел мастеров [17] и где дальше вниз по течению богачи покупали землю для садов [18] и загородных вилл; но перейдем мост Эмилия, слева от нас будет остров Тибр, а вход в большую клоаку, которая отводила воду с Форума, обращен к нам, как и сейчас, немного справа. Мы оказываемся недалеко от форума Боариум, открытого рынка крупного рогатого скота, с магазинами (tabernae) вокруг него, как мы знаем из записи Ливия о пожаре здесь, в результате которого сгорели многие из этих магазинов и много ценных товаров.[19] Здесь, у реки, на самом деле был рынок в современном смысле этого слова; Римский форум, к которому мы направляемся, теперь был центром политического и судебного бизнеса, а также общественной жизни.

Мы могли бы отправиться прямо на великий Форум, вверх по Велабруму, или долине (когда-то болоту), прямо перед нами, между Капитолием слева и Палатином справа. Но когда мы смотрим в последнем направлении, наше внимание привлекает длинное низкое сооружение, почти

заполняющее пространство между Палатином и Авентином, и, повернув в этом направлении, мы оказываемся в нижней части Большого цирка, который до сих пор является главным местом увеселений римского народа. Две знаменитые святыни, по одной на каждом его конце, напоминают нам, что мы находимся на исторической земле. В конце, где мы стоим, и где находятся *карцеры*, отправная точка для состязающихся колесниц, была Ара максима Геракла, которая побудила Эвандера рассказать историю о Какусе своему гостю; на другом конце находился подземный алтарь Консуса, бога урожая, с которым была связана другая история, о похищении сабинянок. Все ассоциации этого квартала указывают на сельскохозяйственный характер ранних римлян; и скотоводство, и сбор урожая имеют соответствующий миф. Но сейчас здесь ничего не видно, кроме красивого маленького круглого храма более поздней постройки, который, как полагают, принадлежал Портунусу, богу места высадки с реки.[20]

Цирк, длиной около шестисот ярдов, во времена Цицерона все еще представлял собой в основном деревянное сооружение в форме длинного параллелограмма с приютившимися под его стенами лавками или балаганами; мы посетим его снова, когда будем говорить о публичных развлечениях.[21] Над ним справа находится Авентинский холм, густонаселенный квартал низших классов, увенчанный знаменитым храмом Дианы, божества, особо связанного с плебсом.[22] К этому храму вел склон Патриция; вниз по этому склону в последний день своей жизни спешил Гай Гракх, чтобы пересечь реку и встретиться со своими убийцами в роще Фуррина, место которой недавно было обнаружено. Если бы мы поднялись на нее, то увидели бы на берегу реки ниже и за ней склады и зернохранилища для хранения зерна для снабжения города продовольствием, которые Гракх был первым, кто расширил и организовал.

Но восхождение на Авентин сбило бы нас с курса. Продвигаясь к дальнему концу Цирка, где колесницы поворачивали к *метам*, мы можем на мгновение остановиться, поскольку перед нами ворота в городской стене, *Porta Capena*, через которые большинство путешественников с юга, пользующихся *виа Аппиа* или *виа Латина*, въезжали в город.[23] Тогда за стеной находился небольшой храм Марса, от которого каждый год в *иды Квинктилии* (июль) начиналась всадническая процессия, направлявшаяся в Капитолий тем же маршрутом, которым мы собираемся следовать. Мы также пойдем по стопам Цицерона в тот счастливый день 4 сентября 57 года до нашей эры, когда он вернулся из ссылки. "Когда я прибыл в *Porta Capena*, - пишет он Аттику, - ступени храмов были уже запружены народом сверху донизу; они выражали свои поздравления самыми громкими аплодисментами, и такие же толпы и рукоплескания сопровождали меня вплоть до Капитолия, и на Форуме и на самом Капитолии снова была замечательная толпа" (*ad Att. iv. 1*).

Сейчас мы находимся, как видно из карты, под юго-восточным углом Палатина, по которому, собственно, и совершаем объезд;[24] а и здесь мы резко сворачиваем влево, на то, что сейчас называется *виа ди Сан Грегорио*, вдоль узкой долины или впадины между Палатинским и Целийским холмами — последний первый из встреченных нами "холмов", которые не изолированы, а являются отрогами равнины Кампанья. Целиан не должен нас задерживать; к концу республиканского периода он был густо заселен, но не был ни очень фешенебельным кварталом, ни одним из главных центров общественной жизни. В нем находилось множество тех больших жилых домов (*insulae*), о которых мы подробнее услышим в следующей главе; один из них стоял так высоко, что мешал видеть авгура, принимающего покровительство на Капитолии, и было приказано снести его.[25] Двигаясь прямо, достигаем северо-восточного угла Палатина, где сейчас стоит арка Константина, а за ней Колизей, и, повернув еще раз

налево, начинаем подниматься по пологому склону, который приведет нас к хребту между Палатином и Эсквилином[26] — еще одному из отрогов равнины за ним, известному под названием Велия. И вот теперь мы приближаемся к настоящему сердцу города.

В этом месте начинается Сакра виа, [27] названная так потому, что это путь к самым священным местам древнего римского города — храмам Весты и Пенатам, а также Регии, некогда жилищу Царя, а ныне Верховного Понтифика; и она приведет нас примерно на восемьсот ярдов через Форум к Капитолию. Она менялась в ширину и ни в коем случае не шла прямым курсом, а позже была переполнена, стеснена и отклонена от него многочисленными храмами и другими зданиями; но пока, насколько мы можем догадаться, она была достаточно свободной и открытой. Мы следуем по ней и поднимаемся по склону, пока не придем к точке, известной как *святая виа*, как раз там, где сейчас стоит арка Тита, и где тогда был храм Юпитера Статора, а также святилище общественных Пенатов и еще одно из Ларов (от которого сейчас не осталось и следа), предупреждающее нас о том, что мы близки к проникновению в Римское государство. Здесь путь налево ведет к Палатину, который в то время был резиденцией многих видных деятелей Рима, одним из которых был Цицерон.

Но наше внимание ненадолго приковано к этим объектам; вскоре оно приковано к Форуму внизу и перед нами, к которому Священный Путь ведет по спускающемуся склону, *Clivus sacer*. На северо-западной оконечности он замыкается Капитолийским холмом с его двойной вершиной, аркой справа и великим храмом Юпитера, Юноны и Минервы, обращенным на юго-восток, в сторону Авентина. Именно об этой точке зрения, должно быть, думал Вергилий, когда писал о счастливой судьбе соотечественника, который

nes ferrea iura insanumque forum aut populi tabularia vidit.[28]

Ибо Форум переполнен суетливыми человеческими фигурами, поглощенными делами политики, или судами (*ferrea iura*), или зарабатыванием денег, а сразу за ним, непосредственно под Капитолием, находятся архивы (*tabularia*) Римской империи. Вся Сакра-виа с этого места переполнена; здесь Гораций поколение спустя должен был встретиться со своим бессмертным "занудой", от которого он спасся только тогда, когда "ферреа юриа" наложила сильную руку на этого ужасного спутника. Внизу, у входа на Форум у арки Фабия (*fornix Fabiana*), была большая толкотня. "Если меня сбивают с ног в толпе у арки, - говорит Цицерон, чтобы проиллюстрировать один момент из речи того времени, - я обвиняю не кого-то наверху виа Сакра, а человека, который толкает меня".[29]

Форум — ибо с этого момента мы можем охватить его целиком, геологически и исторически — находится в глубокой впадине, до первоначального уровня которой наконец-то добрались раскопки. Эта впадина была образована ручьем, который протекал между Эсквилином и Квириналом за ним и выходил к реке на другом берегу через Велабрум. По мере того как город расширялся, сливаясь с другим сообществом на Квиринале, эта лощина стала обычным местом встреч и рынком, и ручей в свое время был осушен той Клоакой, которая, как мы видели, впадала в Тибр недалеко от моста, который мы пересекли. В верхнем течении этого ручья, между Эсквилином и Квириналом, находится густонаселенный квартал, известный как Аргилетум, а выше - как Субура, [30] где изобиловали ремесленники и лавки. Нижняя часть ее русла, где она превратилась в невидимый водосток, также является многолюдной улицей *викус Тускус*, ведущей к Велабруму, а значит, и к нашей отправной точке на форуме Боариум.

Давайте теперь спустимся по священному склону, перейдем на правую сторону склона, по которому сейчас проходит виа Сакра, и достигнем Форума через свод Фабиана. Рядом, слева от нас, находится круглый храм Весты, где его хранители, Девственные весталки, постоянно поддерживают священный огонь государства, и здесь же находится их жилище, Вестовый атриум, а также жилище Верховного понтифика (Regia), в потестах которого они находились; эти три здания, тогда незначительные на вид, составляли религиозный центр древнейшего Рима.[31] Еще немного дальше, слева, находится храм Кастора и недавно раскопанный источник Ютурна, где Близнецы поили своих коней после битвы на озере Регилл. Перед нами, поверх голов толпы, мы можем видеть Ростру в дальнем конце Форума, где оратор, возможно, обращается к толпе (*contio*) по какому-то политическому вопросу текущего момента и дает какое-то занятие зевакам в толпе; а справа от Ростры находится Comitium, или место сбора народа, с Курией, древним залом заседаний сената. Во времена Цицерона простой лавочник был изгнан с Форума, и его место заняли банкир и ростовщик, которые ведут свои дела *втабернах*, тянувшихся рядами по обеим сторонам открытого пространства. Многие общественные дела, судебные и другие, ведутся в Базиликах — крытых залах с колоннадами, которых уже пять, и на южной стороне возводится новый, планировка которого, расширенная вскоре после этого Юлием Цезарем, теперь полностью обнажена. Но становится очевидным, что дела Империи больше не могут быть втиснуты в это узкое пространство Форума, длина которого составляет всего двести на семьдесят ярдов; и следующие два поколения увидят, как Юлий и Август построят новые Форумы большего размера и более удобные в направлении Квиринала.

Теперь, направляясь к Капитолию, мы проходим мимо знаменитого храма или, скорее, ворот двуглавого Януса, стоящих у входа на Форум со стороны Аргилетума и Эсквилинских ворот; затем Комиций и Курии (которые в последний раз были сожжены толпой в 52 году до н.э. на похоронах Клодия) и достигаем подножия Капитолийского склона, как раз там, где находилась (и находится) древняя подземная тюрьма, называемая Туллианум, от старого слова, обозначающего источник (*туллус*), сцена гибели Югурты и многих знатных пленников, а также заговорщиков-катилинариев 5 декабря 63 года. Здесь виа Сакра поворачивает перед храмом Конкордии, чтобы подняться на Капитолий. За этим храмом, уходящим дальше под склон, находится уже упомянутый Табуларий, который во многом сохранился таким, каким был тогда; а под нами, к югу, находится храм Сатурна, сокровищница (*аэрарий*) римского народа. Таким образом, на этом конце Форума, под Капитолием, находится целый комплекс государственных учреждений, обращенных фасадом к древним религиозным сооружениям вокруг храма Весты на другом конце.

Теперь дорога снова поворачивает направо и достигает впадины между двумя вершинами Капитолийского холма. Оставив арку слева, мы поднимаемся по длинной лестнице к величайшему из всех римских храмов, расположенному на длинной платформе с массивными фундаментами этрусской работы, часть которых до сих пор можно увидеть в саду посольства Германии. Храм Юпитера Оптимального Максимального и его спутниц Юноны и Минервы был в особом смысле религиозным центром государства и его владычества. Какого бы мнения он ни придерживался о богах и их культах, каждый римлянин инстинктивно верил, что этот великий Юпитер превыше всех других божеств следит за благополучием Рима, и когда поколение спустя Вергилий передал судьбу мифического героя Рима в руки Юпитера, каждый римлянин признал в этом свое собственное унаследованное убеждение. Здесь в первый день своего пребывания в должности высшие должностные лица приносили жертвы во исполнение обетов своих

предшественников и сами возобновляли те же обеты. Консул, собиравшийся покинуть город для участия в иностранной войне, счел своим последним долгом принести здесь жертвы, и по возвращении он сложил здесь свою добычу. Вот началось триумфальное шествие по Священному Пути, полководец-победитель был одет и раскрашен, как статуя бога в храме; и на колени статуи он возложил свой лавровый венок, воздавая божеству то, что он сам соблаговолил даровать. Здесь также с пьедестала на платформе статуя Юпитера смотрела прямо на Форум, [32] Курию и Комитий; и Цицерон мог заявить с Трибуны и знать, что этим заявлением он трогает сердца своих слушателей, что в тот же день, когда она была впервые установлена таким образом, были раскрыты махинации Катилины и его заговорщиков.[33] "Ille, ille iupiter restitit; ille Capitolium, ille haec templa, ille cunctam urbem, ille vos omnes salvos esse voluit."

Храм был разрушен пожаром во времена Суллы, и на момент нашей воображаемой прогулки его восстановление еще не было окончательно завершено.[34] Он был обращен к реке и Авентину, то есть на юго-восток, согласно правилам авгуров, как и все римские общественные здания республиканского периода. С платформы, на которой он стоит, мы смотрим вниз на форум Боариум, с которого мы начали, соединенный с форумом Велабрумом и Таскусским виком; а еще правее под нами находится Марсово поле, с выходом в город через те Карманные ворота, которые Эвандр показал Энею. На этой просторной тренировочной площадке римских армий уже начинают строить; фактически Цирк Фламиниуса находится здесь уже более полутора веков, и теперь новый театр Помпея, первый каменный театр в Риме, возвышается за ним по направлению к Ватиканскому холму. Но места осталось достаточно, ибо от Капитолия до того изгиба Тибра, над которым сейчас возвышается церковь Святого Петра, почти миля; и на этом большом пространстве в наши дни проживает большая часть населения, насчитывающего почти полмиллиона человек. Я не собираюсь уводить читателя дальше. Мы побывали в самом центре города, каким он был в конце республиканского периода, и с платформы великого храма мы можем увидеть все остальное, о чем нам нужно помнить в этих главах.

ГЛАВА II

НИЗШЕЕ НАСЕЛЕНИЕ (ГОРОДСКОЙ ПЛЕБС)

Прогулка, которую мы совершали, привела нас только через сердце города, где находились общественные здания, храмы, базилики, портики и т.д., о которых мы так много слышим в латинской литературе. Основная масса населения жила на холмах, которые являются отрогами равнины за ними и с которых открывается вид на Форум и Марсово поле, на Целианском, Эсквилинском и Квиринальском холмах с ложбинами, лежащими между ними, а также на Авентине у реки. Самое древнее укрепление завершеного Рима, так называемые сербская стена *иаггер*, окружали необычайно большое пространство, как нам сказали, больше, чем стены любого старого города Италии;[35] вполне вероятно, что значительная часть этого пространства долгое время не была занята домами и служила убежищем для скота фермеров, живущих снаружи, когда враг угрожал нападением. Но во времена Цицерона, как и сегодня, все это пространство было застроено жилыми домами; и по мере того, как центр города стал застраиваться общественными зданиями, возведенными на участках, часто выкупаемых у частных владельцев, дома постепенно вытеснялись вдоль дорог за стены. Точно такой же процесс столетиями происходил в Университетском городе Оксфорд, где строительство колледжей постепенно поглотило лучшие места в старых стенах, так что многие жилые дома

сейчас находятся на расстоянии целых двух миль от центра города. Этот факт для Рима подтверждается знаменитым муниципальным законом Юлия Цезаря, который гласит, что в радиусе мили от ворот каждый житель обязан следить за ремонтом дороги перед своим собственным домом.[36]

Как правило, высоты в Риме занимал высший класс жителей, а низины - низший слой населения. На самом деле это было не совсем так, поскольку бедняки, без сомнения, жили на Авентине, в Целии и в некоторых частях Эсквилина. Но Палатин, безусловно, был аристократическим кварталом; в Каринах, возвышенности, выходящей на лощину, где сейчас стоит Колизей, было много хороших домов, например, Помпея и Квинта Цицерона, и мы знаем одного очень богатого человека, Аттика, который жил на Квиринале.[37] Именно в узких ложбинах, ведущих с этих высот к Форуму, таких как Субура между Эсквилином и Квириналом и Аргилетум дальше, недалеко от Форума, мы встречаем в литературе тех, кого можно назвать рабочими классами; Аргилетум, например, был знаменит как своими книготорговцами, так и сапожниками, [38] а Субура - типичная улицаторговцев. И, без сомнения, большие жилые дома, в которых жили представители низших классов, можно было найти во всех частях Рима, за исключением сугубо аристократических районов, таких как Палатин.

Все свободное население может быть грубо разделено на три класса, из которых первые два, составляющие вместе социальную аристократию, были лишь горсткой по сравнению с третьим. На вершине общественного порядка находился правящий класс, или *ordo senatorius*: затем шел *ordo equester*, включающий всех деловых людей, банкиров, ростовщиков и торговцев (*negotiatores*) или подрядчиков по сбору налогов и многим другим целям (*publicani*). Об этих двух высших классах и их социальной жизни мы кое-что узнаем в последующих главах; в настоящее время нас интересуют "массы", насчитывающие по меньшей мере 320 000 человек, [39] и социальные проблемы, которые их существование представляло или должно было представлять для умного римского государственного деятеля времен Цицерона.

К сожалению, точно так же, как мы мало знаем о густонаселенных районах Рима, мы мало знаем и о его промышленном населении. Высшие классы, включая всех авторов мемуаров и исторических трудов, ими не интересовались. Не было филантропа, не было такого преданного исследователя, как мистер Чарльз Бут, который исследовал бы их состояние или попытался улучшить его. Государственный деятель, если он вообще беспокоился о них, смотрел на них как на опасный элемент общества, только для того, чтобы считаться людьми во время выборов; во все остальное время просто как на животных, которых нужно кормить, чтобы они не превратились в активную угрозу. Философ, даже стоик, чья вера была, безусловно, самой возвышенной в ту эпоху, по-видимому, совершенно не принимал во внимание отбросы народа; хотя его философия номинально охватывала все человечество, он считал массы деградировавшими и порочными и не предпринимал никаких усилий для их исправления.[40] Стоик мог бы выразить самые нежные чувства ко всему человечеству, как это делал Цицерон, когда его тронуло какое-нибудь недавнее прочтение доктрины стоиков; он мог бы сказать, что "люди были рождены ради людей, что каждый должен помогать другому", или что "Природа склоняет нас любить людей, ибо это основа всякого закона"; [41] но при фактическом социальном или политическом контакте с теми же самыми массами Цицерон мог говорить о них только с презрением или отвращением. Печальным и значительным фактом является то, что то немногое, что мы знаем из литературы об этом классе, основано на той роли, которую они иногда играли в беспорядках и революционных беспорядках. К счастью, совершенно

невозможно, чтобы историк будущего принимал во внимание жизнь только образованных и богатых; но в истории прошлого, и особенно за последние три столетия до нашей эры, мы вынуждены бороться с этой трудностью и можем лишь время от времени находить побочные проблески, бросающиеся на огромную массу человечества. Преступность, скученность, случайные страдания от голода и эпидемий в немодных кварталах такого города, как Рим, - все это скрыто от нас и редко даже упоминается в исторических книгах, которые мы обычно читаем.

Три вопроса, на которые я хотел бы дать некоторый ответ в этой главе: (1) как размещалось это население? (2) как оно снабжалось едой и одеждой? и (3) как это было использовано?

1. Конечно, в таком городе, как Рим, было невозможно, чтобы у каждого мужчины, женатого или неженатого, был свой дом; этого нет даже в подавляющем большинстве современных промышленных городов, хотя мы в Англии привыкли видеть наших сравнительно зажиточных ремесленников, живущих в коттеджах, разбросанных по сельской местности. В Риме только богатые семьи жили в отдельных домах (*domus*), о которых нам будет что сказать в другой главе. Основная масса населения жила, или, скорее, ела и спала (поскольку южный климат благоприятствует жизни на открытом воздухе), в огромных жилых домах, называемых островами (*insulae*), потому что они были отделены от других зданий и со всех сторон к ним тянулись улицы, как к островам тянется вода.[42] Эти *изоляторы* часто были высотой в три или четыре этажа; [43] первый этаж часто занимали магазины, которые, возможно, держали некоторые жильцы, а верхние этажи - одностенные комнаты с маленькими окнами, выходящими на улицу или во внутренний двор. Общим названием такой комнаты было *coenaculum*, или столовая, слово, которое, по-видимому, заимствовано из *coenaculum* частных домов, то есть столовой на втором этаже, где была одна. Однажды мы действительно услышали о *эдикулена* острове, которая, возможно, была эквивалентом современной "квартиры"; в ней жил молодой холостяк хорошего происхождения, м. Целий Руф, друг Цицерона, и в данном случае островок, вероятно, был одним из лучших.[44] Обычный жилой дом, должно быть, был просто кроличьим питомником, переполненные обитатели использовали свои комнаты только для еды и сна, в то время как по большей части они слонялись без дела или находили любую возможную работу, законную или иную.

В такой жизни, конечно, не могло быть и речи о доме или о той простой и священной семейной жизни, которая когда-то была этической основой римского общества.[45] Когда мы читаем волнующие строки Цицерона о потере им собственного дома после возвращения из изгнания, а затем вспоминаем о толпах бездомных в кроличьих норах Рима, мы начинаем ощущать контраст между богатством и бедностью того времени. "Что более строго охраняется, - говорит он, - всеми религиозными чувствами, чем дом каждого отдельного гражданина? Здесь его алтарь, его очаг, здесь его Святыни: здесь он хранит все предметы своего поклонения и совершает все свои религиозные обряды: его дом - убежище, столь торжественно охраняемое, что никто не может быть оторван от него силой".[46] Добросердечный Цицерон здесь, как это часто бывает, грезит мечтами: "каждый отдельный гражданин", о котором он говорит, - это его знакомый гражданин, а не подавляющее большинство, которым его ум не беспокоит.

Эти инсулы обычно строились или принадлежали людям состоятельным и часто назывались по именам их владельцев. Цицерон в одном из своих писем [47] случайно упоминает, что у него были вложенные таким образом деньги; и мы склонны задаться вопросом, содержались ли его внутренние помещения в хорошем состоянии, поскольку в другом письме он случайно

сообщает своему деловому человеку, что принадлежащие ему лавки (*tabernae*) пришли в упадок и пустовали. Более чем вероятно, что многие инсулы были плохо построены спекулянтами и могли обрушиться. Следующий отрывок из "*Жизни Красса*" *Плутарха* предполагает это, хотя, если Плутарх прав, Красс не строил сам, а сдавал в аренду или продавал свои участки и строителей другим: "Наблюдая (во времена Суллы) несчастные случаи, которые были обычными в Риме, пожары и разрушение домов из-за их веса и скученности, он купил рабов, которые были архитекторами и строителями. Собрав их в количестве более пятисот, он взял за правило скупать охваченные огнем дома и дома рядом с теми, которые горели: владельцы, напуганные и встревоженные, продавали их дешево. И таким образом, большая часть Рима попала в руки Красса; но хотя у него было так много ремесленников, он не построил ни одного дома, кроме своего собственного, ибо он говорил, что те, кто любил строить, разорились сами без помощи врага"[48]. Падение домов и их разрушение в результате частых пожаров стали привычными чертами жизни Рима примерно в это время, и на них ссылается Катулл в своей двадцать третьей поэме, а позже Страбон в своем описании Рима (стр. 235). Должно быть, действительно часто случалось, что целые семьи оказывались совершенно бездомными; [49] а в те дни не существовало ни страховых контор, ни благотворительных обществ, ни филантропических учреждений, которые спасали бы страждущих от незаслуженных страданий. Как мы увидим позже, они постоянно были в долгах и находились в руках ростовщика; и против его вымогательств их судебные средства были весьма ненадежны. Но все это скрыто от наших глаз: лишь время от времени мы слышим слабое эхо их невнятного крика о помощи.

2. Потребности этих беднейших классов в пище и питье были очень невелики; только огромное их количество затрудняло снабжение. Итальянцы, как и греки, [50] были тогда, как и сейчас, почти полностью вегетарианцами; крупный рогатый скот и овцы использовались для производства сыра, кожи и шерсти или для жертвоприношений богам; единственным животным, которое обычно употребляли в пищу, пока роскошь не пришла с ростом богатства, была свинья, а зерно и овощи были основным продуктом питания бедняков, как в городе, так и в деревне. Среди меньших стихотворений, приписываемых Вергилию, есть одно, "*Море*", которое дает очаровательную картину снабжения продовольствием мелкого земледельца в деревне. Он встает очень рано, ощупью добирается до очага и раздувает угли в пламени; затем достает из своего ящика для муки запас зерна на три дня и начинает молоть его на ручной мельнице, замешивает с водой, лепит из него круглые лепешки, разделенные на четыре части наподобие "горячей булочки крест-накрест", и с помощью своей единственной рабыни выпекает их на углях. Поэт говорит, что у него с крыши не свисают ломтики копченого бекона, а только сыр, поэтому, чтобы добавить к еде, он идет в свой сад и собирает там множество различных трав и овощей, из которых затем делает горячий суп, или *пот-о-фе*, давший название стихотворению. Этот фрагмент тонкой жанровой картины, который по-своему ничуть не хуже, чем что-либо в невзрачных стихотворениях Крэбба, на самом деле ничего не может рассказать нам о жизни на римском острове; но он может показать, какой была обычная еда итальянцев того времени.[51] Интересно отсутствие бекона по бокам ("*durati sale terga suis*", строка 57). Без сомнения, римлянин ел мясо, когда мог его достать; но необходимость питаться им, даже в течение короткого времени, была для него болезненной, и Цезарь не раз отмечал выносливость своих солдат, которые соглашались есть мясо, когда кукурузы не было.[52]

Кукурузой, которая в то время была основным продуктом питания римлян в городе, была пшеница, и пшеница хорошего сорта; в первобытные времена это был низший вид, называемый *far*, который сохранился во времена Цицерона только в виде лепешек, предлагаемых богам на

религиозных церемониях. Пшеницу привозили не из Италии и даже не из Лация; то, что выращивала тогда каждая итальянская община, было не более чем пищей для ее собственных жителей [53], и то же самое было с загородными виллами богачей и огромными овцеводческими фермами, на которых работали рабы. Безусловно, большая часть Италии гористая и не очень подходит для производства кукурузы в больших масштабах; и в течение долгого времени другие причины в совокупности ограничивали объемы ее производства. Транспорт, будь то автомобильный или речной, также был полон трудностей, в то время как, с другой стороны, взгляд на карту покажет, что путешествие судов с зерном между Римом и Сицилией, Сардинией или провинцией Африка (бывшим владением Карфагена) было коротким и легким — намного короче и легче, чем путешествие из Цизальпинской Галлии или даже из Апулии, где полуостров был богат хорошими зерновыми угодьями. Поэтому мы не удивлены, обнаружив, что, согласно традиции, которая полностью подтверждается более достоверными свидетельствами, [54] кукурузу завозили в Рим с Сицилии еще в 492 году до н.э., чтобы унять голод, или что с тех пор, как Сицилия, Сардиния и Африка стали римскими провинциями, их огромные производственные мощности использовались для прокорма великого города.

На самом деле нам не стоит удивляться, обнаружив, что государство взяло на себя задачу прокормить римское население, и прокормить его дешево, если только мы привыкли думать, а не просто читать, о жизни в городе в тот период. Для рядового читателя древней истории нет ничего труднее, чем осознать трудность прокормления больших масс людей, будь тоскопление людей в городах или солдат на поле боя. Наши транспортные средства в настоящее время так легко и быстро приводятся в действие и поддерживаются в рабочем состоянии, что потребовалась бы война с какой-нибудь крупной морской державой, чтобы убедить нас в том, что Лондон или Глазго могут при определенных неблагоприятных обстоятельствах умереть с голоду; и поскольку наше внимание никогда не привлекалось к деталям снабжения продовольствием, мы не сразу понимаем, почему в Риме должны были возникнуть такие трудности, чтобы потребовалось вмешательство государства. Возможно, лучший способ осознать проблему - это подумать о том, что каждому взрослому жителю требовалось около четырех с половиной пудов кукурузы в месяц, или около трех фунтов в день; так что, если принять население Рима во времена Цицерона равным полумиллиону, ежедневное потребление людей составило бы полтора миллиона фунтов.[55] Я уже говорил, что в последние три столетия до нашей эры наблюдалась всеобщая тенденция уезжать из деревни в города; и теперь мы знаем, что многие другие города, помимо Рима, не только испытывали те же трудности, но и фактически использовали то же средство — государственный ввоз дешевого зерна.[56] Даже сравнительно небольшие города, такие как Диррахий и Аполлония в Эпире, как сообщает нам Цезарь, рассказывая о своих собственных трудностях прокормить там свою армию, использовали по большей части импортную кукурузу.[57] И мы должны помнить, что в то время как некоторые из величайших городов Средиземноморья, такие как Александрия и Антиохия, находились в пределах легкой досягаемости от обширных кукурузных полей, это было не так с Римом. Либо она должна организовать свои запасы зерна на надежной основе, либо избавиться от толп своих бедных обитателей; последний вариант мог бы быть возможен, если бы она была готова позволить им голодать, но, вероятно, никаким другим способом. Пытаться снова вывести их на сушу было безнадежно; они ничего не знали о сельском хозяйстве и не привыкли к физическому труду, который презирали.

Таким образом, с тех пор, как Рим был городом любого размера, плебейские эдилы были обязаны следить за тем, чтобы он в достаточном количестве снабжался зерном, и во времена

нехватки или других трудностей эти магистраты должны были принимать специальные меры для его закупки. С учетом неуклонного роста населения после войны с Ганнибалом и после приобретения двух провинций, выращивающих кукурузу, к которым в 146 году до н.э. была присоединена Африка, было естественно, что они должны были обратить свое внимание более пристально на ресурсы этих провинций; и теперь губернаторы провинций должны были следить за тем, чтобы необходимое количество кукурузы доставлялось из этих провинций по фиксированной цене, и притом по низкой.[58] В 123 году до н.э. Гай Гракх взял это дело в свои руки и сделал его частью всего своего далеко идущего политического плана. Городской плебс стал очень неудобным элементом в расчетах государственного деятеля, и иметь его в состоянии голода или даже бояться такого состояния было крайне опасно, как пришлось усвоить каждому римскому государственному деятелю в течение двух последующих столетий. Мы можем догадаться, что эдилы были совершенно неспособны выполнять ту работу, которая от них требовалась; и временами победоносные губернаторы провинций привозили домой большое количество зерна и безвозмездно раздавали его для своих личных целей, что приводило к плохим результатам как экономическим, так и моральным. Гракх видел, что работа по снабжению требует тщательной организации в отношении производства, транспорта, складирования и финансов, и приступил к ней с таким удовольствием от тяжелой работы, какого не проявлял прежде ни один римский государственный деятель, полагая, что если бы людей можно было кормить дешево и регулярно, они перестали бы быть "беспокойными соседями".[59] Мы не знаем деталей его организационной схемы, за исключением одной конкретной, цены, по которой зерно должно было продаваться *замодий* (пек): это должно было составлять шесть с половиной *ослов*, или гораздо меньше половины обычной рыночной цены дня, насколько это можно разобрать. Верил ли он, что себестоимость продукции может быть снижена до такого уровня за счет регулярного спроса и транспортировки, мы сказать не можем; во всяком случае, представляется вероятным, что он тщательно изучил финансовый аспект бизнеса.[60] Но вряд ли может быть сомнение в том, что он просчитался, и что результатом закона, с помощью которого он стремился достичь своей цели, были ежегодные убытки казны, так что после него и до тех пор, пока его закон не был отменен Суллой, народ действительно кормился в основном за счет государства и, таким образом, впадал в состояние полупауперизма с плохими этическими последствиями.

Одним из таких последствий было то, что невнимательные государственные деятели слишком охотно воспользовались бы шансом снизить цену на зерно еще ниже, как это сделал Сатурнин в 100 году до н.э., в политических целях. Чтобы предотвратить это, Сулла отменил гракховскую систему *полностью*; но она была возобновлена в 73 году до н.э., а в 58 году демагог П. Клодий сделал раздачу зерна безвозмездной. В 46 году Цезарь обнаружил, что не менее 320 000 человек получали зерно от государства даром; по счету, частью которого мы все еще располагаем [61], он сократил это число до 150 000 и с помощью жесткой системы правил, о которых мы кое-что знаем, ухитрился гарантировать, что оно должно сохраняться на этом этапе. С политикой Августа и его преемников в отношении поставок зерна (*аннона*) Меня это не касается; но необходимо отметить, что с установлением Империи городской плебс перестал иметь какое-либо значение в политике, и с ним можно было обращаться как с избалованным населением, от которого нельзя было ожидать никакого вреда, если его содержать в комфорте и развлекать. Август, похоже, оказался вынужден занять такую позицию по отношению к ним, и он смог это сделать, потому что он тщательно реорганизовал государственные финансы и знал, что он может себе позволить для этой цели. Но во времена Цицерона народ все еще обладал

властью в области законодательства и выборов, а государственные финансы были дезорганизованы и пребывали в замешательстве; и в результате поставки зерна были замешаны на политике[62], и безрассудные политики распоряжались ими таким образом, что это было столь же разорительно для казны, как и для морального благополучия города. Вся история, начиная с Гракха, является полезным уроком о вреде предоставления "помощи на открытом воздухе" в любой форме, без применения средств расследования в каждом отдельном случае. Намерения Гракха, несомненно, были честными и благими, но "ubi semel recto deerratum est, in praiceps pervenitur".

Напитком римлянина была вода, но он смешивал ее с вином всякий раз, когда у него была такая возможность. К счастью для него, у него не было другого опьяняющего напитка; в римской литературе мы не слышим ни о пиве, ни о крепких напитках. Италия была хорошо приспособлена для выращивания виноградной лозы; и хотя вплоть до последнего столетия Республики отборные сорта вина поставлялись в основном из Греции, все же у нас есть неоспоримые доказательства того, что вино производилось по соседству с Римом в самом начале римской истории. В древнейшем религиозном календаре [63] мы находим два праздника, называемых Виналиями, один в апреле, а другой в августе; какое именно отношение имел каждый из них к виноградарству, ни в коем случае не ясно, но мы знаем, что эти операции находились под покровительством Юпитера и что его жрец, Фламин Диалис, предлагал ему первые плоды урожая. Производство грубого вина, должно быть, действительно было большим, поскольку мы случайно знаем, что временами оно было удивительно дешевым. В 250 году до н.э., во многих отношениях удивительно продуктивном году, вино продавалось по цене как *конджиус*, что составляет почти три кварты; [64] при ранней империи Колумелла (iii. 3. 10) оценивал амфору (почти 6 галлонов) в 15 сестерциев, то есть около восьми пенсов, о том, что простой гражданин ожидал, что сможет приравнять свою воду к вину, свидетельствует история, рассказанная Светонием, о том, что, когда люди пожаловались Августу на слишком высокую цену вина, он коротко и мудро ответил, что Агриппа совсем недавно снабдил их превосходным запасом воды.[65] Похоже, они утверждали, что вино и зерно им поставляло правительство по низкой цене или безвозмездно; но это было слишком даже для Августа. Вряд ли нужно говорить, что за свою воду римлянин ничего не платил. В целом, в то время, о котором мы говорим, он был довольно хорошо обеспечен этим; но в этом, как и во многих других вопросах городского управления, именно при Августе впервые был обеспечен обильный запас, который поддерживался превосходной системой управления. Фронтинус, чья работа "Об Акведуках" мы обязаны почти всем, что знаем о римском водоснабжении, сообщает нам, что в течение четырехсот сорока одного года после основания города римляне довольствовались той водой, которую могли добывать из Тибра, колодцев и природных источников, и добавляет, что в его время некоторые источники все еще пользовались почетом из-за их целебных свойств.[66] Цицерон в своей идеализирующей манере описывает Рим как "locum fontibus abundantem", и известно, что там существовало двадцать три источника; но уже в 312 году до нашей эры было сочтено необходимым искать более чистый и регулярный источник в другом месте. Более чем в шести милях от Рима, на виа Коллатина, были найдены и использовались для этой цели источники, которые недавно были вновь открыты на дне некоторых каменоломен; и, следовательно, вода доставлялась по подземным трубам вдоль той же дороги в город, а по ней к подножию Авентина, в плебейский квартал. Это была Аква Аппиа, названная в честь знаменитого цензора Аппия Клавдия Цека, который, как показал Моммзен, был другом народа.[67] Сорок лет спустя другой цензор, Маний Курий Дентат, привез второй запас, также

по подземному каналу, из реки Анио близ Тибура (Тиволи), вода из которой, никогда не отличавшаяся высоким качеством, использовалась для орошения садов и промывки канализационных стоков. В 144 году до н.э. было обнаружено, что эти два старых акведука не ремонтировались и их было недостаточно, и на этот раз претору, квентину Марцию Рексу (вероятно, под влиянием семейной клики), было поручено привести их в порядок и обеспечить новое снабжение. Он пошел гораздо дальше, чем его предшественники, за источниками и набрал большое количество превосходной и чистой холодной воды с сабинских холмов за Тибуром, в тридцати шести милях от города, который пользовался самой высокой репутацией во все времена; и на протяжении последних шести миль своего пути она поднималась над землей по ряду арок.[68] В 125 году до н.э. был построен еще один акведук - Аква Тепула, названный так потому, что его вода была необычайно теплой; а весь объем воды, поступавшей в Рим в последнее столетие Республики, оценивается более чем в 700 000 кубометров в сутки, чего вполне хватило бы для полумиллионного населения. В настоящее время Рим с населением 450 000 человек получает из всех источников только 379 000.[69] Бани, как общественные, так и частные, уже начинали входить в моду; о них подробнее будет сказано позже. Вода для питья собиралась в больших *кастеллах*, или резервуарах, и оттуда распределялась по общественным фонтанам, из которых один сохранился до сих пор — "Трофеи Марио" на площади Витторิโอ Эммануэле на Эсквiline.[70] Когда запасы стали достаточно большими, владельцам *insulae* и *domus* разрешили прокладывать воду по частным трубам, как это делается в современных городах; но неизвестно, когда это разрешение было впервые дано.

3. Но мы должны вернуться к отдельному римлянину из массы, который, как мы теперь видели, был хорошо обеспечен всем необходимым для жизни, и попытаться составить некоторое представление о том, как он работал или зарабатывал на жизнь. Это отнюдь не легкая задача, поскольку эти маленькие люди, как мы уже видели, не интересовали своих образованных сограждан, и по этой причине мы почти ничего не слышим о них в литературе того времени. Не только отсутствие филантропических чувств у тех, кто лучше их, но и унаследованное презрение ко всей мелкой промышленности и розничной торговле помогло спрятать их от нас: *унаследованное* презрение, потому что на самом деле это пережиток более старой социальной системы, когда гражданин не нуждался в работе ремесленника и мелкого розничного торговца, но удовлетворял все свои потребности в кругу своей семьи, то есть своей собственной семьи и рабов, и производил на своей ферме материалы для еды и одежды. И выживание было тем сильнее, потому что даже в период поздней республики изобилие рабов позволяло человеку с капиталом по-прежнему в значительной степени обходиться без услуг торговцев и ремесленников.

Цицерон выражает это презрение к ремесленникам и торговцам не в одном поразительном отрывке. Один из них, в его "трактате об обязанностях", вероятно, перефразирован с греческого Панэция, философа, который первым представил римлянам стоицизм и модифицировал его в соответствии с их темпераментом, но совершенно ясно, что сам Цицерон полностью поддерживает стоическую точку зрения. "Все выгоды, получаемые наемными рабочими, - говорит он, - бесцестны и низки, ибо то, что мы покупаем у них, - это их труд, а не их художественное мастерство: у них сама выгода лишь увеличивает рабский характер работы. Вся розничная торговля также может быть отнесена к той же категории, поскольку дилер ничего не выиграет, кроме как от обильной лжи, а нет ничего более позорного, чем лживый торгош. Опять же, работа всех ремесленников (*opifices*) грязна; в мастерской не может быть ничего почетного".[71]

Если этот взгляд на низкий характер труда ремесленника и розничного торговца следует считать слишком явно греческим, пусть читатель обратится к описанию Ливием [72] — истинным джентльменом - низкого происхождения Теренция Варрона, консула, командовавшего при Каннах; он использует тот же язык, что и Цицерон. "Он происходил из не просто скромного, но и грязного рода: его отец был мясником, который продавал собственное мясо и нанимал своего сына в этом рабском деле". История может быть неправдивой, и на самом деле она не очень вероятна, но она хорошо отражает унаследованное чувство к розничной торговле римлянина из высших классов общества — чувство, настолько живучее, что даже в современной Англии, где оно возникло во многом по тем же причинам, что и в древнем мире, оно только в течение последнего столетия начало угасать.[73]

Однако в Риме эти скромные работники существовали и зарабатывали себе на жизнь с самого начала, насколько мы можем догадаться, настоящей городской жизни. Они являются необходимым и неизбежным продуктом роста городского населения и возникающего в результате этого разделения труда. Следующий отрывок из работы об организации промышленности в Англии может быть воспринят как близко представляющий тот же процесс в раннем Риме: [74] "Город возник как центр, в котором излишками продукции многих деревень можно было выгодно распорядиться путем обмена. Таким образом, торговля стала оседлым занятием, и торговля подготовила почву для развития ремесел, обеспечив капитал для поддержки ремесленников и создав постоянный рынок сбыта их продукции. Для очень многих групп ремесленников — ткачей, портных, мясников, пекарей и т. Д. - Было возможно найти средства к существованию, причем каждое ремесло посвящало себя удовлетворению отдельной отрасли тех потребностей, которые деревенское хозяйство очень несовершенно пыталось удовлетворить своим собственным трудом".

Как в средневековой Европе, так и в раннем Риме те же условия приводили к тем же результатам: мы находим, что городские ремесленники создавали *золотые мастерские* не только для защиты своего ремесла, но и из естественного инстинкта объединения, и обеспечивали этим золотым мастерским, по образцу более старых групп семьи и рода, религиозный центр и божество-покровителя. Гильдии (*коллегии*) римских ремесленников приписывались Нуме, как и многие другие религиозные учреждения; они включали ассоциации ткачей, валяльщиков, красильщиков, сапожников, врачей, учителей, художников и т.д.[75] И были в основном посвящены Минерве как божеству ручной работы. "Общество, ставшее свидетелем пришествия Минервы из Этрурии ... мало что знало о том, что в ее храме на Авентине воплощалась идея профсоюзов".[76] Эти *общественные коллегии*, к большому сожалению, полностью исчезают из нашего поля зрения, пока они вновь не появляются в эпоху Цицерона в совершенно иной форме, как клубы, используемые в политических целях, но все еще состоящие из низших слоев свободного населения (*collegia sodalicia*). История и причины их исчезновения и метаморфозов утеряны для нас; но нетрудно догадаться, что главную причину следует искать в великих экономических изменениях, последовавших за Ганнибаловой войной, — огромном количестве ввезенных рабов и последующем возрождении старой системы экономической независимости крупных семей; упадке религиозной практики, которая влияла как на общественную, так и на частную жизнь сотнями различных способов; и том неуклонном росте индивидуализма, который характерен для эпох городской жизни, и особенно для последних трех столетий до нашей эры. обратите внимание, что к тому времени, когда эти старые золотые украшения снова появились на свет в качестве клубов, которые можно было использовать в политических целях, новый источник наживы, причем по-настоящему

грязный, оказался в пределах досягаемости римского городского плебса: стало возможным зарабатывать деньги своим голосованием на выборах магистратов. В те времена, когда огромное накопление капитала давало человеку возможность купить себе путь к власти, несмотря на неоднократные попытки сдержать зло законодательными средствами, старый принцип почетного товарищества использовался, чтобы помочь мелкому человеку зарабатывать на жизнь, выбирая беспринципных и часто некомпетентных для управления Империей.

Однако, помимо таких незаконных способов зарабатывания денег, в Риме прошлого века до нашей эры, вне всякого сомнения, существовало большое количество честного и полезного труда, выполняемого свободными гражданами. Мы не должны отказываться от идеи, что весь труд в городе выполняли рабы, которые лишали свободного человека возможности зарабатывать на жизнь. Действительно, существовало определенное количество общественных рабов, которые выполняли общественную работу на благо государства; но в целом большая масса подневольного населения работала исключительно в домашних хозяйствах и в поместьях богатых и ни в какой ощутимой степени не вмешивалась в труд мелкого свободного человека. Как справедливо заметил Сальвиоли,[78] никогда, ни в какой период римский пролетариат не жаловался на конкуренцию рабского труда как вредную для его собственных интересов. Если бы там не было рабского труда, мелкий свободный человек действительно мог бы иметь более широкое поле деятельности и был бы в большей степени способен накопить небольшой капитал, выполняя работу для больших семей, которую и так выполняли их рабы. Но он не осознавал этого, и два вида труда, оплачиваемый и неоплачиваемый, шли бок о бок без активного соперничества. Несомненно, рабство способствовало развитию праздности, как это было в Южных штатах Америки перед Гражданской войной; [79] несомненно, в городе было много праздных головорезов, готовых воровать, убивать или наниматься в качестве вооруженных сторонников такого политического отчаянного человека, как Клодий; но мы можем быть уверены, что простые жизненные потребности тех, у кого не было собственных рабов, давали работу большому количеству свободных торговцев, ремесленников и рабочих более неквалифицированного вида.

Для начала мы можем задать уместный вопрос, каким образом кукуруза, продаваемая государством дешево, была превращена в хлеб для мелкого потребителя. Плиний дает нам очень ценную информацию, которую мы можем принять как приблизительно верную, о том, что до 171 года до нашей эры в Риме не было пекарей.[80] "Квириты, - говорит он, - сами пекли хлеб, что было делом женщин, как и до сих пор у большинства народов". Спрос, который, таким образом, удовлетворялся новой торговлей, был, без сомнения, вызван увеличением низшего населения города, возвращением старых солдат, часто, возможно, неженатых, и освобождением рабов, многие из которых также были бы неопытны в домашней жизни и ее потребностях; и мы, вероятно, можем связать это с ростом системы *insulae*, больших жилых домов, в которых было бы неудобно ни молоть зерно, ни печь хлеб. Таким образом, пекари, называемые *писторами* из-за старой практики толчения зерна в ступке (*pingere*), вскоре стали очень важной и процветающей частью плебса, хотя никогда не пользовались высокой репутацией; и в связи с раздачей зерна некоторые из них, вероятно, поднялись выше уровня мелких торговцев, как *писториус искупитель*, Марк Вергилий Эврисакий, памятник которому дошел до нас.[81] Следует отметить, что ремесло пекаря включало в себя измельчение зерна; в

Риме не было мукомолов. Это можно хорошо проиллюстрировать на примере многочисленных пекарен, раскопанных в Помпеях.[82] В одном из них, например, мы находим четыре мельницы в большом помещении в задней части здания, а рядом находится стойло для ослов, которые их переворачивали, а также тестомесильная, печь и кладовая. В небольших пекарнях, возможно, были только ручные мельницы, подобные той, с помощью которой мы видели крестьянина в *Моретуме*, перемалывающего зерно; но осел с довольно ранних времен ассоциировался с этим бизнесом, как мы знаем из того факта, что на празднике Весты, божества-покровителя всех пекарей, их украшали венками и пирожными.[83]

Торговля выпечкой, должно быть, давала работу большому количеству людей. Так же, без сомнения, обстояли дела и с поставками овощей, которые привозились в город с огородов за пределами города и составляли, после кукурузы, основной продукт питания низших классов. Мы уже видели в *"Моретуме"*, как крестьянин добавляет к своему запасу хлеба овощную похлебку, и читатель стихотворения был бы поражен количеством упомянутых, в том числе садовых трав для придания вкуса. Древние в полной мере осознавали ценность растительной пищи и фруктов как здорового рациона в странах с теплым климатом, и удивительно полная информация, которой мы располагаем по этому вопросу, почерпнута у таких авторов-медиков, как Гален, а также из *"Естественной истории"* Плиния и у авторов по сельскому хозяйству. Сами названия некоторых римских семей, например Фабиев и Цепионов, переносят нас во времена, когда фасоль и лук, которые позже были не в такой большой моде, были регулярной частью рациона римского народа. Список овощей и трав, о потреблении которых мы знаем, занимает целую страницу в интересном отчете Марквардта по этому предмету и включает большинство из тех, которые мы используем в настоящее время.[84] Только когда с ростом капитала и сопутствующей ему роскоши появилось потребление мяса и дичи, вегетарианскую диету стали вообще презирать. Это еще один результат экономических изменений, вызванных войной с Ганнибалом, и любопытно проиллюстрировано речью повара большого дома в *Псевдолусе* Плавта, который гордится тем, что он не такой, как другие повара, которые превращают гостей в полевых зверей, пичкая их всевозможной пищей, которую ест скот, и даже тем, от чего скот отказался бы![85] мы можем предположить, что во все времена римляне низшего класса потребляли в основном фрукты и овощи и, таким образом, давали работу нескольким огородникам и мелким поставщикам. Рыбу он не ел; как и мясо, она была слишком дорогой; на самом деле рыбоедение появилось только к концу республиканского периода, и то только как роскошь для тех, кто мог позволить себе содержать пруды с рыбой в своих поместьях. Не очень ясно, насколько предложение других предметов роскоши, таких как мясо мясников, давало работу свободным людям; и, возможно, здесь нам нужно принять во внимание лишь те немногие другие продукты, например масло и вино, которые пользовались всеобщим спросом, хотя и не всегда были доступны нуждающимся. В Риме было множество маленьких магазинчиков, где продавались эти вещи; у нас есть изображение такого магазина (*caupona*) в другой второстепенной поэме Вергилия *"Сора"*, то есть хозяйки, или, возможно, в данном случае женщины, которая танцевала и пела для развлечения гостей. Она занималась своим ремеслом в прокуренной таверне (*fumosa taberna*), все содержимое которой очаровательно описано в стихотворении.[86]

Давайте теперь посмотрим, как другая главная потребность человеческой жизни, снабжение одеждой, давало работу свободному римскому лавочнику.

Одежда всего римского населения изначально была шерстяной; и верхняя одежда, *тога*, и внутренняя (*туника*) были из этого материала, и овцы, которые его поставляли, хорошо и удобно паслись во всех более высоких холмистых районах Италии. Другие материалы, лен, хлопок и шелк, появились позже, с ростом торговли, но производством одежды из них занимались в основном рабы в больших семьях, и нам нет необходимости принимать их здесь во внимание. Заготовка шерсти также была в хорошо организованных домашних хозяйствах, которыми занимались даже при Империи женщины семьи, включая саму матфамилиас, и во многих надписях мы находим *lanificium*, записанный как почетная практика матрон.[87] Но как в случае с едой, так и с простым материалом одежды, вскоре выяснилось, что в городе более бедные горожане не могут делать все необходимое в своих собственных домах; это убедительно подтверждается упоминанием золотых фуллонов[88] (*fullones*) среди тех, которые традиционно приписываются Нуме. Валяние - это приготовление ткани путем промывки в воде после того, как она сошла с ткацкого станка; но ремесло валяльщика в более поздней республике, вероятно, часто включало фактическое производство шерсти для тех, кто не мог сделать это сам. Он также стирал уже бывшую в употреблении одежду, и это, без сомнения, было очень важной частью его бизнеса, поскольку в теплом климате тяжелые шерстяные материалы, естественно, часто загрязняются и становятся нездоровыми. Мыло не было известно до первого столетия Империи, и процесс очищения был еще более длительным и сложным; подробности этого процесса известны нам по росписям в Помпеях, где они украшают стены мастерских, которые были раскопаны. План одного из них можно найти в "*Помпеях*" Мау, стр. 388. Обычную шерстяную одежду просто выбеливали добела, а не красили; и хотя Плутарх упоминает красильщиков среди древних позолотчиков, вполне вероятно, что под греческим словом он подразумевает главным образом суконщиков [*греч. Βαφείς*].

Об изготовлении кожи мы знаем не так уж много. Этим, как и шерстью, должно быть, первоначально занимались в домашнем хозяйстве, но упоминается как ремесло еще во времена Плавта.[89] Сапожное дело, однако, было распространенным с древнейших времен, вероятно, потому, что для него требовались определенные технические навыки и опыт; наиболее естественное разделение труда в ранних обществах, несомненно, привело к возникновению этого ремесла. Гильдия сапожников была одной из самых ранних, и ее центр находился в *ватриуме суториума*;^[90] а отдельные сапожники вели свою торговлю в киосках или магазинах. Здесь можно упомянуть, что римская обувь была нескольких видов, в зависимости от пола, ранга и рода занятий владельца; но двумя наиболее важными видами были *calceus*, обувь, которую носили с тогой в городе и которая была знаком римского гражданина; *ирего* или высокие сапоги, которые были более удобны в сельской местности.

Среди старых золотых изделий были также изделия кузнецов (*фабри феррари*) и гончаров (*фигули*), но о них здесь мало что нужно говорить, поскольку их, естественно, было меньше, чем продавцов еды и одежды, и сырье для их работы приходилось, по крайней мере в более поздние времена, привозить издалека. Более поздние римляне, по-видимому, добывали железную руду на острове Эльба и в Испании, Галлии и других провинциях [91] и импортировали посуду всех видов, особенно лучших сортов, из различных частей империи; более простые виды, такие как *dolia* или большие сосуды для хранения вина и масла, несомненно, были изготовлены в Риме во втором веке до нашей эры, поскольку Катон в своей книге о сельском хозяйстве [92] отмечает, что лучше всего их можно было приобрести там. Но оба эти производства требуют определенного количества капитала, и мы можем усомниться в том, что свободное население было в значительной степени занято в них; мы точно знаем, что в ранней империи

производством посуды, черепицы, кирпича и т.д. Занимались капиталисты, некоторые из них благородного происхождения, включая даже самих императоров, и, без сомнения, "руки", которые они использовали, были в основном рабами.[93]

Но отрасли промышленности такого рода могут служить напоминанием нам о другом виде занятости, в котором низшие классы Рима и Остии, возможно, находили средства к существованию. Импорт сырья и товаров всех видов, который постоянно увеличивался на протяжении всей римской истории, требовал найма огромного количества носильщиков и тех, кого мы должны были бы назвать докерами, работавшими как в Остии, где более тяжелые корабли разгружались или освобождались от части своего груза, чтобы дать им возможность подняться вверх по Тибру, [94] так и на причалах Рима под Авентином. Мы также должны помнить, что почти все перевозки в городе выполнялись мужчинами с помощью мулов или ослов; улицы были настолько узкими, что, пытаясь представить, как они выглядели, мы должны были выбросить из головы скопление транспортных средств, привычных для современного города. Юлий Цезарь в своих постановлениях для правительства города Рима запретил движение фургонов по улицам в дневное время.[95] Даже предположив, что большое количество носильщиков выполнялось рабами для своих хозяев, мы можем разумно предположить, что свободный труд таким же образом использовался и в Риме, как, безусловно, это имело место в Остии, а также в Помпеях, где носильщики вьюков (*саккарии*) и погонщики мулов (*muliones*) входят в число корпораций свободных людей, которые оставили в виде *граффити* призывы к избирателям поддержать определенного кандидата на выборах в магистратуру.[96]

Таким образом, мы можем с уверенностью заключить, что в Риме существовало весьма значительное количество рабочих мест для более бедных граждан, совершенно независимо от труда, выполняемого рабами. Но прежде чем завершить эту главу, необходимо указать на ненадежные условия, в которых осуществлялась эта занятость, по сравнению с промышленными условиями современного города. Достаточно верно, что фабричная система современности с потоотделением, долгими часами работы и нездоровым окружением наших промышленных городов породила много страданий, много физического вырождения; и к тому же проблема безработных всегда с нами. Но были два момента, в которых положение свободного ремесленника и торговца в Риме было намного хуже, чем у нас, и делало его подверженным еще более безнадежному падению, чем то, что слишком часто является судьбой современного наемного работника.

Во-первых, давайте рассмотрим, что рынки тогда, как и сейчас, были подвержены колебаниям, — вероятно, более подвержены тогда, чем сейчас, потому что поставки как продовольствия, так и сырья для производства были более ненадежными из-за больших трудностей транспортировки. Временами торговля шла бы плохо, и могло произойти много событий, которые вынудили бы человека с небольшим капиталом или вообще без него занимать деньги, что он мог сделать только под залог своих акций или, действительно, как все еще признавалось римским правом, своей личности. Ростовщики были в изобилии, как мы увидим в следующей главе, проценты были высоки, и попасть в руки ростовщика было лишь еще одним шагом на пути к разрушению. В наши дни, если торговец терпит неудачу в бизнесе, он может обратиться к милосердному закону о банкротстве, который дает ему все шансы удовлетворить своих кредиторов и начать все заново; или, в случае единственного долга, он может быть передан в окружной суд, где ему предоставляются всевозможности погасить его в разумные сроки. Все

это оборудование, большинство из которых (к позору современной цивилизации) появилось совсем недавно, в Риме отсутствовало. Единственными магистратами, исполняющими гражданское право, были преторы, и хотя после реформ Суллы в городе их обычно было восемь, мы можем хорошо представить, как трудно было бы бедному должнику в огромном городе заниматься своими делами. Вероятно, в большинстве случаев кредитор исполнял с ним свою волю, вступал во владение его имуществом без вмешательства закона и таким образом погружал его в воду или даже обращал в рабство. Если бы он решил проявить милосердие, он мог бы пойти к претору и получить то, что называлось *missio in bona*, то есть законное право забрать все имущество своего должника, отказавшись от права на его личность. И следует отметить, что более гуманный закон о банкротстве не вводился до времен Августа. Неудивительно, что по крайней мере трижды за последнее столетие Республики раздавались призывы к полному уничтожению долгов (*tabulae novae*): в 88 году до н.э., после Социальной войны; в 63 году, во время консульства Цицерона, когда политические и социально-революционные проекты были объединены в заговоре Катилины; и в 48 году, когда экономическое состояние Италии было нарушено Гражданской войной, и Цезарю было очень трудно удержать беспринципных агитаторов от применения жестоких и глупых средств. Но к этому мы вернемся в следующей главе.

Во-вторых, давайте рассмотрим, что в современном крупном городе личность и собственность всех, богатых или бедных, надлежащим образом защищены надежной системой полиции и судами первой инстанции, которые заседают каждый день. Нападение и убийство, кража со взломом - явление исключительное. Возможно, было бы преувеличением утверждать, что в Риме они были правилом; но факт остается фактом: в том, что мы можем назвать римскими трущобами, не было механизма для их сдерживания. Такой механизм не был изобретен, потому что согласно старым нормам права, все еще действующим, отец мог наказать своих детей, хозяин - своих рабов, а убийца или вор мог быть убит своей предполагаемой жертвой, если его поймут с поличным. Этого грубого правосудия было бы достаточно в маленьком городе с простой социальной системой; но его было бы совершенно недостаточно для защиты жизни и собственности при огромном населении, таком, как в Риме прошлого столетия до н.э. Со времен Суллы действительно существовали суды для рассмотрения насильственных преступлений, и во все времена консулы со штатом своих помощников отвечали за спокойствие в городе; но мы вполне можем спросить, мог ли бедный римлянин времен Цицерона действительно извлечь выгоду либо из консульской власти, либо из действий сулланских судов. Раб был объектом заботы своего хозяина, и кража у раба была кражей у его владельца, — если бы его ранили или убили, он мог бы получить удовлетворение. Но в тот век вялого и грязного правления, по крайней мере, крайне сомнительно, можно ли сказать, что личность или собственность низшего класса граждан были должным образом защищены в городе. И такая же анархия царила по всей Италии — от предместий Рима, кишавших разбойниками, до овцеводческих ферм крупных капиталистов, где путешественника могли похитить беглые рабы, чтобы он исчез с глаз людских, не оставив и следа о своей судьбе.

Великая заслуга Августа в том, что он превратил Рим не только в город из мрамора, но и в такой, в котором личность и имущество всех граждан были в достаточной безопасности. С помощью нового и рационального закона о банкротстве и хорошо организованной системы полиции он сделал жизнь сносной даже для самых бедных. Если он инициировал политику, которая в конечном итоге испортила и деградировала римское население, если ему не удалось поощрять свободную промышленность так настойчиво, как нам кажется, он мог бы это сделать,

возможно, его можно в какой-то степени извинить, поскольку он знает условия и трудности стоящей перед ним проблемы лучше, чем мы можем знать их.

ГЛАВА III

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ И ИХ МЕТОДЫ

Высший класс на социальной лестнице Рима был разделен, скорее грубо, чем точно, на две части, в зависимости от того, стремились они быть избранными в магистратуры и, таким образом, войти в сенат. К сенаторскому ордену, о котором пойдет речь в следующей главе, принадлежали все сенаторы и все сыновья сенаторов, независимо от того, были ли они к тому времени избраны на квесторскую должность, которая после Суллы была магистратурой, необходимой для избрания в сенат. Но за пределами сенаторских рядов было много богатых и хорошо образованных людей, большинство из которых так или иначе занимались бизнесом; под этим термином здесь подразумеваются не столько торговля и коммерческие операции, сколько банковское дело, ростовщичество, заключение государственных контрактов и повышение налогов. Общим названием этого класса было, как ни странно, *equites*, или рыцари, как их часто, но, к сожалению, называют в современных историях Рима. Фактически, в то время они были самой невоенной частью населения, и они унаследовали титул только потому, что имущественный ценз для *equites equo privato*, то есть кавалерии, которая служила со своими лошадьми, был взят в качестве ценза также и для конных судей, которым Гай Гракх поручил решение дел в *quaestio de repetundis*. [97] Результатом этого закона Гракха стало создание *ordo equester* наряду с *ordo senatorius* с имущественным цензом в 400 000 сестерциев, или около 3200 фунтов стерлингов, не дохода, а капитала. Любой, у кого была такая сумма, мог называть себя *eques*, при условии, что он не был сенатором, даже если он никогда не служил в кавалерии и не садился верхом на лошадь.

Нас здесь интересует бизнес, которым занимались эти люди, а не их история как органа государства; эта последняя сложная тема затрагивалась доктором Гриниджем в его *"Общественной жизни Рима"* и многими другими авторами. Мы должны рассматривать их здесь как представителей капитала и главного применения, на которое он был направлен в эпоху Цицерона; ибо, по сути дела, они тогда делали большую часть денег Империи. На самом деле они не всегда делали это для себя; они часто представляли людей сенаторского ранга и действовали как их агенты при вложении денег и обеспечении причитающейся прибыли. Строгая буква закона не позволяла сенатору заниматься бизнесом, который вывел бы его из Италии; [98] его услуги были необходимы дома, и если бы он действительно выполнял свою надлежащую работу с усердием и энергией, он никогда не смог бы найти время для поездок по своим делам. В то время, о котором мы говорим, были способы, с помощью которых он мог уклоняться от своих обязанностей, — способы, которыми он слишком часто пользовался; но многие сенаторы, несомненно, нанимали членов ордена всадников для ведения своих дел за границей, так что не будет неправдой сказать, что всадники держали в своих руках почти весь денежный бизнес Империи.

Имущественный ценз может показаться нам достаточно низким, но он, конечно, не является реальным показателем размера капитала, которым может обладать богатый человек. Нет ничего более удивительного в истории последнего столетия республики, чем огромные суммы денег, находящиеся в руках отдельных лиц, и огромные суммы, одалживаемые в частном порядке людьми, чьи имена известны нам как государственные деятели. О Цезаре

рассказывают, что в молодости он задолжал сумму, эквивалентную примерно 280 000 фунтов стерлингов; о Крассе говорят, что он вложил 200 миллионов сестерциев только в землю.[99] Цицерон, хотя время от времени и испытывал трудности, всегда находил возможным занимать крупные суммы, которые он тратил на дома, библиотеки и т. Д. Это люди сенаторского ордена; из собственно всадников, людей, которые занимались скорее ссудами, чем заимствованиями, у нас нет таких подробных отчетов, потому что они не были в той же степени представлены общественности. Но об Аттике, образце лучшей и высокопоставленной части *equester ordo*, а также о размере и источниках его богатства нам многое известно из его небольшой биографии, написанной его современником и другом Корнелием Непотом, взятой вместе с многочисленными письмами Цицерона к нему. Его отец оставил ему умеренное состояние в 16 000 фунтов стерлингов. На эти деньги он купил землю, но не в Италии, а в Эпире, где она, вероятно, была дешевой. Прибыль, получаемую от этой земли, с которой он, без сомнения, приложил много хлопот, он снова инвестировал другими способами. Он ссужал деньги греческим городам: Афинам, действительно, без каких-либо процентов; Сикиону без особой надежды на возврат; но, без сомнения, многим другим с большой прибылью. Он также занимался изданием книг, покупая рабов, которые были искусными переписчиками; и в этом, как и во многих других отношениях, его дружба была бесконечно ценна для Цицерона. Когда мы размышляем о том, что каждый высокообразованный человек в то время владел библиотекой и хотел иметь последнюю новую книгу, мы можем понять, насколько даже этот бизнес мог быть обширным и прибыльным, и не удивляемся, когда Цицерон просит Аттика позаботиться о том, чтобы экземпляры его греческой книги о его собственном консульстве были доступны в Афинах и других греческих городах.[100] Этот проникательный человек также вложил деньги в гладиаторов, которых он мог бы выпустить с прибылью, как, без сомнения, выпустил бы своих библиотечных рабов.[101] Наконец, у него были дома в Риме; на самом деле он, должно быть, зарабатывал деньги самыми разными способами, сам тратил мало и лично и неустанно занимался всеми своими делами, как действительно, с искренней и бескорыстной дружбой он занимался делами Цицерона. В нем мы видим лучший тип римского бизнесмена: не обрюзгшего миллионера, живущего в грубой роскоши, но человека, который любил всегда быть занятым для себя или своих друзей, и чье знание людей и вещей было настолько глубоким, что он мог сколотить состояние, не беспокоясь о себе и не причиняя дискомфорта другим. Какой объем капитала он заработал этими различными способами, мы не знаем, но основная часть его состояния перешла к нему после того, как он занимался этим в течение многих лет, в виде наследства от дяди. Этот дядя был типичным капиталистом и ростовщиком гораздо более низкого и грубого типа, чем его племянник; Непот метко описывает его как "*familiarem L. Luculli, divitem, difficillima natura*". Племянник был единственным человеком, который мог ужиться с этим Питером Физерстоуном из римской жизни, и этот простой факт говорит нам о характере и настроении Аттика столько же, сколько и все, что содержится в переписке Цицерона с ним. Счастливым результатом было то, что его дядя оставил ему сумму, которую мы можем оценить примерно в 80 000 фунтов стерлингов (*сантимы сестерциума*),[102] и с этого момента его можно считать если не миллионером, то, во всяком случае, человеком с крупным капиталом, разумно вложенным и постоянно увеличивающимся.

Таким образом, нет сомнений ни в факте наличия капитала в больших масштабах в Риме последнего столетия до нашей эры, ни в деловых талантах многих его владельцев, ни, опять же, во множестве прибыльных способов, которыми он мог быть инвестирован. Но для того, чтобы узнать немного больше об истории столицы в Риме, которая имеет первостепенное значение

для правильного понимания не только экономических, но и социальных и этических характеристик эпохи, необходимо вернуться как минимум к войне с Ганнибалом.

То, что в руках частных лиц задолго до войны с Ганнибалом имелся избыточный капитал, является хорошо известным фактом, подтверждаемым старым римским долговым правом и традициями несчастливых отношений должника и кредитора. Но чтобы не заходить слишком далеко назад, мы можем отметить поразительный факт, который встречается нас в самом начале этой знаменательной войны. В 215 году до н. э. и снова в следующем году казна была почти пуста; тогда, насколько нам известно, впервые на помощь пришли частные лица и ссудили государству крупные суммы; [103] это были партнеры в определенных ассоциациях, которые будут описаны позже в этой главе, которые зарабатывали деньги, заключая государственные контракты в предыдущих войнах. Присутствие Ганнибала в Италии до предела истощило ресурсы государства во всех отношениях; оно отрезало римлян от поставок драгоценных металлов, вынудило их снизить *веса* до одной унции и, что довольно любопытно, также впервые выпустить золотые монеты — мера, вероятно, принятая из-за нехватки серебра, - и использовать нечеканенное золото, находящееся в казначействе или в частных руках. В конце войны запасы серебра были восстановлены; с тех пор все расчеты производились серебром, и чеканка золотых монет продолжалась недолго.

В это счастливое время, когда Рим почувствовал, что снова может дышать после окончательного разгрома своего смертельного врага, начался великий приток богатства, прямым результатом которого является капитализм времен Цицерона. Главными источниками этого богатства, насколько это касалось государства, были контрибуции, выплачиваемые покоренными народами, особенно Карфагеном и Антиохом Сирийским, а также добыча, привезенная домой победоносными полководцами. О них Ливий сохранил подробные описания, и лучшим примером, пожалуй, является добыча, привезенная Сципионом Азиатским из Малой Азии в 189 году до н.э., о которой Плиний отмечает, что она впервые принесла роскошь в Италию.[104] Было грубо подсчитано, что общая сумма контрибуций может быть взята в размере шести миллионов наших фунтов стерлингов в период великих войн второго века до нашей эры, а из трофеев - примерно столько же. Кроме того, мы должны принять во внимание продукцию испанских серебряных рудников, которыми римляне завладели вместе с карфагенскими владениями в Испании; самые богатые из них находились недалеко от Карфаген Новы, и Полибий сообщает нам, что в его время на них работало 40 000 рудокопов и они приносили огромный доход.[105]

Все это шло в азарий, за исключением того, что раздавалось из добычи солдатам, как римлянам, так и социям, причем первые, естественно, брали, как правило, вдвое больше суммы, выплачиваемой последним. Но приток сокровищ в государственную казну вскоре начал сказываться на финансовом благополучии всего гражданского сообщества; самым ярким доказательством этого является тот факт, что в 167 году до н.э., после второй македонской войны, *tribulum*, или налог на имущество, больше не взимался со всех граждан. С тех пор римскому гражданину почти не приходилось нести никаких тягот, кроме необходимости военной службы, и есть очень отчетливые признаки того, что он начинал не желать нести даже эту ношу. Он видел, как выдающиеся люди его времени обогащались за границей и вели роскошную жизнь, и дух легкости и безделья неизбежно начал сказываться и на нем. Действительно, Полибий, писавший около 140-130 гг. до н.э., отказывается положительно утверждать, что великие римляне были коррумпированы или занимались вымогательством,

[106] а те, кто были его близкими друзьями, Эмилий Павел и его сыновья, отличались своей "абстиненцией": но простое упоминание этого слова "abstinentia" в сборниках утраченных книг Ливия, относящихся к этому времени, слишком явно выдает этот факт. В 149 году был принят первый из длинной серии законов, призванных, но тщетно, обуздать склонность губернаторов провинций к вымогательству денег у своих подданных; и поскольку этот закон впервые учредил постоянный суд для рассмотрения преступлений такого рода, неизбежен вывод, что такие преступления были обычным явлением и их число росло.

Примечательным фактом в этом приливе богатства является его необычайная внезапность. При жизни одного человека, Катона Цензора, который умер стариком в 149 году до нашей эры, финансовое состояние государства и отдельных людей претерпело кардинальные изменения. Катон любил делать деньги и очень хорошо знал, как это делать, о чем ясно свидетельствует его собственный трактат о сельском хозяйстве; но он хотел делать это законным способом и с пользой тратить заработанные им деньги, и он не жалел сил, чтобы помешать другим зарабатывать их незаконным путем и тратить их нерентабельно. Он ясно видел, что внезапный приток богатства нарушил равновесие в сознании римлян и что желание зарабатывать деньги вытеснило идею долга перед государством. Он знал, что ни один римлянин не может служить двум господам, Маммоне и государству, и что Маммона берет верх в его взглядах на жизнь. Если бы накопление богатства было постепенным, а не внезапным, естественным, а не искусственным, это вряд ли могло бы произойти; как в Англии начиная с четырнадцатого века, устойчивый рост капитала не вызвал бы никаких этических нарушений, никаких ложных экономических идей, потому что это был бы *органический* рост, опирающийся на прочную и естественную экономическую основу.[107] Как с необычайной остротой сказал французский историк,[108] "Деньги подобны воде в реке: если они внезапно разливаются, они опустошают; разделите их на тысячу каналов, по которым они спокойно циркулируют, и они приносят жизнь и плодородие в каждое место".

Именно в этот период великих войн, столь нездоровый и опасный с экономической точки зрения, деловые люди, как они были определены в начале этой главы, — люди капитала за пределами сенаторского ордена - впервые приобрели реальную значимость. В последующем столетии, и как мы видим из переписки Цицерона, они стали великой силой в государстве, и не только в Риме, но и во всех уголках Империи. Теперь мы должны увидеть, как они приобрели это значение и эту власть, и как они использовали свой капитал и свои возможности. Обычно это не объясняется и не иллюстрируется в обычных историях Рима, но без объяснения этого невозможно понять социальную жизнь Рима того периода.

Деловых людей можно разделить на два класса в зависимости от того, выполняли они работу на благо государства или полностью за свой счет. Из этого не следует, что эти два класса были взаимоисключающими; человек вполне мог вложить свои деньги в оба вида предприятий, но эти два вида были совершенно разными и назывались разными именами. Общественное предприятие называлось *publicum*, [109] а люди, которые за него взялись, *publicani*; частное предприятие было *negotium*, и все частные предприниматели были известны как *negotiatores*. Публиканы всегда были организованы в акционерные общества (*societates publicanorum*); переговорщики могли быть в частном партнерстве с одним или несколькими партнерами, [110] но, как правило, это были одиночки. Сначала мы разберемся с публиканами.

В только что процитированном отрывке Ливия утверждает, что в начале Ганнибаловой войны деньги были предоставлены государству *societates publicanorum*; Ливий также случайно упоминает, что трое из них боролись за эту привилегию. Таким образом, ясно, что система выполнения общественных работ по контракту действовала в полном объеме до этой даты, наряду с практикой объединения подрядчиков в партнерские отношения для снижения риска. Система и практика одинаково естественны, и нужно лишь немного исторического воображения, чтобы осознать их развитие. Поскольку Римское государство было вовлечено в войны, ведущие к завоеванию Италии, а в свое время и к приобретению владений за морем, необходимо было оснастить армии и флоты и снабдить их провизией, проложить дороги, получить государственную ренту, возвести новые здания для общественного удобства или богослужения, закупать зерно для растущего населения и, прежде всего, собирать налоги как в Италии, так и в провинциях, поскольку они приобретались по отдельности.[111] У правительства не было аппарата для выполнения этих обязательств самостоятельно; у него не было, как у нас, отдельных департаментов или служб. бюро с постоянным штатом должностных лиц, прикрепленных к каждому, и даже если бы это было предусмотрено таким образом, оно все равно сочло бы наиболее удобным, как это делают и современные правительства, поручать выполнение необходимой работы в большинстве случаев частным подрядчикам. Каждые пять лет цензоры выставляют различные работы на аукцион компаниям-подрядчикам, которые берутся реализовать их за фиксированные суммы и извлекают из этого бизнеса всю возможную прибыль (*ensoria locatio*). Это избавляло сенат и магистратов от огромного количества хлопот, которые обычно были заняты другими делами; поначалу в системе не было никакого вреда, пока римляне были морально здоровы и неспособны выполнять свою работу. Сам факт того, что они объединились в компании с целью заключения этих контрактов, показывает, что они осознавали связанный с этим риск и хотели, насколько это было возможно, нейтрализовать его; это означало не жадность к деньгам, а скорее беспокойство о том, чтобы не потерять вложенный капитал.

Но по мере того, как Рим расширял свои владения во втором веке до нашей эры и ему приходилось заниматься постоянно растущим объемом государственных дел, было обнаружено, что заключение контрактов действительно может быть рискованным делом, но при наличии навыков и опыта, и особенно при небольшой беспринципности, может стать совершенно безопасным и окупаемым вложением средств. Особенно это касалось обязательств по повышению налогов во вновь приобретенных провинциях, а также в Италии, особенно в тех провинциях, а именно. Сицилия и Азия, которые платили свои налоги в виде десятины, а не одновременно. Сбор этих доходов можно было бы сделать очень полезной заботой, учитывая, что не было необходимости слишком щепетильно относиться к правам и притязаниям провинциалов. И действительно, ко времени Гракхов все эти акционерные общества стали любимым вложением капитала, в которое каждый, у кого был хоть какой-то капитал, каким бы небольшим он ни был, вкладывал его без колебаний. Полибий, который в то время несколько лет находился в Риме и был досконально знаком с римской жизнью, оставил ценную запись в своей шестой книге (глава xvii) о всеобщем спросе на акции этих компаний; факт, который доказывает, что они считались одновременно безопасными и прибыльными.

Этими обществами управляли великие бизнесмены, подобно тому как нашими акционерными компаниями руководят люди с капиталом и влиянием. Полибий сообщает нам, что среди тех, кого это касалось, некоторые брали контракты у цензоров: их называли *манципами*, потому что признаком принятия контракта на аукционе было поднятие руки.[112] Другие, продолжает

Полибий, были связаны с этими манципами и, как мы можем предположить, несли равную с ними ответственность; это были *socii*. Конечно, было необходимо предоставить обеспечение для выполнения контракта, и Полибий не упускает из виду *praedes* или гарантов[113]. Наконец, он говорит, что другие люди снова передали свою собственность от имени этих официальных членов компаний или от их имени для выполнения поставленных общественных целей. Эти последние слова допускают более чем одно толкование, но поскольку в том же отрывке Полибий говорит нам, что все, у кого были какие-либо деньги, вкладывали их в эти предприятия, мы можем разумно предположить, что он имеет в виду *participes*, или мелких держателей акций, которые назывались *partes*, или, если очень маленькие, *particulae*[114]. Общества и причастные, по-видимому, различаются Цицероном в его верринских речах (ii. 1. 55), где он цитирует дополнение, незаконно внесенное Верресом в качестве претора в *lex censoria*: "*qui de censoribus redemerit, eum socium ne admittito neve partem dato*". Если это так, мы можем рассматривать *socius* как имеющий долю как в управлении, так и в ответственности, в то время как *particeps* просто вложил свои деньги в предприятие [115]. Фактическое управление, о котором Полибий умалчивает, находилось в Риме в руках *магистра*, менявшегося ежегодно, подобно магистратам государства, а в провинциях - у *про-магистра*, подчиняющегося про-магистрату, с большим штатом помощников [116]. Связь между руководством дома и провинциями поддерживалась посыльными (*tabellarii*), которые были в основном рабами; и интересно попутно заметить, что они, которые постоянно упоминаются в письмах Цицерона, также выполняли функции разносчиков писем для частных лиц, которым были известны их работодатели.

Подобный бизнес, затрагивающий интересы стольких граждан, должен был потребовать чего-то очень похожего на Фондовую биржу нового времени; и фактически базилики и портики, которые мы встретили на Форуме во время нашей прогулки по Риму, действительно служили этой цели.[117] Читатель писем Цицерона, вероятно, заметил, как часто о Форуме говорят как о центре жизни Рима — посещение Форума действительно было равносильно "выходу в город", а также "спуску в Вестминстер". Все, у кого были инвестиции в *societates*, хотели бы знать последние новости, привезенные *табеллариями* из провинций, например, о состоянии урожая на Сицилии или в Азии, или о настроении какого-нибудь провинциального губернатора по отношению к публиканам своей провинции, или, опять же, о приближении какого-нибудь врага, такого как Митридат или Ариовист, которые, разгромив римскую армию, могли бы ворваться на римскую территорию и уничтожить перспективы успешного контрактного предприятия. Несомненно, любовь Цицерона к Форуму была не только политической; он действительно любил его как место своих великих триумфов в качестве адвоката, но также, без сомнения, потому, что был связан с некоторыми компаниями, штаб-квартира которых находилась там. Призывая народ наделить Помпея чрезвычайными полномочиями, чтобы изгнать Митридата из пределов досягаемости римской Азии, где он нанес неисчислимый ущерб, он со знанием дела и чувством рассуждает о ценности провинции не только для государства, но и для бесчисленных частных граждан, которые вложили свои деньги в ее доходы [118]. "Если некоторые, - умоляет он, - потеряют все свое состояние, они утащат за собой еще многих. Спасите государство от такого бедствия: и поверьте мне (хотя вы и сами это достаточно хорошо видите), что вся система кредита и финансов, которая осуществляется здесь, в Риме, на Форуме, неразрывно связана с доходами азиатской провинции. Если эти доходы будут уничтожены, вся наша кредитная система рухнет с катастрофой. Смотрите, чтобы вы, ни на минуту не колеблясь, продолжили со всей вашей энергией войну, благодаря которой слава

римского имени, безопасность наших союзников, наши самые ценные доходы и состояния бесчисленных граждан будут эффективно сохранены.[119]"

Это хороший пример того, как политические вопросы могут решаться в интересах капитала, и это тем более поразительно, что несколькими годами ранее Сулла сделал все, что мог, чтобы ослабить капиталистов как отдельный класс. Помпей выступил с необычайными полномочиями и мог какое-то время считаться их представителем; результат в данном случае был в целом хорошим, поскольку работа, которую он проделал на Востоке, имела непреходящую ценность для Империи. Но конституция была поколеблена и так и не восстановилась полностью, и ничто из того, что он был в состоянии сделать, не могло вернуть несчастной провинции Азия ее бывшее процветание. Четыре года спустя компания, заключившая контракт на повышение налогов в провинции, попыталась расторгнуть свою сделку. Это было позорно, как прямо говорит сам Цицерон;[120] но вполне возможно, что они испытывали большие трудности с получением денег и боялись безвозвратных потерь[121] из-за обнищания провинциалов. Этот вопрос снова привел к политическому кризису; поскольку сенат, по настоянию Катона, был склонен отказаться от уступки, и союз между сенаторским классом и бизнесменами (*ordinum concordia*), который Цицерон особенно стремился утвердить, чтобы объединить всех имущих людей против опасностей социализма и анархии, оказался, таким образом, под угрозой настолько серьезной, что перестал быть фактором политики.

Этим компаниям и их агентам действительно было суждено стать занозой в боку Цицерона как самого губернатора провинции. Когда его призвали править Киликией в 51 году до н.э., он обнаружил, что люди совершенно не в состоянии платить налоги, и для этого попал в руки посредников; таким образом, его симпатии разделились между несчастными провинциалами, к которым он испытывал искреннюю жалость, и интересами компании по сбору киликийских налогов и тех, кто вложил свои деньги в ее фонды. В своем указе, изданном перед его въездом в провинцию, он пытался уравновесить конфликтующие интересы; написав об этом Аттику, который, естественно, как капиталист, стремился знать, что он делает, он говорит, что делает все возможное для публикани, уговаривая их, восхваляя их, уступая им, но следя за тем, чтобы они не причинили вреда; [123] слова, которые, возможно, не совсем удовлетворили его друга. Все честные губернаторы провинций, особенно Восточных, которые почти три столетия были ареной непрерывных войн, оказались в таком же затруднении. Их постоянно осаждали настоятельные призывы от имени налоговых компаний и их агентов — призывы, поданные без учета состояния провинции или ее платежеспособности - настолько всецело идея зарабатывания денег овладела умами римлян. Среди писем Цицерона много подобных обращений, разосланных им самим другим губернаторам провинций, некоторые из них в то время, когда он сам находился в Киликии. Мы можем привести два примера, прежде чем завершить эту часть нашей темы.

Первое из этих писем адресовано П. Силию Нерве, пропретору Вифинии, провинции, недавно присоединенной Помпеем к империи. Цицерон здесь говорит, что он сам тесно связан с партнерами в компании по сбору пастбищных сборов (*scriptura*) провинции, "не только потому, что эта компания в целом является моим клиентом, но и потому, что я очень близок с большинством индивидуальных партнеров". Можем ли мы сомневаться в том, что он сам был акционером? Он настоятельно призывает Нерву сделать все, что в его силах, для Теренция Испо, про-магистра компании, и попытаться обеспечить ему средства для заключения всех необходимых соглашений с облагаемыми налогами общинами, полагаясь, как мы рады

обнаружить, на такт и доброту губернатора.[124] Второе письмо, адресованное его собственному зятю, Фурию Крассипу, квестору Вифинии, должно быть процитировано здесь полностью по переводу м—ра Шакбурга:[125]

"Хотя в личной беседе я со всей серьезностью, на какую был способен, рекомендовал публикани Вифинии, и хотя я понял, что по вашей собственной склонности, не меньше, чем по моей рекомендации, вы стремились продвигать преимущества этой компании всеми доступными вам способами, я без колебаний написал вам это, поскольку заинтересованные лица сочли очень важным, чтобы я сообщил вам, каковы были мои чувства к ним. Я хочу, чтобы вы поверили, что, хотя я всегда получал величайшее удовольствие, делая все, что в моих силах, для ордена публикани в целом, все же у этой конкретной вифинской компании есть мои особые добрые пожелания. Благодаря рангу и происхождению своих членов, эта компания составляет очень важную часть государства, поскольку она состоит из членов других компаний, и так случилось, что очень большое количество ее членов очень близко знакомы со мной, и особенно с человеком, который в настоящее время возглавляет бизнес, П. Рупилиусом, ее про-магистром. В таком случае, я прошу вас с более чем обычной серьезностью защитить К.Н. Пупиуса, сотрудника компании, [126] со всей добротой и щедростью, на которые вы способны, и обеспечить, насколько это возможно, чтобы его услуги были как можно более удовлетворительными для компании, в то же время защищая и продвигая собственность и интересы партнеров — в отношении которых я хорошо знаю, какой властью обладает квестор. Вы окажете мне в этом вопросе огромную услугу, и я сам могу по личному опыту дать вам слово, что вы обнаружите, что партнеры компании "Вифиния" с благодарностью отнесутся к любым услугам, которые вы можете им оказать".

Если Цицерон, самый мягкосердечный из римских государственных деятелей, мог так настойчиво отстаивать требования компаний и, как в этом последнем письме, без какого-либо намека на интересы провинции и ее народа, мы вполне можем представить, как другие, менее щепетильные, должны были объединиться с капиталистами, чтобы сеять хаос в регионах, которым требовались только мир и мягкое правительство, чтобы оправиться от столетий нищеты. Такое письмо - лучший комментарий, который мы можем получить по поводу пагубной системы повышения налогов по контракту — системы, которая должна была быть модифицирована, отрегулирована и в конечном итоге сведена к безвредным размерам при благожелательном и научном правительстве ранней Империи.

Теперь мы должны обратиться к другой сфере деятельности деловых людей - банковскому делу и денежному кредитованию (*negotiatores*).

На северной, или солнечной, стороне Форума во время прогулки по городу мы заметили лавки банкиров (*tabernae argentariae*). *Аргентарии* первоначально, как следует из их названия, были всего лишь менялами, классом мелких бизнесменов, возникших в ответ на потребность, возникшую, как только растущая торговля и расширяющаяся империя завезли в Рим иностранную монету в больших количествах. Итальянские общины за пределами Римского государства выпускали свои собственные монеты до тех пор, пока они не были приняты в *civitas* после Социальной войны, — факт, которого одного достаточно, чтобы показать потребность людей, сделавших своим делом знание текущей стоимости различных монет в римских деньгах; и поскольку Рим был вовлечен в дела Востока, в городе всегда были в обращении тетрадрахмы Антиохии и Александрии, родосские драхмы и кистофори царей Пергама, впоследствии

отчеканенные в провинции Азия.[127] Несомненно, что меняльное дело было связано с тем, что римляне были вовлечены в дела Востока. был прибыльным и сам по себе приводил к образованию капитала, который можно было использовать для приема депозитов и выдачи авансов; и, как выразился профессор Персер, [128] простое владение некоторым количеством монет для размена, вероятно, привело бы к спонтанному развитию банковской профессии. Точно так же *нуммулярии*, или пробирщики монеты, имея в своих руках ее массу, были бы склонны развивать частный бизнес так же, как и свой официальный государственный. Все они, *argentarii* или *nummularii*, могли бы называться *foeneratores* по процентам (*foenus*), которые они взимали при своих сделках. Профессия была респектабельной, поскольку честность и точность в отчетах были абсолютно необходимы для успеха в ней.[129] Если читатель обратится к речи Цицерона в защиту Цецины (6. 16), он обнаружит, что к этим отчетам апеллировали, хотя, по-видимому, они фактически не были представлены в суде; но в *Noctes Atticae* Авла Геллия (xiv. 2) судья, описывающий гражданское дело, которое было передано на его рассмотрение, упоминает среди представленных документов *mensae rationes*, то есть счета, которые вел банкир.

Ваш аргентариус, похоже, был готов взять на себя за вас почти все, что современный банкир сделает для своего клиента. Он принимал денежные вклады либо для использования вкладчиком, либо для выплаты процентов, и производил платежи от его имени по получении письменного распоряжения в ответ на наш чек;[130] вероятно, это была практика, введенная в Греции, поскольку в Восточном Средиземноморье весь бизнес кредитования и обмена давно свелся к системе. Опять же, если бы вы пожелали получить деньги во время путешествия или выплатить сумму кому-либо на расстоянии, например, в Греции или Азии, ваш аргентариус организовал бы это за вас, выдав вам аккредитивы или переводные векселя на имя банкира в таких городах, которые вы могли бы упомянуть, итаким образом избавил бы вас от необходимости носить с собой тяжелую монету. Когда Цицерон отправил своего сына в Афинский университет, он пожелал назначить ему щедрое содержание, — слишком щедрое, как нам следует думать, поскольку оно составляло около 640 фунтов стерлингов в год, — и он спросил Аттика, можно ли организовать для него *permutatio*, то есть обмен, и получил утвердительный ответ[131]. Точно так же, когда его любимый вольноотпущенник, секретарь Тирон, заболел лихорадкой в Патрах, Цицерону не составило труда уговорить местного банкира ссудить ему все необходимые деньги и заплатить врачу, взяв на себя обязательство вернуть деньги любому агенту, которого банкир может назвать[132].

Ваш аргентариус также присутствовал бы от вашего имени или назначил агента для участия на любом публичном аукционе, в котором вы были бы заинтересованы как продавец или покупатель, и заплатил бы или получил деньги за вас — практика, которая, должно быть, очень помогла ему узнать текущую стоимость всех видов собственности и, действительно, научиться понимать человеческую природу с ее деловой стороны. В только что процитированном отрывке из "*pro Caecina*" некая дама по имени Цезенния пожелала купить поместье; она нанимает агента по имени Эбутий, несомненно, рекомендованного ее банкиром, и ему передается поместье. Он обязуется, что аргентариусу продавца, присутствующего на аукционе, будет выплачена стоимость, и в конечном итоге это делается в цезенниях и сумме, внесенной в банковские книги (*tabulae*).

Но, пожалуй, самой важной частью бизнеса было нахождение денег для тех, кто в них нуждался, то есть выдача авансов под проценты. Бедняк, нуждающийся в наличных деньгах, мог бы

получить их у аргентариуса в монетах, если бы у него было какое-либо обеспечение, и, как мы видели в предыдущей главе, мог бы все безнадежнее запутываться в сетях ростовщика. Занимался ли тот же самый аргентарий этим мелким бизнесом, а также работой по предоставлению богатому человеку кредита, мы не знаем; возможно, дело было в том, что крупные ростовщики, такие как Аттик, сами нанимали аргентариев и таким образом поддерживали их деятельность. То, что Аттик предпринял бы, во что бы то ни стало, для такого друга, как Цицерон, любые усилия по изысканию денег, мы хорошо знаем из многих писем Цицерона, написанных, когда ему не терпелось любой ценой купить участок земли, на котором можно было бы воздвигнуть святилище своей любимой дочери [133]; и мы можем быть почти уверены, что Аттик не смог бы сделать всего того, на чем настойчиво настаивал Цицерон, если бы у него в подчинении не было ряда полезных профессиональных агентов. Из этих же писем мы также узнаем, что поиск денег ни в коем случае не обязательно означал поиск монет; в обществе, где каждый давал займы, и, вероятно, делал и то, и другое одновременно, то, что действительно проходило, было в основном ценными бумагами, закладными, долгами и так далее. Если вы хотели передать более ста тысяч долларов или около того кредитору, то вашему агенту чаще всего приходилось убеждать этого кредитора принять в качестве оплаты долги, причитающиеся вам от других, то есть вы передавали ему, если он их принимал, облигации или другие ценные бумаги, предоставленные вам вашими собственными должниками.[134]

Таким образом, ясно, что ростовщики вели огромный бизнес даже в одном Риме, и каким бы рискованным он ни был, несомненно, он часто должен был приносить прибыль. И люди брали займы не только в Риме, но и по всей Империи. По причинам, для объяснения которых потребовался бы экономический трактат, частные лица, города и даже короли испытывали нехватку денег; это было необходимо для покрытия возросшей стоимости жизни и постоянно повышающегося уровня жизни среди образованных; [135] это было необходимо городам Греции и Востока для возмещения ущерба, нанесенного войнами последних трехсот лет; это было необходимо беднейшим провинциалам для уплаты налогов, которых ни пабликаны, ни римское правительство не могли позволить себе ждать; и это было необходимо королям, оказавшимся в тени Римской империи, чтобы продолжить свое собственное правление, или удовлетворить требования губернатора соседней провинции, или подкупить правящих людей в Риме, чтобы добиться принятия какого-нибудь указа в их пользу. Цицерон в конце своей жизни, оглядываясь на свое собственное консульство в 63 году, говорит, что никогда, насколько он помнит, весь мир не был в таком состоянии задолженности, [136] и в известном отрывке из своей второй катилинарианской речи он нарисовал картину различных классов должников в Риме и Италии того времени (*Kat. ii. § 18 foll.*). Он рассказывает нам о тех, кто богат, но все же не хочет платить свои долги; о тех, кто в долгах и надеется на революцию, чтобы освободить их; о ветеранах сулланской армии, обосновавшихся в колониях, таких как Фезула, которые влезли в долги, чтобы жить роскошной жизнью; о старых должниках города, все глубже и глубже увязающих в трясине, которые присоединились к заговору в качестве последнего отчаянного предприятия. На самом деле в тот знаменитый год происходило настоящее социальное брожение, вызванное экономическими потрясениями самого серьезного рода; зародыши болезни восходят к Ганнибаловой войне и ее последствиям для Италии, но все симптомы постоянно усугублялись халатностью и невежеством правительства и достигли апогея в результате социальных и гражданских войн 90-82 годов до н.э. В 63 году государство избежало экономической катастрофы благодаря бдительности Цицерона и союзу респектабельных классов под его руководством. В 49 году и снова в 48 году он избежал

подобной катастрофы благодаря здравому смыслу Цезаря и его агентов, которым удалось лавировать между Сциллой и Харибдой, спасая должников, не разоряя кредиторов.[137]

Более поздние авторы, такие как Плутарх, приводят замечательные цифры долгов и займов великих людей того времени, и они могут создать у нас общее впечатление о финансовой безрассудности частных лиц. Но единственная достоверная информация, дошедшая до нас, - это то, что Цицерон время от времени роняет в своей переписке о своих собственных делах, [138] и даже это требует большого объяснения, которое мы не в состоянии применить к нему. Несомненно лишь то, что у Цицерона никогда не было более чем очень умеренного дохода, на который он мог бы положиться, и что временами ему не хватало денег, особенно, конечно, после его изгнания и конфискации его имущества; и что, с другой стороны, у него никогда не возникало никаких трудностей с получением необходимых ему сумм, и он никогда не проявлял ни малейшего беспокойства о своих финансах. Его профессия адвоката приносила ему доход лишь косвенно, в виде случайного наследства или подарка, поскольку гонорары были запрещены законом Цинции; его книги вряд ли могли бы окупить его, по крайней мере, в денежной форме; его унаследованное имущество было небольшим, а его итальянские виллы не были прибыльными фермами, и не было практики сдавать такие загородные дома, как мы делаем сейчас, когда не занимаем их; он отказался от правительства провинции, обычного источника богатства, и когда, наконец, был вынужден взяться за него, понял, что тогда это была ничтожная сумма — около 17 500 фунтов стерлингов, и все это, хотя мы и занимаем их сейчас, было не в обычае. находился на хранении в Эфесе, был захвачен помпеянами во время гражданской войны.[139] Тем не менее, даже в раннем возрасте он мог позволить себе необходимые расходы для избрания в последующие магистратуры и мог жить в стиле, требуемом от важного государственного деятеля. Сразу после своего консульства он заплатил 28 000 фунтов стерлингов за дом Красса на Палатине, и именно здесь мы впервые узнаем, как он управлял подобными финансовыми операциями. Вот его собственные слова из письма другу от декабря 62 года до н.э.: [140] "Я купил дом за 3500 сестерциев ... так что теперь вы можете считать меня настолько погрязшим в долгах, что готов присоединиться к заговору, если кто-нибудь меня признает! ... Денег в избытке - 6 процентов, и успех моих мер (в консульстве) позволил мне считаться надежным гарантом".

Простой факт заключался в том, что бизнесмены и крупные капиталисты всегда считали Цицерона надежным человеком, которому можно давать деньги в займы; отчасти потому, что он был честным человеком — *vir bonus*, который никогда бы не подумал об отказе от ответственности или банкротстве; отчасти потому, что он знал каждого и имел сотню богатых друзей, помимо текущего кредитора, и среди них, самого верного из всех, благоразумного и неутомимого Аттика. Несомненно, тогда именно занимая деньги и регулярно выплачивая проценты по займам, он собирал деньги всякий раз, когда ему этого хотелось. Возможно, он иногда зарабатывал деньги в компаниях сборщиков налогов; мы видели, что у него, вероятно, были доли в некоторых из их предприятий. Но в его письмах нет четких свидетельств этого источника богатства[141], зато есть множество свидетельств заимствования. После своего возвращения из ссылки, хотя сенат предоставил ему довольно скудную компенсацию за потерю имущества, он сразу же начал брать займы и строить: "Я строю в трех местах, - пишет он своему брату, [142] - и латаю другие свои дома. Я живу несколько более роскошно, чем раньше; я обязан так поступать". И здесь мы снова знаем, у кого он брал займы, — это был тот же самый брат, у которого, конечно, было не больше определенного дохода, чем у него самого, возможно, меньше. Но он был губернатором Азии в течение трех лет (61-58 гг. до н.э.) и, должно быть,

заработал большие суммы даже в этой истощенной провинции; и в этот момент он был легатом Помпея в качестве специального уполномоченного по организации поставок зерна и, таким образом, находился в непосредственном контакте с одним из крупнейших миллионеров того времени. Чтобы расплатиться с братом, все, что Маркусу нужно было сделать, это занять у других друзей. "Что касается денег, то я инвалид. Но за щедрость моего брата я отплатил, несмотря на его протесты, помощью моих друзей, чтобы я сам не был истощен досуха" (*ad Att. iv. 3*). Два года спустя неосторожный читатель мог бы испытать некоторое удивление, обнаружив, что сам Квинт теперь был по уши в долгах;[143] но по мере того, как он продолжит читать переписку, его удивление исчезнет. Имея перед собой перспективу длительного пребывания в Галлии с Цезарем, Квинт, несомненно, мог занять сколько угодно; и фактически с помощью Цезаря — доходов от галльских войн — оба брата оказались в достатке. Гражданская война и выплата долгов Цезарю почти разорили Марка к концу его жизни, но ничто не помешало ему найти деньги на любой предмет, на который он положил свое сердце; когда в своем горе от потери дочери он хочет купить пригородные сады, где усыпальница в ее память может (как ни странно) привлечь общественное внимание, он говорит Аттику купить все необходимое *любой ценой*. "Ведите бизнес по—своему; думайте не о том, чего требует мой кошелек — об этом меня ничего не волнует, - а о том, чего я хочу".[144]

Учитывая финансовый метод Цицерона и его брата, мы не можем удивляться, обнаружив, что молодое поколение семьи верно пошло по стопам своих старших. Мы видели, что молодой Марк получал большое содержание в Афинах, и в целом он, кажется, неплохо справлялся с ним, несмотря на некоторые неприятности; но его двоюродный брат Квинт-младший, приехав навестить своего дядю в декабре 45 года, принял мрачный вид, а когда его спросили, что это значит, сказал, что отправляется с Цезарем на парфянскую войну, чтобы избежать своих кредиторов и, предположительно, заработать денег, чтобы расплатиться с ними.[145] У него не было денег даже на дорогу. Его дядя ничего ему не предлагал, но, похоже, он не очень серьезно отнесся к смущению молодого человека.

Еще один пример финансовых операций бизнесменов этой выдающейся эпохи, и мы завершим эту главу. Эта история, к счастью, сохранилась в речи Цицерона в защиту некоего Рабирия Постума в 54 году, который был обвинен в соответствии с законом Цезаря *de pecuniis repetundis* (вымогательство в провинциях). Это замечательное откровение всех наиболее ярких методов зарабатывания и использования денег за последние годы существования Республики.

Отец этого Рабирия, говорит Цицерон, был выдающимся членом ордена всадников и "*fortissimus et maximus publicanus*"; не жадный до денег, но очень щедрый по отношению к своим друзьям - другими словами, он не был скрягой, поскольку такой характер был редкостью в наше время, но свободно ссужал свои деньги, чтобы приобрести влияние и уважение. Сын занялся тем же направлением бизнеса и занимался широким спектром финансовых операций. Он имел дело в основном с акциями налоговых компаний; он ссужал деньги городам в нескольких провинциях; он ссужал деньги Птолемею Авлету, царю Египта, как до того, как тот был изгнан из своего царства из-за мятежа, так и впоследствии, когда он был в Риме в 59 и 58 годах, интригуя, чтобы побудить сенат восстановить его в должности. Рабирий никогда не сомневался, что он будет восстановлен таким образом, и, похоже, не видел вероятности того, что такая политика будет оспариваться или из-за нее будут ссориться, как это фактически произошло зимой 57-56 годов. Он давал займы и убедил своих друзей давать займы: [146] он представлял дело короля как хорошее вложение денег; а затем, подобно сегодняшнему агенту

по инвестированию, который так легко переходит от беспечности к преступлению, ему приходилось давать займы все больше и больше, потому что он боялся, что если он остановится, король может отвернуться от него.

Он поставил все свое состояние на отчаянное предприятие. Но время шло, а Птолемей не был восстановлен, и без доходов своего царства он, конечно, не мог расплатиться со своими кредиторами. Наконец, в конце 56 года Габиний, тогдашний губернатор Сирии, подвергся давлению со стороны кредиторов — среди которых, возможно, были и Цезарь, и Помпей — с тем, чтобы заставить его отправиться в Египет без разрешения сената. Он взял Рабирию с собой, и, чтобы обеспечить выплату долга, последний был назначен управляющим египетскими доходами (*dioikaetaes*)[147]. К несчастью для него, его коварный должник в конце концов обернулся против него, и он с трудом бежал из Египта, потеряв все свое богатство. Когда Габиний был обвинен *de repetundis* и признан виновным в получении огромных сумм от Птолемея, Рабрий был привлечен к тому же уголовному преследованию, что и за получение части денег; Цицерон защищал его, и, как представляется, успешно, на том основании, что *equites* не подлежали судебному преследованию в соответствии с законом Юлии. Ближе к концу своей речи он нарисовал остроумную картину несчастий своего незадачливого клиента и заявил, что ему пришлось бы покинуть Форум, то есть с позором покинуть Фондовую биржу, если бы Цезарь не пришел ему на помощь, предоставив в его распоряжение крупные суммы.

То, что сделал Рабриус, было просто игрой в гигантских масштабах и побуждением других играть вместе с ним. Удача отвернулась от него, и он потерпел полное фиаско. По-видимому, среди богатых и влиятельных людей действительно существовала настоящая страсть к таким диким способам обращения с деньгами; это была прихоть времени, и в этом не было ничего постыдного, если человек мог избежать разорения. Таким образом, накопленный огромный капитал, источники которого почти полностью находились в провинциях и приграничных королевствах, почти никогда не использовался продуктивно. Он никогда не возвращался в регион, откуда пришел, чтобы быть использованным для разработки его ресурсов; идея использовать его даже в Италии для промышленных предприятий отсутствовала в голове игрока. Те бесчисленные виллы, о которых мы поговорим в другой главе, были домами роскоши и великолепия, а не центрами сельскохозяйственной промышленности. Действительно, есть некоторые признаки того, что именно в этом поколении начиналось возрождение итальянского сельского хозяйства, и особенно выращивания олив и виноградной лозы; Варрон, примерно двадцать лет спустя, мог утверждать, что Италия была самой культивируемой страной в мире.[148] Возможно, шумиха "форума *insanum*" и его дикие спекуляции помешали нам услышать о тихих усилиях в стране по законному продуктивному использованию капитала. Но сердцем общественной жизни города был Форум, и о каком-либо разумном или научном использовании капитала Форум почти ничего не знал.

Из двух описанных нами классов бизнесменов, собирателей налогов и ростовщиков, трудно сказать, который причинил Империи больше вреда; они играли на руку друг другу, выжимая деньги из беспомощных провинциалов. Вместе они также нанесли неисчислимый вред, моральный и социальный, высшим слоям римского общества у себя дома. Экономические болезни отражаются на умственном и моральном состоянии государства. Там, где идея зарабатывания денег ради них самих или просто ради удовольствия, получаемого от возбуждения, имеет первостепенное значение в умах столь значительной части общества, моральное восприятие быстро искажается. Чувство справедливости исчезает, потому что, когда

человека охватывает лихорадка, он не останавливается, чтобы спросить, не добыты ли его доходы нечестным путем; а в этот век единственным ограничением на грабеж подданных Империи было юридическое, да и то не слишком эффективное. В изысканной поэзии Катулла есть много отталкивающих моментов, но ни один из них не воздействует на современный ум так остро, как его яростные нападки на правителя провинции, в свите которого он отправился в Вифинию в надежде обогатиться, и при справедливом правлении которого ему это не удалось. Утрачивается также чувство долга, вытекающее из обладания богатством, — чувство, что оно должно приносить какое-то благо в мире или, по крайней мере, частично использоваться для какой-то полезной цели. Наконец, захватывающая погоня за богатством способствует возникновению любопытного беспокойства и нестабильности характера, чему мы имеем множество примеров в изучаемую нами эпоху. "Непостоянный, как вода, ты не преуспеешь" — вот слова, которые можно было бы применить ко многим молодым людям из числа знакомых Цицерона, а также ко многим женщинам.

Никакая внезапная операция не могла вылечить эти пороки — они нуждались в тщательном и постепенном лечении мудрым врачом. Как и во многих других отношениях, здесь Август проявил свой удивительный инстинкт социального реформатора. Первым требованием была эпоха относительного мира — здоровая атмосфера, в которой пациент мог восстановить свой естественный тонус. Следующим по важности было устранение подстрекательства к обогащению и незаконному или убыточному расходованию средств, а также возрождение чувства долга по отношению к государству и его правителям. Губернаторы провинций стали более ответственными, а научная перепись населения выявила фактическую платежеспособность жителей провинций; сбор налогов стал более тщательно контролироваться и постепенно исчез. Достаточно верно, что даже при Империи были нажиты и проиграны огромные состояния, но дух азартных игр, дикое безрассудство в денежных делах больше не встречаются. Римский форум перестал быть безумным, и Италия снова стала домом для счастливой и полезной сельской жизни. Страстное и безрассудное самосознание Катулла сменяется в следующем поколении спокойной, сладостной надеждой Вергилия; переходя от одного поэта к другому, мы чувствуем, что оставляем позади эпоху чрезмерно чувствительных поисков себя и вступаем в эпоху, в которой долг и честь, труд на земле и тяжелая работа на благо государства могут рассматриваться как вещи, более достойные того, чтобы жить, чем весь накопленный капитал какого-нибудь Красса.

ГЛАВА IV

ПРАВЯЩАЯ АРИСТОКРАТИЯ

Выше деловых людей высшего ранга по социальному положению, хотя и не обязательно по богатству, во времена Цицерона стояла аристократия, которую римлянину того времени, возможно, было бы немного трудно объяснить или определить иностранцу. К счастью, все иностранцы, приезжающие в Рим, знали, что подразумевается под сенатом, великим советом, который принимал послов от всех народов за пределами Империи; и незнакомцу можно было бы прежде всего сказать, что все члены этого августейшего собрания вместе со своими семьями считались стоящими выше сословия всадников и составляли основную часть собственно аристократии. Но если бы информатор случайно был консервативным римлянином из древнего рода, он мог бы продолжить уточнять это определение. "Сейчас в сенате, — мог бы сказать он, — много людей, которые находятся там только потому, что занимали должность

квестора, которую Сулла сделал необходимым условием для получения места, и есть много всадников, которых Сулла сделал сенаторами путем голосования народа; таких людей, даже самого великого оратора Цицерона, я не считаю настоящими представителями знати, потому что они не принадлежат к старинным семьям, которые в прошлом сослужили государству хорошую службу. В их домах нет изображений их предков; они происходят из муниципальных городов или из какой-нибудь небогатой семьи в городе; возможно, они возвысились благодаря своим талантам, возможно, только благодаря своим деньгам, но у них нет гарантии древности, их имен нет в наших летописях. Все мы, истинные консервативные римляне (а римлянин вряд ли является римлянином, если не консерватором), глубоко верим, что человека, чья семья когда-то пользовалась высоким общественным почетом и хорошо служила обществу, будет безопаснее избрать магистратом, чем того, чья семья неизвестна и неподследственна - вера, которая, несомненно, основана на истине человеческой природы. Я бы посчитал человека, который сам не состоит в сенате из-за отсутствия богатства или склонностей, но чья семья хранит свои образы и традиции великих предков, гораздо более истинным "оптиматом", чем большинство этих новых людей. К счастью, наши самые знаменитые семьи, чьи имена известны по всей Империи, все еще представлены в сенате и действительно образуют там могущественный орган, способный до последнего противостоять угрожающим нам революционным опасностям. Народ по-прежнему избирает в магистратуры Эмилиев, Лутаций, Клавдиев, Корнелиев, Юлиев и многие другие семьи, которые были известны в нашей истории, и, я надеюсь, будут продолжать избирать их до тех пор, пока существует наша Республика".[149]

В этих великолепных именах действительно было очарование, как и в титулах наших древних дворянских родов; можно сказать, что их обладатели почти по праву претендовали на высокий пост, подобно семьям вигов Времен Революции, в течение столетия после их триумфа. Хотя в этой главе мы можем использовать это слово в более широком смысле, эти великие старинные семьи были истинной аристократией и внушали именно то уважение в умах людей вне их круга, которое все еще так знакомо нам в Англии. Цицерон был для таких людей "посторонним", *новым человеком*; и внимательный читатель писем Цицерона, если он следит (как и следовало бы) за постоянно меняющимся настроением Цицерона, когда он обращается к различным корреспондентам, не может не заметить, каким сравнительно неловким и высокопарным он часто бывает, когда пишет кому-то из этих великих вельмож, с которыми он никогда не был по-настоящему близок; и как легко скользит его перо, когда он позволяет себе разговаривать с Аттиком, или Поэтом, или М. Мариусом, людьми, которые никогда не были по-настоящему близки. находились за чертой дворянства. Это правда, что он иногда испытывал смущение по другим причинам, когда писал великим личностям, как, например, Лентулу Спинтеру, консулу 57 года, или Аппию Клавдию, консулу 53 года; но если бы они были людьми его круга, он никогда не испытывал бы этого смущения в такой степени. Когда он пишет таким людям, он редко или никогда не позволяет себе тех маленьких спортивных шуток или намеков, которые оживляют его более интимную переписку, и при этом он не говорит правду так строго, поскольку они не всегда могут захотеть ее услышать.

Вот пример, который даст некоторое представление о его манере письма аристократу: он поздравляет Л. Эмилия Павла, который обеспечил его избрание на консульский пост летом 51 года до н.э.:

"Хотя я никогда не сомневался, что римский народ, учитывая твои выдающиеся заслуги перед Республикой и *великолепное положение твоей семьи*, с энтузиазмом избрал бы тебя консулом

единогласным голосованием, все же я испытал крайнюю радость, когда эта новость дошла до меня; и я молюсь богам, чтобы твоя официальная карьера была удачной и чтобы управление тобой было достойно твоего собственного положения и *положения твоих предков....* И если бы в моей власти было оказаться дома, чтобы встретить тот желанный день, и оказать вам поддержку, которой заслуживали ваши благородные заслуги и доброта ко мне! Но поскольку неожиданный и непредвиденный случай, связанный с тем, что мне пришлось принять провинцию, лишил меня этой возможности, и все же, чтобы я мог видеть вас консулом, фактически управляющим государством способом, достойным вашего положения, я убедительно прошу вас позаботиться о том, чтобы со мной не обращались несправедливо или чтобы мне не добавляли дополнительное время к моему году пребывания в должности. Если ты сделаешь это, то щедро увенчаешь свои прежние добрые поступки по отношению ко мне".[150]

Этот Эмилий Павел, как Спинтер и многие другие, принадлежал к респектабельному, но несколько бесхарактерному типу аристократов; они составляли значительную и влиятельную часть сената, где были препятствием на пути реформ и административной эффективности. На самом деле они были пережитком старого типа римской знати, которая в свое время отлично выполняла свою работу; люди, в которых личность находилась в строгом подчинении государству, и чьи личные особенности и амбиции вызывали только подозрение. Но к концу республиканского периода индивидуум получил свободу действий; никогда в древней истории мы не встречаем такого количества разнообразных и интересных проявлений индивидуальности, даже среди самой знати. Это не просто результат обильной литературы, в которой дошли до нас их черты; это был факт эпохи, в которую идея государства отошла на задний план, и индивид не находил никаких ограничений в своих мыслях и почти никаких в своих действиях, никаких препятствий для развития своей способности творить добро или зло. Сулла, Катилина, Помпей, Катон, Клодий, Цезарь - все они имеют свои характерные черты, знакомые всем, кто читал историю римской революции. Цезарь - самый замечательный пример сильного характера среди людей высокого аристократического происхождения, и интересно отметить, насколько полностью он был лишен той исключительной склонности, которая ассоциируется у нас с аристократами. Он был близок с людьми всех рангов; его ближайшими друзьями, по-видимому, были благородные люди. В то время как высшие аристократы, как правило, свысока смотрели на Цицерона, нового человека, и в течение нескольких лет положительно ненавидели его [151], Цезарь, хотя и отличался от него *tototo coelo* в политике, всегда был в приятных отношениях при личном общении с ним; у него были обаяние манер, литературный вкус и неподдельное восхищение гением, перед которым неизменно не мог устоять чувствительный "новый человек". С Помпеем, хотя Цицерон доверял ему политически так, как никогда не доверял Цезарю, он никогда не был так близок. У них не было общих интересов; Цицерон мог посмеиваться над Помпеем за его спиной, но вряд ли хоть раз в своей переписке он пытается пошутить над Цезарем.

Таким образом, в правящей или сенаторской аристократии мы находим людей с самым разным характером, от старомодных нобилей, замкнутых в обществе и чинящих препятствия в политике, до людей индивидуального гения и литературных способностей, будь то голубых кровей, как Цезарь, или, как Цицерон, отпрысков муниципальной семьи, которая никогда не добивалась политических отличий и не стремилась к ним. Но для целей этой главы мы можем различить и обсудить два основных типа характера этой аристократии: во-первых, тот, над которым новогреческая культура поработала с пользой, не уничтожив лучшие римские качества, но по-новому применив их; во-вторых, тот, над которым та же культура поработала во вред,

воспользовавшись слабыми местами римской брони, подорвав истинно римские качества, не заменив их никакими другими достоинствами. Мы вкратце проследим развитие этих двух типов и возьмем в качестве примера каждого из близких друзей Цицерона, но не из известных личностей, знакомых каждому, а из выдающихся и интересных людей, о которых обычный студент знает сравнительно мало.

Со времен Ганнибалической войны и, вероятно, даже до нее римская знать ощутила силу греческой культуры; они начали думать, узнавать о народах, которые отличались от них самих привычками и манерами, и продвигаться, по крайней мере, лучшим из них, в мудрости и знаниях; и это верно, несмотря на тот неоспоримый факт, что именно в эту же эпоху были посеяны семена морального и политического вырождения. У нас будет масса возможностей отметить последствия этого вырождения в последнюю эпоху Республики, но приятно на мгновение остановиться на том более благотворном греческом влиянии, которое привлекло лучшие умы римской знати в новую область культуры, стимулируя мысль и укрепляя принципы поведения.

Даже сам старый Катон, самый жесткий из римских консерваторов, не остался равнодушным к этому влиянию[152], и именно ему Рим был обязан введением Энния, величайшего литературного деятеля того времени, в римское общество[153]. Но первый подлинный пример новой культуры, эллинского энтузиазма того времени можно найти в лице Эмилия Павла, завоевателя Македонии, истинного римского аристократа, который был рад учиться у греков. Жизнь этого человека, написанная Плутархом, является ценным свидетельством тенденций того времени. После того, как ему не удалось получить второе консульство, Плутарх сообщает нам[154], что он удалился в частную жизнь, посвятив себя религиозным обязанностям и воспитанию своих детей, обучая их старым римским привычкам, которым он сам был обучен, но также и греческой культуре, и это с еще большим энтузиазмом. При нем были греческие учителя не только грамматики, риторики и философии, но и изящных искусств и даже занятий на свежем воздухе, таких как охота (к которой римляне не испытывали особого пристрастия), а также ухода за лошадьми и собаками; и он взял за правило сам присутствовать при всех их физических и умственных упражнениях. Результат этого полезного ксенофоновского образования виден в его сыне, великом Сципионе Эмилиане, который был принят в семью Сципионов при жизни своего отца. Какого бы мнения мы ни придерживались о поведении этого великого человека на войне и в политике, вряд ли можно сомневаться в том, что сами римляне были правы, бережно храня его память как одного из лучших представителей своей расы. Когда мы сопоставляем все факты его жизни, начиная с ранней юности, о которой его друг Полибий оставил нам прекраснейшую картину, [155] до его внезапной и, вероятно, насильственной смерти в расцвете сил, мы вынуждены поверить, что он действительно был человеком широких симпатий, сильного чувства справедливости, которое неуклонно вело его через хорошие отзывы и зло, совершенной чистоты жизни и ненависти ко всему низкому и порочному, будь то в богатых или бедных. Он не был, подобно своему отцу, римским аристократом, покровительствующим греческой культуре; [156] в нем мы видим совершенно естественное и зрелое сочетание самых благородных качеств римлянина и самых полезных качеств грека. "Это была пробуждающая истина, - говорит крупный авторитет, - в умах римлян, таких как Сципион, что интеллектуальная культура должна строиться на фундаменте моральной прямоты: и такой фундамент они могли найти в хранилище своих собственных домашних традиций"[157]. Когда Цицерон, считавший его величайшим из римлян, написал свой "диалог о государстве" (*о Республике*), проникнутый новой идеей морального и политического

превосходства одного человека, он сделал Сципиона героем и единственной восходящей фигурой в своем произведении и закончил его имитацией платоновского "мифа" в форме "сна Сципиона".

Сципион собрал вокруг себя круг способных и культурных людей, как римлян, так и греков, включая почти всех живущих способных римлян, а среди греков историка Полибия и философа Панэция, о которых нам предстоит узнать больше в ходе написания этой книги. В этом кругу лучшие и способнейшие люди ранних дней Цицерона были умственно детьми, и его собственные взгляды как на литературу, так и на политику в значительной степени формировались на основе сципионовской традиции. Действительно, чтобы понять ментальное и моральное оснащение римского разума в эпоху Цицерона, абсолютно необходимо изучить то поколение, которое сделало этот разум таким, каким он был; но здесь можно найти место только для того, чтобы указать, как просвещение сципионовского круга открыло новые пути в манерах, литературе, философской восприимчивости и, наконец, в изучении права, которому было суждено стать величайшим вкладом Рима в цивилизацию.

Манеры, поведение индивида в социальном общении, являются ценным показателем, если не полностью определяющим, умственного и морального тона общества в любую эпоху. Непринужденность и вежливость поведения означают, как правило, что чувство притязаний другого человека всегда присутствует в сознании. Каковы бы ни были недостатки последней эпохи Республики, мы должны отдать должное тому факту, что в своем внешнем поведении по отношению друг к другу образованные люди той эпохи почти неизменно демонстрируют хорошее воспитание. Достаточно верно, что публичная брань в сенате или судах была повседневным явлением, и количество жестоких личных оскорблений, которые такой джентльмен, как Цицерон, мог обрушить на того, кого он какое-то время ненавидел или кто причинил ему какое-то зло, превосходит всякое представление.[158] Но история этой брани любопытна; это был традиционный метод враждебного красноречия, происходящий от древнеримских корней, тенденции к диффамации и сатире, которая сама по себе может быть частично объяснена итальянским обычаем оскорблять общественных деятелей (например, при его триумфе), чтобы отвратить от него зло.[159] Подчеркивать личное уродство человека, клеветать на его предков в самых гнусных выражениях — это было немногим больше, чем традиционная практика, ораторские приемы, которые поощряло риторическое образование того времени и которые никто не воспринимал всерьез.[160] Но в этой главе нас интересует главным образом частная жизнь; и там мы находим почти всеобщее внимание и вежливость. Во всей переписке Цицерона едва ли найдется письмо, которое не свидетельствовало бы о хорошем воспитании, и есть много писем, которые являются естественным результатом настоящей доброты и истинной симпатии.

Хороший пример лучших римских манер можно найти в "Жизни Гая Гракха" Плутарха, младшего современника Сципиона, который женился на его сестре. Плутарх рисует его портрет настолько живо, что по общему согласию его приписывают воспоминаниям кого-то, кто его знал. "Во всех своих отношениях с людьми, - говорит биограф, - он всегда был полон достоинства и в то же время всегда вежлив"; то есть, хотя он внушал уважение, люди также чувствовали, что он сделает для них все, что в его силах. То, что это было сказано о нем римлянином, а не выдуманно для него Плутархом, кажется вероятным, потому что сочетание является сугубо римским; так,

Ливий, когда он хочет описать наилучший тип римского характера, говорит, что некий человек был "haud minus libertatis alienae quam suae dignitatis memor".[161] Это же сочетание встречается нам также в небольших картинах социальной жизни культурных людей, которые Цицерон оставил нам в некоторых своих диалогах. Там ораторами обычно являются представители знати, часто выдающиеся члены сенаторских семей, как в *Ораторе*, где главными *персонами* являются Красс, Антоний и Сцевола, консервативный триумвират того времени. Все они кажутся серьезными или, но редко, слегка шутливыми, уважительными друг к другу и, возможно, немного занудливыми; они никогда не ссорятся, какими бы глубокими ни были их разногласия, и мы можем предположить, что они недостаточно твердо придерживались своего мнения, чтобы подтолкнуть их к открытому разрыву. Кажется, мы видим те же самые серьезные лица с коротковатыми носами и большими ртами, которые встречаются нам в скульптурах Августа "Ара Пацис"[162] — полные достоинства, но немного лишенные одушевления.

В хороших манерах того времени было одно странное исключение; но, как результат скорее притворства, чем природы, оно может помочь подтвердить наше правило. Снова и снова в *Жизни* Катона младшего Плутарха упоминание о его грубости доказывает силу предания о нем. Говорили, что это лишило его консульства, поскольку он отказался вести себя любезно в стиле, ожидаемом от кандидатов[163]. Даже в письме к Цицерону, старому другу, хотя на самом деле он и не груб, он нелепо покровительственен и дерзок по отношению к человеку, который на много лет его старше, и пишет в очень дурном вкусе. Вероятно, вражда между ним и Цезарем возникла или была подтверждена таким образом, поскольку Катон всегда старался быть максимально грубым с теми, кого он больше всего не любил. Он воображал, что подражает своему великому предку и отстаивает достоинство старой доброй римской прямоты в противовес современной греческой жеманности; он ни в малейшей степени не видел, что сам был любопытным примером римской жеманности, проявляющимся в реальных удобствах общения, за которые римляне должны были в значительной степени благодарить Грецию [164].

И в литературе средний уровень этой аристократии был высок, хотя величайшие литературные деятели того времени, если не считать Цезаря, строго говоря, к ней не принадлежали; Цицерон был *novus homo*, а Лукреций и Катулл не принадлежали к сенаторскому сословию. Но новое образование, как мы увидим позже, было прекрасно рассчитано на то, чтобы обучать людей искусству говорить и писать, если не привычке к независимому мышлению; и среди знати, которая в полной мере пожинала плоды этого образования, каждый мог писать по-латыни и, вероятно, также по-гречески, и, если он стремился к общественному отличию, мог выступать, не опозорив себя в сенате и судах. Ораторское искусство было, по сути, основным продуктом эпохи и главным *смыслом существования* ее литературной деятельности. Давным-давно началась практика написания успешных речей, произносимых в сенате, в судах или на похоронах; средства публикации были легкими из-за количества греческих рабов, которые могли выполнять функции переписчиков, и, таким образом, ораторское искусство легло в основу прозаической литературы, которая по сути является римской, [165] основанной на практических потребностях жизни римского дворянина, хотя и глубоко окрашенной греческими идеями и формами выражения, приобретенными в процессе модного образования. Трактаты по риторике, искусству эффективного выражения в прозе, составляют важную ее часть; два из них до сих пор сохранились со времен Суллы — "*Риторика до нашего времени*" неизвестного автора и ранний трактат Цицерона "*Об изобретении*". Позже Цицерон написал свой замечательный диалог "*Об ораторе*" и другие работы на ту же тему, заканчивая своим

"Брутом", бесценным для нас разумным списком всех великих римских ораторов вплоть до его времени.

В написании истории этот стандарт был не столь высок. Риторическое образование делало людей хорошими профессиональными ораторами, но равнодушными и дилетантскими историками, и примеру более точного исторического исследования и размышлений, поданному Полибием, не последовали, за исключением, возможно, Целия Антипатра в эпоху Гракхов.[166] Искусство риторики повлияло на историю в худшую сторону, как, впрочем, и суждено было случиться поэзии; Саллюстий, хотя мы многим ему обязаны, на самом деле был дилетантом, который больше заботился о стиле и выразительности, чем об истине и фактах. Цезарь, который не называл себя историком, а только предоставлял материалы для истории, [167] одинок в том, что делает факты важнее слов, и редко беспокоит своего читателя речами или другими риторическими излишествами.[168] Биографии и автобиографии были в моде; из первых до нас дошли только работы Корнелия Непота, одного из многочисленных друзей Цицерона, и ни одного из последних, но мы знаем длинный список выдающихся людей, написавших собственные мемуары, включая Катутула старшего, Рутилия знаменитая жертва судей-конников Суллы и Лукулла. Но намного выше всех других прозаиков того времени стоят два человека, ни один из которых не римлянин по происхождению, но все же члены сенаторского сословия; один - человек энциклопедической образованности, с тем, что мы можем почти назвать научным интересом к предметам, которые он излагал на неуклюжей и невзрачной латыни, другой - человек сравнительно малообразованный, но одаренный таким тонким чувством прекрасного в выражении и в то же время человечностью, настолько реальной и в те дни столь редкой, что не без оснований его недавно называли самым высококультурным человеком всей древности. .[169] К несчастью, от многочисленных сочинений Варрона у нас сохранилось лишь немного; от сочинений Цицерона мы все еще располагаем такой массой, которая навсегда предоставит достаточный материал для изучения жизни, нравов, мышления его времени.

Большая часть этого материала состоит из переписки, которую мы так часто используем в этих главах. Написание писем, пожалуй, было самым приятным и искренним из всех литературных занятий того времени; люди старались писать хорошо, но без какой-либо определенной перспективы публикации, как это было мотивом столетием позже, во времена Сенеки и Плиния. Девятьсот с лишним писем из собрания Цицерона - большинство из них не просто сообщения и даже не риторические упражнения, а настоящие письма, общение близких друзей на расстоянии, в которых часто можно разглядеть их сокровенные мысли. Цицерон действительно склонен переходить к риторике даже в своих письмах, когда волнуется по поводу политики; но самые восхитительные письма в сборнике - это те, в которых он счастливым и естественным языком пишет своим друзьям о своей повседневной жизни и занятиях, своих книгах, своих виллах, своих детях, своих радостях и печалях. Странно, что великий историк Рима нашего времени совершенно не сумел разглядеть очарования и ценности этих писем, как и всех сочинений Цицерона; его соотечественники теперь согласились не соглашаться с ним и вернуть великому писателю его истинное положение.

В философской восприимчивости также самые яркие и утонченные умы среди этой аристократии демонстрируют способности, которые почти удивительны, если учесть, что до второго века до нашей эры в Риме не было образования, достойного этого названия[170]. Я использую слово "восприимчивость", потому что римляне нашего периода так и не научились по-настоящему думать самостоятельно; они никогда не сталкивались с проблемой и не

вырабатывали нового направления мышления. Но, насколько мы можем судить по философским трудам Цицерона, единственным дошедшим до нас работам его эпохи, способность читать с пониманием и воспроизводить с мастерством, несомненно, была высокого порядка. Возможностей для учебы было предостаточно; частные библиотеки были многочисленны, и все друзья Цицерона, собиравшие книги, были рады позволить ему ими воспользоваться.[171] Греческие философы часто воспитывались в богатых семьях и могли беседовать с государственным деятелем, когда у него было свободное время от государственных дел. Многое из этого было не более чем модой, и настоящие усилия и серьезность были редкостью; но факт остается фактом: одна философская система, особенно в ее этической стороне, действительно овладела лучшим типом римского ума и оказала на него постоянное и спасительное влияние.

Стоицизм был принесен в Рим Панэтием Родосским, близким другом Сципиона, мягким и тактичным греком, чье родосское происхождение, возможно, давало ему некоторое преимущество в общении со старыми союзниками своего государства. Он прибыл в Рим в критический момент, когда даже лучшие люди погружались в чисто материальный эгоизм; и результаты его учения в течение двух столетий были настолько благотворными и вдохновляющими, что мы можем считать его почти миссионером. Почва для него была в некотором смысле подготовлена Полибием, который познакомил его со Сципионом и его окружением, а затем занялся написанием его истории. У Полибия римляне, по крайней мере лучшие из них, впервые научились осознавать свою собственную империю и те великие перемены, которые она произвела в мире; задумываться о том, что они сделали, и о качествах, которые позволили им это сделать. От Панэция они должны были научиться философскому учению, которое могло бы направлять и спасать их в будущем, которое могло бы служить балластом в общественной и частной жизни как раз тогда, когда корабль начинал дрейфовать в моральной беспомощности. Он был основателем школы практической мудрости, необычайно хорошо приспособленной к римскому характеру и интеллекту, которые всегда были скорее практическими, чем умозрительными; и гораздо лучше подходящей для обычной человеческой жизни, чем старая жесткая и аскетичная стоическая этика, единственным выдающимся римским последователем которой был младший Катон. Из того, что мы знаем об этическом учении Панэция, — а в первых двух книгах работы Цицерона "*de Officiis*" у нас есть довольно полное представление о нем, — мы не находим старой доктрины о том, что абсолютная мудрость и справедливость — единственные цели, к которым следует стремиться, а все остальное безразлично; доктрины, которая ставила старомодного стоика вне суда в общественной жизни. Относительный элемент, полезное, играло большую роль в учении Панэция. Хотя его система основана на высочайших принципах, к которым тогда могло апеллировать нравственное учение, она не исключала компромисса, без которого не может обойтись ни один практичный деловой человек, ни богатства и телесных удобств, обеспечивающих досуг для размышлений.[172]

Миссию Панэция продолжил другой родосский философ, знаменитый Посидоний, который прожил достаточно долго, чтобы знать самого Цицерона и многих его современников; человек, возможно, менее вдохновляющий, чем Панэций, но обладающий большими знаниями и достижениями; путешественник, географ и светский человек, чьи труды по многим темам, хотя и утраченные для нас, на самом деле лежат в основе значительной части римской литературной продукции его времени.[173] Он был учеником Панэтия; посланником с Родоса в Рим в ужасном 86 году; а позже обитателем римских семей и почитаемым другом Цицерона Помпея и Варрона.

Философия была лишь одним из многих занятий этого выдающегося человека, чье литературное и историческое влияние можно проследить почти в каждом ведущем римском авторе по крайней мере на протяжении столетия; но его философское значение было при его жизни, возможно, преобладающим. Поколение, знавшее его, было богато стоиками; например, Элиус Стило, мастер Варрона, "doctissimus eorum temporum", как называет его Геллий; [2] Рутилий, который только что упоминался как автор мемуаров; и среди других, вероятно, великий юрист Муций Сцевола. Катон, как мы видели, был последователем не римской школы стоицизма, а более старой и бескомпромиссной доктрины; но Цицерон, хотя никогда не называл себя стоиком, действительно находился под глубоким влиянием и к концу своей жизни был почти очарован вероучением, которое соответствовало его человечности и в то же время стимулировало его инстинкт праведности.[174] И, подобно Цицерону, многие другие люди с серьезным характером ощущали силу стоицизма почти бессознательно, не исповедуя его открыто.

Тогда стоицизм во многих отношениях был близок римскому духу, но в одном направлении он оказал вдохновляющее влияние, которое надолго осталось в мире. До времен Панэция и Сципионова круга римская идея права и его изучение носили ограниченный практический характер, им не хватало широты трактовки, они были лишены какой-либо философской концепции моральных принципов, которые лежат в основе любого закона и правительства. Стоическая доктрина об универсальном законе, правящем миром, — божественном законе, исходящем из универсального Разума, — кажется, пробудила жизнь в этих сухих костях. Римский стоик мог бы утверждать, что человеческий закон возникает тогда, когда человек осознает божественный закон и признает его притязания на него. Таким образом, мораль тождественна праву в самом широком смысле этого слова, поскольку и то, и другое в равной степени вызвано к существованию Правильным Разумом, который является универсальной первичной силой.[175] Здесь невозможно показать, как эта великая и возвышающая идея права могла повлиять на римскую юриспруденцию, но мы просто заметим, что первое квазифилософское толкование права встречается после эпохи Панетия и Сципионова круга; что фраза *ius gentium* затем начинает приобретать значение общих принципов или правил, общих для всех народов и основанных на "естественном разуме";[176] и что это постепенно привело к более поздней идее Естественного права и космополитизму римской правовой системы, которая стала охватывать все народы и степени в его рациональном и благотворном влиянии. Если грек был гением красоты, а еврей — праведности, то римлянин был гением закона; и силу стоицизма в облагораживании и обогащении его исконных представлений о нем, вероятно, нелегко переоценить.

Таким образом, за бурными кулисами общественной жизни в этот период происходит процесс, который будет иметь значение не только для Римской империи, но и для современной цивилизации. В особенности это касалось двух людей с высочайшим характером, К. Муция Сцевола, советника Цицерона в первые дни его жизни и часто его модели в дальнейшей жизни; и Сервия Сульпиция Руфа, его точного современника и друга на всю жизнь. Ни Сцевола, ни Сульпиций, насколько нам известно, не были приверженцами стоицизма; но то, что они, возможно, наполовину бессознательно применяли принципы стоицизма к своим собственным исследованиям в области права, почти несомненно. Сочетание юридического образования и стоического влияния (прямого или неосознанного), по-видимому, было способно довести римский аристократический характер до высшей степени совершенства; и будет приятно взять этого друга Цицерона, чью общественную карьеру мы можем ясно проследить и одно или два

письма которого у нас сохранились, в качестве примера действительно хорошо проведенной жизни в эпоху, когда временем и талантом постоянно злоупотребляли и растрачивали впустую.

Сульпиций и Цицерон родились в одном и том же 106 году; в юности они шли рука об руку и оставались друзьями до своей смерти в 43 году, причем Сульпиций умер на несколько месяцев раньше Цицерона. В ранней юности они оба были привязаны к только что упомянутому Сцеволе, первому из великого ряда ученых римских юристов. Но консульство Цицерона сильно разошлось в их жизнях. В тот год Сульпиций был кандидатом на пост консула и потерпел неудачу; а затем, отказавшись от дальнейших попыток добиться высшей почести, он на следующие двенадцать лет удалился в частную жизнь, посвятив себя работе, которая сделала его имя бессмертным. Его труды утрачены; от них ничего не осталось, кроме нескольких случайных фрагментов и аллюзий; но он считался вторым из великих авторов по правовым вопросам, и вполне вероятно, что он внес такой же вклад, как и любой из них, в работу по превращению римского права в то, чем оно было, как сила в мире, фактор современной цивилизации. Ибо он относился к этому, как сказал о нем его друг, [177] рукой и умом художника, излагая весь свой предмет и распределяя его на составные части, с помощью определения и интерпретации проясняя то, что казалось неясным, и отличая ложное от истинного в правовом принципе. В великолепном панегирике, произнесенном в его честь в сенате после его смерти [178], Цицерон снова решительно заявил, что ему нет равных в юриспруденции. Красивым, но непереводаемым языком он заявляет, что был "*non magis iuris consultus, quam iustitiae*" — похвала, которой могли бы позавидовать все великие юристы; он стремился скорее дать людям возможность избавиться от судебных разбирательств, чем побудить их участвовать в них.

Из этих отрывков мы могли бы предположить, даже если бы больше ничего о нем не знали, что Сульпиций был человеком из очень тонкой глины, настоящим *humanitas* в самом широком смысле этого выразительного слова; и это полностью подтверждается другими способами. [179] Выйдя наконец из отставки, он снова баллотировался на пост консула в 52 году до н.э. и был избран. 51-й год его правления был первым, когда враги Цезаря во главе с Катонам начали нападать на его позицию и требовать его отзыва с командования; эту яростную враждебность Сульпиций пытался, не без временного успеха, сдерживать, и тот факт, что человек столь справедливого склада ума занял такую позицию, является одним из лучших аргументов в пользу разумности дела Цезаря. [180] Когда началась война, он был сильно озадачен тем, как действовать; из-за широты взглядов ему было трудно принимать решения, и он, похоже, всегда был скорее студентом, чем человеком действия. С некоторым горем в сердце он присоединился к Цезарю в борьбе и принял от него управление Ахайей; именно в это время он написал знаменитое письмо-утешение Цицерону по поводу смерти своей любимой дочери Туллии, которое полно истинного чувства и доброты, хотя, очевидно, составлено с усилием, если не с трудом. После смерти Цезаря он, конечно, действовал вместе с Цицероном против Антония, и весной 43 года, всегда выступая за мир и добрую волю, он отдал свою жизнь за свою страну способом, который вызывает у нас большее восхищение, чем самоубийство Катона, профессионального стоика; он возглавлял посольство к Антонию, хотя в то время был опасно болен, и умер в этой последней попытке добиться того, чтобы голос справедливости был услышан. У него есть *monumentum aere perennius* в речи его старого друга, призывающего сенат назначить ему публичные похороны и установить статую как человеку, отдавшему свою жизнь за свою страну.

Теперь мы должны обратиться к рассмотрению того, как вредная сторона новогреческой культуры в сочетании с другими тенденциями того времени нашла свой путь в слабые места в броне римской аристократии.

Стремление к легкости и удовольствиям, которым достижение богатства и политической власти слишком часто было просто подчинено, является ведущей характеристикой того времени. Это проявляется во многих различных формах, во многих различных типах характера; но в корне всего развращения лежит дух более грубой стороны эпикурейства. Как в случае с римским стоицизмом, так и в случае с римским эпикурейством, на жизнь повлияло не столько провозглашение философских догматов; в случае с последней системой это было совпадение ее популярности с упадком старой римской веры и морали, а также с ненормальными возможностями потакания своим желаниям. Катон как убежденный стоик, Лукреций как восторженный эпикуреец стоят совершенно особняком от массы людей, которые так или иначе руководствовались этими философскими верованиями. Большинство просто играло с философией, следуя естественной склонности своего индивидуального характера; но такого дилетантства часто было вполне достаточно, чтобы навсегда повлиять на этот характер к добру или злу.

"Популяризированное эпикурейство неизбежно оборачивается пороком". Было ли оно действительно популярно в Риме? Цицерон сообщает нам в ценном отрывке [181], что некто Амафиний написал об этом и что было продано большое количество экземпляров его книги, отчасти потому, что аргументам было легко следовать, отчасти потому, что доктрина была приятной, а отчасти еще и потому, что людям не удалось раздобыть ничего лучшего. Дата этого Амафиния неизвестна, но вполне вероятно, что Цицерон здесь говорит о последней половине второго века до нашей эры; и далее он говорит, что другие авторы придерживались той же линии учения и распространили ее по всей Италии (*Italiam totam occupaverunt*). Если это было во времена социальных и гражданских войн, проскрипций, роста преступности и своекорыстия, мы можем хорошо понять, что эта доктрина была популярна. У нас есть замечательный пример этого из жизни общественного деятеля времен Цицерона, ставшего объектом самых язвительных оскорблений, которые он когда-либо произносил.[182] Мы не можем поверить и десятой доли того, что он говорит об этом человеке, Кальпурнии Пизоне, консуле 58 года; но в данном конкретном случае об ущербе, нанесенном ему эпикурейским учением, у нас есть независимые свидетельства, подтверждающие это. Пизон, тогда молодой человек, познакомился с греком, придерживавшимся этой школы мысли, узнал от него, что удовольствие - единственная цель жизни, и, не сумев оценить истинный смысл и значение этого учения, попал в ловушку. Цицерон говорит, что это было опасное учение для юноши, не отличавшегося выдающимся умом; и наставник, вместо того чтобы направлять юношу к добродетели, использовался им как авторитет в области порока.[183] Этим греком был некий Филодем, несколько стихотворений которого сохранились в *Греческой антологии*; и беглый взгляд на них сразу покажет, насколько опасным мог быть такой человек в качестве спутника римского юноши. Возможно, сам он не был плохим человеком — Цицерон скорее предполагает обратное, называя его *vere humanus*, — но воздух вокруг него был ядовитым. В его ученике, если мы можем хоть в малейшей степени доверять портрету, нарисованному о нем Цицероном, мы можем увидеть образец молодых людей того времени, чьи таланты могли бы принести им пользу в мире, если бы не сила течения, которое вовлекло их в потакание своим желаниям.

Не только стремление к удовольствию, но и его корреляты, избегание работы и долга, могут быть в изобилии проиллюстрированы в эту эпоху; и это тоже, возможно, имело тонкую связь с эпикурейским учением, которое всегда отговаривало человека от отвлечения внимания на службе государству, поскольку мешало свободному развитию его собственной добродетели. Сулла проделал много тяжелой работы, но допустил серьезную ошибку, уйдя на покой, чтобы развлечься как раз тогда, когда его новая конституционная машина нуждалась в самом тщательном наблюдении и уходе. Лукулл, продемонстрировав замечательную трудоспособность и большой военный гений, чем, возможно, любой человек его времени, удалился от общественной жизни миллионером и квиетистом, чтобы наслаждаться богатством, вошедшим в поговорку, и роскошью, которая поражает воображение, даже если мы сделаем должную поправку на преувеличение наших рассказов о ней. С его библиотекой мы уже познакомились; те, кто хотел бы увидеть его в его банкетном зале, или, скорее, в одном из многих в его дворце, могут обратиться к сороковой главе самого интересного его жизнеописания Плутарха и прочитать там историю об обеде, который он дал Цицерону и Помпею в столовой "Аполлона".[184]

Та же циничная беспечность в отношении общественных дел и пренебрежение долгом по сравнению с личной непринужденностью или выгодой, по-видимому, были характерны для рядового сенатора. Активный и занятый собственными интересами, он был безразличен к интересам государства. Есть явные признаки того, что посещаемость в сенате была невысокой. Когда Цицерон был в Киликии, его корреспондент пишет о трудностях собрать достаточное количество людей даже для такого важного дела, как урегулирование провинциальных органов управления.[185] С другой стороны, в малочисленном сенате велось много частных дел и выполнялось много работы; в 66 году трибун предложил, чтобы ни один сенатор не был освобожден от действия закона, если не присутствовало двести человек.[186] Мы можем быть уверены, что именно при таком слабом сенате добродетельный Брут был освобожден от действия закона, запрещавшего давать займы иностранным заемщикам в Риме, и, таким образом, получил возможность давать займы несчастным саламинянам Кипра под 48 процентов и возвращать свои деньги под залог.[187] В письме своему брату в декабре 57 года Цицерон говорит о делах, которые велись в сенате, переполненном для этого времени года, а это была середина зимы, как раз перед Сатурналиями, когда присутствовало только двести человек из примерно шестисот. В феврале 54-го, месяце, когда у сената всегда было много дел, которые нужно было уладить, однажды было так холодно, что несколько присутствующих членов потребовали увольнения и добились его.[188] И когда сенат все-таки собирался, наблюдалась постоянная тенденция пускать все на самотек. Ни о какой реформе процедуры не упоминается, поскольку о ней даже думали в то время, когда она была гораздо более необходима, чем в нашем парламенте; о делах говорили, откладывали, препятствовали, и личная неприязнь и частные интересы, насколько мы можем судить по переписке того времени, были преобладающими. С утомительным повторением в письмах говорится о том, что ничего не сделано, о отложенных делах или о проведении какого-то *senatus consultum*, полная бесполезность которого очевидна даже сейчас.[189] Даже магистраты, кажется, становились все более беспечными; мы слышим о преторе, председательствующем в репетундийском суде, который не потрудился ознакомиться с текстом закона, регулировавшего его процедуру;[190] и то, что преторы были хуже, чем небрежны в своих действиях по гражданским делам, доказывается другим законом того же трибуна, о котором упоминал Корнелий. только что говорилось, "что преторы должны соблюдать правила, изложенные в их эдиктах".[191]

Но все эти пустяки и многое в том же роде за пределами сената, вместе со ссорами отдельных лиц, шансами и инцидентами на выборах и всеми подобными сплетнями, которые составляют основной товар современных светских газет, были источником бесконечного восторга для другого типа общественных деятелей, любящих удовольствия, последнего, который будет проиллюстрирован здесь.

Если старые дворянские семьи были апатичны и праздны, то существовало множество молодых людей, чаще всего выходцев из низшего класса, чьи умы были чрезвычайно активны — активны в погоне за удовольствиями, но удовольствиями в сравнительно безвредной форме развлечений и возбуждения. Один из них, сын банкира из Путеол, Марк Целий Руф, выделяется как живой портрет в его собственных письмах к Цицерону, которых сохранилось не менее семнадцати.[192] О его ранних годах мы также знаем немало, о них рассказано в речи в его защиту, произнесенной Цицероном в 56 году; и эти объединенные источники информации делают его самой интересной фигурой в жизни своего времени. М. Буассье написал о нем восхитительное эссе в своей книге "*Цицерон и друзья*", а профессор Тиррелл сделал то же самое во введении к четвертому тому своего издания писем Цицерона; но они относились к нему не столько как к образцу молодежи его времени, сколько как к другу и ученику Цицерона. Целий всегда будет вознаграждать за новые исследования; он был забавен и интересен своим современникам, и таким он навсегда останется для нас. Он настоящий Протей — никогда не знаешь, какую форму он примет в следующий раз;

Omnia transformat sese in miracula rerum—

мы можем проследить не менее шести таких превращений в истории его жизни. И эта нестабильность, давайте сразу отметим, была не беспокойством пресыщенного *руэ*, а сиянием умного ума, совершенно беспринципного, сильно заинтересованного в своем *мире*, в жизни, в которой он вращался, со всеми ее удовольствиями и волнениями.

Отец Целия привел своего сына к Цицерону, как только тот надел тогу вирилис, изучать юриспруденцию и ораторское искусство, и Цицерону, очевидно, понравился смысленный и подвижный мальчик; он никогда не покидал его, и последнее письмо Целия своему старому наставнику было написано незадолго до его собственного печального конца. Но Цицерон был не из тех, кто оберегает неуравновешенный характер от проказ; он любил молодых людей, особенно умных, и был склонен смотреть на них с оптимизмом, как на своих собственных сына и племянника. Целий, которого всегда привлекало новизна, оставил Цицерона и присоединился к Катилине; и за эту причуду, а также за то, что ему самому не удавалось контролировать своего ученика, Цицерон довольно неловко и забавно извиняется в первых главах своей речи в его защиту. Дикий овес должен быть посеян, говорит он; когда юноша даст полную волю своим склонностям к пороку, они оставят его, и он может стать полезным гражданином, — опасный взгляд на долг наставника, который напоминает нам об обращении с мальчиком Нероном со стороны его опекуна-философа много лет спустя.[193]

Целий избежал участи Катилины и его команды только для того, чтобы попасть в руки другой клики, не менее опасной для его морального благополучия. Он стал одним из группы блестящих молодых людей, среди которых, вероятно, были поэты Катулл и Кальв, которые были любовниками, и страстными любовниками печально известной Клодии; они нуждались, она находила им деньги, и они вились вокруг нее, как мотыльки вокруг свечи. В такой жизни, полной страсти и удовольствий, ссоры были неизбежны. Если Лесбией Катулла была Клодия, как мы

можем предположить, она бросила поэта с легким сердцем. Очевидно, Целий бросил ее по собственной воле: в отместку она обрушилась на него с обвинением в воровстве и попытке отравления. Какая правда была в этих обвинениях, мы на самом деле не знаем, но Цицерон успешно защищал его, и таким образом мы узнаем подробности его неустойчивой жизни.

В знак благодарности и, возможно, от стыда Целий вернулся к своему старому другу и покинул всю компанию своих порочных товарищей ради усердной практики при дворе, где приобрел значительную известность как оратор. Фрагмент его речи, сохраненный Квинтилианом, демонстрирует, как отмечает профессор Тиррелл, удивительную силу графического и живописного высказывания.[194] Цицерон, писавший о нем после его смерти, [195] говорит, что в то время он был на правой стороне в политике и что в качестве плебейского трибуна в 56 году он успешно поддерживал правое дело и сдерживал революционные и мятежные движения. У него все шло хорошо, пока Цицерон не отправился губернатором в Киликию в 51 году. Цицерон, по-видимому, испытывал к нему полное доверие и пригласил его стать своим доверенным политическим корреспондентом; пятнадцать из семнадцати его писем были написаны в этом качестве. Эти письма показывают нам этого человека так ясно, как если бы перед нами был его дневник. Целий не праздный негодяй или ленивый эпикурейец; его ум постоянно активен: ничто не ускользает от его внимания: самые незначительные и грязные вещи доставляют ему удовольствие. Он яркий, счастливый, остроумный, легкомысленный и, несомненно, привлекательный. Забавно наблюдать, как сам Цицерон время от времени подхватывает заразу и пытается (тщетно) писать в той же легкомысленной манере.[196] Целий обладает некоторой политической проницательностью; он видит приближение гражданской войны, но воспринимает все это как игру, и накануне событий, которые должны были потрясти мир, он относится к симптомам легкомысленно, как к самым глупым столичным сплетням.[197] Ни в одном из этих писем нельзя найти ни малейшего намека на принципиальность. В самый канун гражданской войны он говорит Цицерону [198], что, как только разразится война, правильнее всего будет присоединиться к более сильной стороне. Посчитав сторону Цезаря более сильной, он соответственно присоединился к ней и сделал все возможное, чтобы побудить Цицерона сделать то же самое. Как радостно говорит мсье Буассье, он никогда не заботился о "упрощении переходов".

Однако ему пришлось обнаружить, что если переход на сторону Цезаря был более безопасным курсом, то еще раз совершить политическое сальто, попытаться подорвать работу мастера означало просто разорение. У нас есть история о его шестом и последнем превращении от самого Цезаря, которого, однако, в то время не было в Италии.[199] Кредит в Италии был серьезно подорван начавшейся гражданской войной, и Цезарь приложил немало усилий, чтобы укрепить его указом, о котором говорилось в предыдущей главе.[200] В 48 году претором был Целий; в отсутствие магистра он внезапно встал на защиту должников и попытался обжаловать решения своего коллеги Требония, великого юриста и справедливого человека. Потерпев неудачу в этом, он начал как откровенный революционер, предложив сначала отменить арендную плату за жилье и, наконец, отменить все долги; и Милон, находившийся в изгнании в Массилии, был призван помочь ему поднять Италию против Цезаря. Это было уже слишком, и обоих быстро поймали и убили, поскольку они подстрекали гладиаторов и другие банды рабов среди латифундий Южной Италии.

Письма Целия дают нам возможность увидеть, какой на самом деле была жизнь Форума, которая так очаровывала тогдашних молодых людей и некоторых стариков, таких как сам

Цицерон. Мы можем видеть этих детей, играющих на самом краю кратера, как французская знать до революции. В обоих случаях присутствовало полусознание, что извержение не за горами, — но они продолжали играть. Что же их так сильно позабавило и порадовало?

О чем всегда пишет Целий, так это в основном о выборах и агитации, обвинениях и судебных процессах, играх и шоу. К выборам он относится как к чистому спорту, как к разновидности приятной азартной игры или как к способу наплевать на кого-то, кому вы хотите насолить. С выборами часто были связаны обвинения: если человека обвиняли до его избрания, он не мог продолжать баллотироваться; если его осуждали после этого, он был дисквалифицирован; вот способы, которыми личная злоба могла лишить его успеха в последний момент.[201] Обвинения, конечно, тоже были лучшим средством, с помощью которого амбициозный молодой человек мог выдвинуться. Общее количество судебных процессов, упомянутых Целием, поражает; иногда они настолько усложняются, что за ними трудно уследить. Каждый готов выдвинуть обвинение, нисколько не заботясь об истине. Молодой Аппий Клавдий обвиняет Сервилия и устраивает беспорядок в нападении, в то время как претор неправильно руководит проведением судебного процесса, так что из этого ничего не выходит; но, в конце концов, Сервилий *de visam* обвиняет Аппия, чтобы удержать его от дальнейших нападков на Сервилия![202] Аппий-отец поссорился с Целием и подстрекал других обвинять его, хотя в то время он был курульным эдилом. "Их наглость была настолько безграничной, что они добились того, что против меня была выдвинута информация об очень серьезном преступлении (по законам Скантини). Едва Пола успел вымолвить эти слова, как я подал жалобу по тому же закону против цензора Аппия. Я никогда не видел более успешного удара!"[203]

Об играх и выставляемых на них пантерах, из-за которых Целий постоянно беспокоит своего друга в Киликии, мы кое-что узнаем в другой главе. В этих письмах много других сплетен, и часто сплетничают о неприятных вещах, на которые здесь не стоит обращать внимания. Это проливает поток света на причины общей некомпетентности и неэффективности; жизнь Форума была деморализующей:

Uni se atque eidem studio omnes dedere et arti uerba dare ut caute possint, pugnare dolose: blanditia certare, bonum simulare uirum se: insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes.[204]

Из того, что было сказано в этом очерке, должно быть ясно, что аристократия того периода представляла собой сложное общество, различные аспекты которого вряд ли можно объединить в единую картину. Отчасти это наследственная аристократия, со всей гордостью и исключительностью группы старых семей, привыкших к власти и значению. В основном это общество джентльменов с достойными манерами и доброжелательным отношением друг к другу, а также общество высокой культуры и литературных способностей, хотя и бедное творческим гением и лишенное воображения. С другой стороны, это класс, который потерял интерес к государству и проявляет энергию только тогда, когда преследует свои собственные интересы: любит удовольствия, роскошь, сплетничает, относится к серьезным вопросам легкомысленно, близорук в политике, потому что озабочен только личным продвижением. "Раритеты в гурджите васто" - это люди, которые действительно серьезны, но они есть; мы не должны забывать, что в лице Лукреция и Цицерона это общество произвело на свет одного из величайших поэтов и одного из самых совершенных прозаиков, которыми дорожит мир; в лице Сульпиция - юриста, имеющего непреходящую ценность для человечества, а в лице Цезаря - не

только писателя и ученого, но и человека действия, не имеющего себе равных по способностям и трудолюбию.

ГЛАВА V

БРАК: И РИМСКАЯ ЛЕДИ

Чтобы оценить положение женщин различных типов в обществе, которое мы исследуем, необходимо прояснить, что первоначально и в идеале означал римский брак. В любом обществе можно обнаружить, что положение и влияние женщины можно довольно хорошо определить по характеру брачной церемонии и условиям, при которых она проводится. В Риме во все периоды его истории *iustum matrimonium*, то есть брак, санкционированный законом и религией и, следовательно, полностью законный во всех своих результатах, был делом первостепенной важности, которого нельзя было достичь без множества форм и церемоний. Причина такого уточнения очевидна, во всяком случае, для любого, кто хоть немного знаком с древней жизнью Греции или Италии. Как мы увидим позже, дом был резиденцией как для божественных членов семьи, так и для человеческих; следовательно, появление в доме невесты — той, которая не имела ни роли, ни жребия в этой семейной жизни, — означало некоторое напряжение в отношениях между божественными и человеческими членами. Человеческая часть семьи приводит нового члена, но она должна быть уверена, что божественная часть готова принять ее, прежде чем сделанный шаг можно будет считать завершенным. Она должна войти в семью таким образом, чтобы иметь возможность участвовать в ее таинстве, то есть в поклонении домашним духам, предкам в их гробницах или в каком-либо особом культе, связанном с семьей. Чтобы обеспечить это право, в древнейшие времена ее подвергали церемонии, которая явно носила сакраментальный характер и результатом которой был переход невесты из рук (*manus*) ее отца, то есть из абсолютного подчинения ему как главе ее собственной семьи, в руки ее мужа, то есть в абсолютное подчинение ему как главе ее новой семьи.

Эта сакраментальная церемония называлась *confarreatio*, потому что невеста и жених вкусили священный пирог, приготовленный из старого итальянского зерна под названием *fari* предложенный Юпитеру Фарреусу[205] в присутствии Верховного понтифика, Фламина Диалиса и десяти других свидетелей. На такой церемонии, конечно, принималось покровительство, и, по-видимому, также была заклана жертва, предложенная, вероятно, Церере, кожа которой была натянута на два сиденья (*sellae*), на которых должны были сидеть жених и невеста.[206] Эти подробности ранней формы патрицианского брака упоминаются здесь только для того, чтобы сделать религиозный характер римского представления об обряде совершенно ясным; другими словами, чтобы доказать, что вхождение невесты в семью извне было делом очень трудным и серьезным, которого нельзя было достичь без специальной помощи и вмешательства богов. Мы можем даже зайти так далеко, что скажем, что новая мать семейства была в некотором роде домашней жрицей и что она должна была пройти торжественное посвящение, прежде чем занять эту должность. И мы можем еще больше проиллюстрировать мистическую религиозную природу всего обряда, если вспомним, что на протяжении всей римской истории никто не мог быть жрецом Юпитера (*flaminium diale*), или Марса, или Квирина, или священного царя, который не был рожден от родителей, вступивших в брак по конфарреации, и что в каждом случае сам жрец должен был обвенчаться по той же церемонии.[207] Этот последний упомянутый факт также может служить напоминанием нам о том, что не только семья и ее таинство, ее жизнь и ее

поддержание требовали соблюдения закона. церемонии, составляющие *iustum matrimonium*, но также и государство и его таинство, его жизнь и ее поддержание.[208] Поскольку *confarreatio* имела своей непосредственной целью обеспечение материнской семьи, полностью квалифицированной во всех ее различных функциях, а в качестве своей дальнейшей цели - обеспечение лиц, юридически квалифицированных для выполнения самого важного таинства государства; так и брак, в какой бы форме он ни был, имел своей целью одновременно поддержание семьи и ее таинства и производство мужчин, способных служить государству в мирное и военное время. Чтобы быть римским гражданином, вы должны быть продуктом *iustum matrimonium*. Из этого первоначального факта вытекают все *iura* или права, которые вместе составляют гражданство; будь то частные права, которые позволяют вам владеть, передавать и наследовать собственность под защитой римского права, [209] или общественные права, которые защищают вашу личность от насилия и убийств и позволяют вам подавать свой голос в общественном собрании и добиваться избрания в магистратуру.[210]

Брак тогда был делом первостепенной важности в римской жизни, и во всех его формах мы находим, что эта важность отмечена должной торжественностью ритуала. В двух других формах, помимо *confarreatio*, невеста могла передаваться под руку своему мужу, а именно, *coemptio* и *usus*, которыми мы здесь специально не занимаемся; поскольку задолго до последнего столетия Республики все три метода практически устарели или лишь изредка использовались для определенных целей. С течением времени было признано более удобным для женщины оставаться после замужества в руках своего отца или, если он умер, под "опекой" опекуна (*tutorial*), чем переходить в руки своего мужа; поскольку в последнем случае ее собственность становилась полностью его собственностью. Естественная тенденция избегать ограничений супружеских *манус* может быть проиллюстрирована следующим случаем: женщина, находящаяся под *опекой* опекуна, желает выйти замуж; если она это сделает и перейдет под *манус* своего мужа, ее *наставник* теряет всякий контроль над ее собственностью, что, вероятно, может иметь большое значение для семьи, которую она покидает; поэтому он, естественно, возражает против такого брака и настаивает на том, чтобы она вышла замуж без *мануса*. [211] Фактически интересы ее собственной семьи нарушаются. Это часто противоречило бы взглядам того, в кого она собиралась вступить, и компромисс мог быть достигнут путем отказа от брака *sine manu*.

Итак, это, расторжение брака *sine manu*, означает просто, что определенные юридические последствия церемонии бракосочетания были отменены, а вместе с ними и те части церемонии, которые привели к этим последствиям. В остальном брак был абсолютно действителен для всех частных и общественных целей настолько, насколько это могло быть достигнуто даже самым *confarreatio*. Сакраментальная часть отсутствовала, и сохранялись черты брака по купле-продаже, которые мы можем видеть в форме *coemptio*, также отсутствовали; но во всех других отношениях церемония бракосочетания была такой же, как в браке *sine manu*. Она сохранила все существенные религиозные черты, утратив лишь часть своего правового характера. Также будет полезно кратко описать римскую свадьбу того типа, который был распространен в последние два столетия существования Республики.

Начнем с того, что юноша и девушка — ибо такими они были, какими мы должны были бы их видеть, даже во время женитьбы — были обручены, по всей вероятности, задолго до этого. Цицерон сообщает нам, что он обручил свою дочь Туллию с Кальпурнием Пизоном Фруги в начале 66 года до нашей эры; свадьба состоялась в 63 году. Туллия, по-видимому, родилась в 76

году, так что на момент обручения ей было десять лет, а на момент замужества - тринадцать. Вероятно, это типично для того, что обычно происходило; и это показывает, что дело действительно было полностью в руках родителей. Это было семейное соглашение, *традиционный брак*, как это было и есть у многих народов, древних и современных.[212] Обручение действительно было скорее обещанием, чем определенным контрактом, и могло быть расторгнуто без каких-либо нарушений; и, таким образом, при наличии сильной неприязни со стороны девушки или юноши можно было найти способ сбежать.[213] Как бы то ни было, мы можем быть уверены, что идея брака не была идеей союза по любви, хотя он отличался от сожительства " *affectio maritalis*", а также юридическими формами, и хотя истинная привязанность могла возникнуть и часто возникала, как в наше время при аналогичных обстоятельствах, из этого. В основе этого союза лежала идея служения семье и государству. Это хорошо проиллюстрировано, как и многие другие римские идеи, в "*Энеиде*" Вергилия. Те, кто упорно смотрит на Энея современными глазами и обвиняет его в вероломстве по отношению к Дидоне, забывают, что его страсть к Дидоне была внезапной, не санкционированной богами или благоприятным покровительством, и что окончательный союз с Лавинией, к которой он не испытывает подобной привязанности, был таким, который зарекомендовал бы себя каждому римлянину как оправданный выгодой для государства. Поэт, это правда, проявляет свою глубокую человечность в трактовке судьбы Дидоны, но он делает это вопреки своей теме — долгу каждого римлянина перед своей семьей и государством. Римлянин, без сомнения, влюбился бы, как юноша любой другой нации, но его страсть не имела ничего общего с его обязанностями римлянина. Эта идея брака имела серьезные последствия, к которым мы вернемся позже.

Когда наступает день свадьбы, наша невеста надевает свое свадебное платье, снимая претекстовую тогу своего детства и посвящая своих кукол Лару своей семьи; и, надев красноватую вуаль (*flammeum*) и шерстяной пояс, завязанный узлом, называемым узлом Геркулеса, [214] она ожидает прибытия жениха в доме своего отца. Тем временем принимаются меры предосторожности; [215] в прежние времена это делалось путем наблюдения за полетом птиц, но теперь путем исследования внутренностей жертвы, по-видимому, овцы. Если это удовлетворяет, молодая пара заявляет о своей согласии на союз и соединяют свои правые руки по указанию пронубы, то есть замужней женщины, которая действует как своего рода жрица. Затем, после очередного жертвоприношения и свадебного пира, невесту проводят из ее старого дома в дом ее мужа в сопровождении трех мальчиков, сыновей живых родителей, один из которых несет факел, а двое других ведут ее за обе руки; флейтисты идут впереди, и мальчикам бросают орехи. Эта *дедукция*, очаровательно описанная в прекрасном шестьдесят пятом стихотворении Катулла, полна интересных деталей, которые здесь следует опустить. Когда добираются до дома жениха, невеста смазывает дверные косяки жиром и растительным маслом и обвязывает каждый шерстяной лентой: затем ее поднимают над порогом, муж берет ее в товарищество огня и воды — основы домашней жизни — и проходит в атриум. завтрашний день застанет ее матерью семейства, сидящей среди своих служанок в этом атриуме или в более уединенных покоях за ним:

Claudite ostia, virgines
Lusimus satis. At boni
Coniuges, bene vivite, et
Munere assiduo valentem

Exercete iuventam.

Даже распущенный Катулл не мог не относиться к теме брака с достоинством и нежностью, и в этой последней строфе своего стихотворения он намекает на обязанности супружеской пары языком, который удовлетворил бы самого строгого римлянина. Он также затронул еще одну струну, которая нашла бы отклик в сердце каждого добропорядочного гражданина, в восхитительных строках, которые как раз предваряют процитированные и предвосхищают ребенка — сына, конечно, — который должен родиться и который будет лежать на руках своей матери, протягивая ручонки и улыбаясь отцу.[216] Ничто не может лучше проиллюстрировать контраст в сознании римлянина между страстной любовью и серьезным браком, чем сравнение этого прекрасного стихотворения с теми, в которых рассказывается грязная история интриг поэта с Лесбией (Клодией). Красота и веселость супружеской жизни, какой она была раньше, все еще ощущаются и все еще обнаруживаются, но глубины человеческих чувств они не затрагивают. Любовь лежит за пределами, это факт, выходящий за рамки упорядоченной жизни семьи или государства.

Никто, кто изучает этот церемониал римского брака в свете идей, на которые он указывает и которые отражает, не может избежать вывода о том, что положение замужней женщины должно было быть весьма достойным, требующим соответствующего типа характера. Несомненно, положение римской матери семейства было гораздо более достойным, чем у жены-гречанки. Она действительно была далека от того, чтобы быть простой работницей или скво; она разделяла со своим мужем все обязанности по хозяйству, включая религиозные, и в самом доме она была практически верховной.[217] Она жила в атриуме, а не была заперта в женской комнате; она нянчила своих собственных детей и воспитывала их; она полностью контролировала рабынь, которые были ее служанками; она принимала пищу вместе с мужем, но сидя, а не полулежа, и воздерживалась от вина; по всем практическим вопросам с ней советовались, и только по вопросам политическим или интеллектуальным с ней советовались. Она ожидала, что будет молчать. Когда она выходила, одетая в изящный *стол матроналис*, к ней относились с уважением, и прохожие уступали ей дорогу; но характерно для ее положения, что она, как правило, не покидала дом без ведома мужа или без сопровождения.[218]

Этому достойному положению соответствовал идеальный характер семьи матерей. Мы должны назвать это идеальным, поскольку оно не во всех отношениях совпадает с традициями римских женщин даже в ранние времена; но мы должны помнить, что во все периоды римской истории женщина, память о которой сохранилась, была склонна быть женщиной, которая не является идеальной матроной, но той, кто привлекает к себе внимание, нарушая традиции женственности. Типичная матрона, несомненно, никогда бы не подумала сыграть какую-то роль в истории; ее влияние было негласным и, следовательно, пропорционально мощным. Легендарная мать Кориолана (Волумния Шекспира), Корнелия, мать Гракхов, Аврелия, мать Цезаря, и Юлия, его дочь, косвенно играли гораздо большую роль в общественной жизни, чем шумные и порочные дамы, оставившие после себя имена знаменитые или печально известные; но они никогда не заявляли о признании своей власти.

Этот своеобразный характер римской матроны, сочетавший в себе достоинство, трудолюбие и практическую мудрость, как раз подходил для того, чтобы привлечь внимание такого мягкого философа, как Плутарх, который с неподдельным нравственным пылом любил все благородное

и честное в человеческой природе. Он не только постоянно ссылается на римских дам и их характер в своих *жизнях* и своих *нравах*, но и в своей серии из более чем ста "римских вопросов", первые девять из которых, как и многие другие, касаются брака и семейной жизни; а в своем трактате под названием *Coniugalia praecepta* он отражает многие черты римской матроны. От него, в переводе сэра Томаса Норта, Шекспир черпал вдохновение, которое позволило ему создать на елизаветинской сцене по крайней мере одну такую типичную матрону. В "Кориолане" он так внимательно следил за Плутархом, что читатель может относиться к нему почти как к авторитету; и в контрасте между строгой и исполненной достоинства Волумнией и страстной и сладострастной Клеопатрой из более поздней пьесы воображение поэта, кажется, руководствовалось истинным историческим инстинктом.

Нам не нужно сомневаться, что строгая матрона старого типа дожила до возраста, который нас особенно интересует; но мы почти не встречаем ее в литературе того времени, просто потому, что она жила своей полезной жизнью и не искала огласки. Случай действительно сохранил для нас на камне историю замечательной женщины, первые годы супружеской жизни которой пришлось на тяжелое время гражданских войн 49-43 годов до н.э., и которая, если верить похвалам преданного мужа, а они действительно могут быть, была женщиной лучшего римского склада и наделена таким сочетанием практических добродетелей, какого мы вряд ли могли ожидать даже от римской матроны. Но мы вернемся к этой надписи позже.

Дамы, которых мы встречаем в письмах Цицерона и в другой литературе последней эпохи Республики, не относятся к этому типу. Со времен второй Пунической войны римская леди изменилась, как и все остальное римское. Здесь невозможно подробно проследить историю перемен, но мы можем отметить, что они, по-видимому, начались в семье, в вопросах одежды и расходов, а позже повлияли на жизнь и положение женщин в обществе и политике. Браки *summani* стали необычными: жена оставалась в потестах своего отца, который в большинстве случаев, несомненно, перестал беспокоиться о ней, и поскольку ее имущество не перешло к мужу, она не могла не получить новое независимое положение. Женщины начали богатеть, и в 169 году до н.э. был принят закон (*lex Voconia*), запрещающий женщинам высшей переписи населения [219] (которые, вероятно, были бы обеспокоены только этим) наследовать наследство. Еще до окончания великой войны, когда частная роскошь казалась неуместной, было предложено отменить закон Оппия, который накладывал ограничения на украшения и одежду женщин; и, несмотря на яростное противодействие Катона, тогда молодого человека, предложение было успешным.[220] В то же время развод, который, вероятно, никогда не был невозможным, хотя и должен был быть редкостью,[221] стал обычной практикой. К нашему удивлению, мы обнаруживаем, что добродетельный Эмилий Павел, в других отношениях образцовый отец семейства, развелся со своей женой, и когда его спросили, почему он это сделал, ответил, что женщина может быть превосходной в глазах своих соседей, но только муж может сказать, где зацепилась туфля.[222] Оценивая изменившееся положение женщин в семье, мы не должны забывать тот факт, что в ходе долгих и непрекращающихся войн второго века до нашей эры мужья годами находились вдали от дома и в бесчисленных случаях, должно быть, погибали. от меча или чумы, или попал в руки врага и был поработен. Было неизбежно, что по мере сокращения мужского населения, как это, несомненно, происходило в том столетии, значение женщины должно было пропорционально возрасти. К сожалению, даже когда мужья были дома, их жены иногда, по-видимому, хотели от них избавиться. В 180 году до н.э. считалось, что консул Пизон был убит своей женой, и независимо от того, правдива эта история или нет, подозрение, по крайней мере, значимо.[223] В 154 году две знатные дамы,

жены консуларов, были обвинены в отравлении своих мужей и казнены советом их собственных родственников.[224] Хотя свидетельства в этих случаях ни в коем случае не являются удовлетворительными, все же мы вряд ли можем сомневаться в том, что среди женщин высшего ранга существовала тенденция давать выход страсти и возбуждению; свидетельства о вакхическом заговоре 186 г. до н.э., в котором женщины играли очень заметную роль, ясны и показывают, что уже тогда существовала "новая женщина", которая перестала быть удовлетворенной аскетичной жизнью семьи и душевным комфортом, обеспечиваемым старой религией, и была готова впасть в безрассудство даже в вопросах, которые касались общества. Государство.[225] На то, что они уже начали оказывать чрезмерное влияние на своих мужей в государственных делах, похоже, указывает знаменитое изречение старого Катона о том, что "все мужчины правят женщинами, мы, римляне, правим всеми мужчинами, а наши жены правят нами".[226]

Но было бы большой ошибкой полагать, что сами люди не были в равной степени виноваты. Жены не травят своих мужей без какой-либо причины для ненависти к ним, и причину нетрудно угадать. Неоспоримым фактом является то, что, несмотря на очарование семейной жизни в том виде, в каком она была описана выше, ни закон, ни обычай не требовали супружеской верности от мужа.[227] Старый Катон довольно хорошо отражает старое представление о римской добродетели, однако достаточно ясно как из *Жизнеописания* Плутарха (например, глава xxiv.), так и из фрагментов его собственных сочинений, что его взгляд на супружеские отношения был грубым — что он смотрел на жену скорее как на необходимое средство обеспечения государства детьми, чем как на помощницу чтобы о нем заботились и его почитали. И поскольку это так, мы не удивляемся, обнаруживая, что мужчины уже начинают испытывать неприязнь к браку и избегать его; самый опасный симптом, с которым столетие спустя Август обнаружил, что справиться с ним невозможно. В 131 году, сразу после того, как Тиберий Гракх пытался оживить население Италии своим аграрным законом, цензор Метелл Македоник сделал все, что мог, чтобы побудить мужчин вступать в браки "*liberorum creandorum causa*"; и впоследствии стал известен фрагмент его речи на эту тему, процитированный Августом с той же целью. Это в равной степени характерно для римского юмора и римской твердости. "Если бы мы могли обходиться без жен, - сказал он людям, - мы бы избавились от этой досады; но поскольку природа распорядилась так, что мы не можем ни жить с ними комфортно, ни вообще обходиться без них, мы должны заботиться скорее о наших постоянных интересах, чем о преходящем удовольствии".[228]

Теперь, если мы примем во внимание эти тенденции как со стороны мужчин, так и женщин, состоящих в браке, и далее рассмотрим бурный и революционный характер полувека, последовавшего за Гракхами, — социальные и гражданские войны, проскрипции Мария и Суллы, — мы будем готовы обнаружить, что дамы времен Цицерона ни в коем случае не были просто женственными по очарованию или невзрачными по характеру. Большинство из них действительно являются для нас просто названиями, и мы должны быть осторожны, взвешивая то, что говорят о них более поздние авторы. Но о двух или трех из них мы действительно многое знаем.

Та, о ком мы действительно знаем больше всего, - это жена Цицерона Теренция: обычная дама, без особых способностей или интересов, которая может считаться представительницей более спокойного типа замужних женщин. Она прожила со своим мужем около тридцати лет, и до конца этого периода, долгого для ее возраста, мы не находим против нее ничего

существенного. Если бы у нас не было ничего, кроме писем Цицерона к ней, числом более двадцати, и его намеков на нее в других письмах, мы бы пришли к выводу, что она была верной и в целом разумной женой. Но он не раз писал о ее хрупком здоровье, [229] и поскольку бедной леди в разное время приходилось сталкиваться с большими трудностями, вполне возможно, что с возрастом она стала вспыльчивой или пыталась другими способами воздействовать на столь легковозбудимого и колеблющегося мужа. Мы находим рассказы о ней у Плутарха и в других местах, которые представляют ее сварливой, слишком бережливой к собственным деньгам и так далее; [230] но факты имеют большее значение, чем тогдашние сплетни, и в письмах нет ни малейшего признака того, что Цицерон не любил ее или не доверял ей до 47 года. Если бы действительно были причины для недоверия, это прозвучало бы в каком-нибудь письме Аттикусу. Затем, после его отсутствия во время войны, он, похоже, поверил, что она пренебрегла им самим и его интересами: его письма к ней становятся все холоднее и холоднее, и последнее - то, которое, как верно было сказано, джентльмен не стал бы писать своей экономке. Жаль только, что Цицерон, разведясь с ней, женился на молодой и богатой жене и, похоже, вел себя с ней не очень хорошо. В письме к Аттику (xii. 32) он пишет, что Публилия хотела приехать к нему со своей матерью, когда он был в Астуре, предаваясь скорби по своей дочери, и что он ответил, что хочет, чтобы его оставили в покое. Письмо показывает Цицерона в худшем его проявлении, на этот раз бессердечным и невежливым; если он мог быть таким по отношению к молодой девушке, которая хотела выполнить свой долг по отношению к нему, то чем он мог не быть по отношению к Теренции? Я подозреваю, что против Теренции было совершено не меньше грехов, чем против самой грешницы; и разве мы не можем поверить, что из бесчисленного множества разведенных замужних женщин в то время некоторые, по крайней мере, были жертвами бессердечия своих мужей, а не своих собственных недостатков?

Однако, похоже, с женой брата Цицерона Квинта было трудно ладить. Она была сестрой Аттикуса, но не разделяла такта и всеобщей доброжелательности своего брата. Марк Цицерон записал (*ad Att. v. 1*) сцену, в которой ее вспыльчивый характер был настолько нелеп, что произошедший впоследствии развод не нуждается в объяснении. Два брата путешествовали вместе, и Помпония была с ними; что-то ее разозлило. Когда они остановились пообедать в заведении, принадлежащем Квинту в Аркануме, он попросил свою жену пригласить дам из компании внутрь. "Ничто, как я и думал, не могло быть более вежливым, и это тоже проявилось не только в его словах, но и в его намерениях и выражении его лица. Но она на глазах у всех нас воскликнула: "Я здесь всего лишь чужая!" Очевидно, муж не просил ее заглянуть к нему после обеда; это сделал вольноотпущенник, и она была раздосадована. "Вот, - сказал Квинт, - с этим мне приходится мириться каждый день!" Когда он прислал ей блюда из триклиния, где обедали джентльмены, она не захотела их пробовать. Эта маленькая домашняя неурядица слишком хороша, чтобы ею пренебрегать, но мы должны обратиться к женщинам с более выдающимися качествами и характером.

Теренция, Помпония и им подобные, похоже, не имели ничего общего с "высшим образованием", и их мужья, похоже, не ожидали от них никакого желания разделять их собственные интеллектуальные интересы. Цицерон ни разу не упоминает о каком-либо приятном светском общении, в котором принимала участие его жена; и, по правде говоря, он, вероятно, избежал бы брака с женщиной со вкусом и знаниями. Как мы увидим, таких женщин было, вероятно, много; с тех пор как появились богатство и греческое образование, театры и развлечения, а также вся приятная городская жизнь на свежем воздухе, то, что теперь стало называться *cultus*, занимало умы и влияло на привычки как римских женщин, так и мужчин. К

сожалению, это редко находилось совместимым со старым римским идеалом матери семейства и ее обязанностями. Вторжение новых манер было слишком внезапным, как и соответствующее вторжение богатства; такая дама, как Корнелия, знаменитая мать Гракхов, "которая знала, что на самом деле значит образование, которая знала о себе людей знающих и сама могла хорошо писать, и все же могла сочетать с этими качествами тщательное выполнение обязанностей жены и матери"[231], — такие дамы, должно быть, были редкостью, а во времена Цицерона их почти не было. Все больше и больше укреплялось мнение, что умная женщина, желающая занять видное положение в обществе, быть центром своего собственного *мира*, не может реализовать свои амбиции просто как замужняя женщина. Вероятно, она вышла бы замуж, играла бы быстро и распутно с женатым государством, пренебрегала бы своими детьми, если бы они у нее были, и после одного или двух разводов умерла бы или исчезла. Идея несовместимости культуры и женитьбы настолько сильно овладела умами римлян в последнем столетии до нашей эры, что Август счел борьбу с ней самой трудной задачей, с которой ему приходилось сталкиваться; напрасно он изгнал Овидия за публикацию произведения, в котором замужние женщины наиболее откровенно и недвусмысленно не принимаются во внимание, в то время как предполагается, что все, что привлекательно в противоположном поле для человека со вкусом и образованием, есть только у тех, кто, по крайней мере, пока, избегал обязанностей и тягот супружеской жизни. *Culta puella* и *cultus puer* из увлекательной, но отталкивающей поэмы Овидия [232] являются продуктами общества, которое смотрит на удовольствие, а не на разум или долг, как на главную цель жизни, — на самом деле не на удовольствие просто более грубого типа, а на удовлетворение собственного желания наслаждаться и возбуждаться, безмысли о нищете вокруг или какого-либо чувства самоуважения, которое приходит от активных добрых дел.

Самым заметным примером женщины *культы* во времена Цицерона была знаменитая Клодия, Лесбия (как мы теперь можем почти предположить), которая очаровала Катулла, а затем бросила его. Она была замужем за человеком из семьи и высокого положения, Метеллом Целером, который умер, как ни странно, не разведшись с ней. Должно быть, она была женщиной необычайной красоты и обаяния, поскольку, по-видимому, привлекла к себе небольшое общество умных молодых людей и поэтов, которым она могла одалживать деньги или расточать похвалы в зависимости от момента. Был ли сам Цицерон когда-то в пределах досягаемости ее привлекательности и, возможно, страдал от нее, остается открытым вопросом и зависит главным образом от утверждений Плутарха, которые могут (как было сказано выше) иметь не лучшее основание, чем светские сплетни. Но мы знаем, как два типичных молодых человека того времени, Целий и Катулл, влетели в свечу и были обожжены; мы знаем, как яростно она набросилась на Целия, без малейших колебаний разоблачив себя и его в публичном суде; и мы знаем, как жестоко она обошлась с поэтом, который ненавидел ее за это, хотя все еще любил ее:[233]

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris;
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

КАТУЛЛ. 85.

She was, as M. Boissier has well said,[234] the exact counterpart of her still more famous brother: "Elle apportait dans sa conduite privée, dans ses engagements d'affection, les mêmes emportements

et les mêmes ardeurs que son frère dans la vie publique. Prompte à tous les excès et ne rougissant pas de les avouer, aimant et haïssant avec fureur, incapable de se gouverner et détestant toute contrainte, elle ne démentait pas cette grande et fière famille dont elle descendait." Все это правда; нам не нужно выходить за рамки этого и верить худшему, что о ней говорили.

Мы лишь мельком увидели еще одну леди из *cultus*, но только мельком. Это была Семпрония, жена честного человека и мать другого; [235] но, согласно Саллюстию, который представляет ее нам как главную фигуру в заговоре Катилины, она была одной из тех, кто считал стабильную супружескую жизнь несовместимой с литературными и художественными вкусами. - Она умела играть и танцевать более элегантно, чем подобает честной женщине ... она быстро и свободно распоряжалась своими деньгами, а также своей доброй славой". [236] По его словам, у нее не было угрызений совести, когда она отрицала долг или помогала в убийстве: тем не менее, у нее было много *esprit*, она умела писать стихи и блестяще говорить, и она также знала, как при случае напустить на себя вид скромности. Саллюстий очень любил раскрашивать свои портреты, и в изображении этой женщины он, без сомнения, видел шанс на литературный эффект; но в том, что она действительно участвовала в заговоре, мы не можем сомневаться, и что у нее были личные цели, которых она могла этим добиться, также вероятно. Похоже, она первая из череды дам, которым в течение следующего столетия и позже предстояло стать политической силой, и большинство из которых, по крайней мере, были способны на преступления, общественные и частные. Действительно, несколькими годами ранее был один случай, когда женщина пользовалась почти высшим влиянием в государстве, и к тому же женщина худшего сорта. Плутарх самым недвусмысленным образом сообщает нам, что когда Лукулл в 75 году до н.э. пытался добиться для себя командования против Митридата, он оказался вынужден обратиться к женщине по имени Преция, чьи социальные способности и добродушие давали ей огромное влияние, которым она пользовалась со свойственным таким дамам упорством. Однако ее репутация была очень плохой, и среди других любовников она поработила Цетегу (впоследствии заговорщика), чья власть в Риме в то время была огромна. Таким образом, говорит Плутарх, вся государственная власть перешла в руки Преции, ибо ни одна общественная мера не принималась, если Цетегус не был за это, другими словами, если Преция не рекомендовала ему это. Если история правдива, как это кажется, Лукулл завоевал ее с помощью подарков и лести, и таким образом Цетегус взялся за его дело и получил от него командование.[237]

Даже если мы отбросим как недостоверное многое из того, что нам рассказывают об отношениях мужчин и женщин в этот период, следует признать, что имеется вполне достаточно свидетельств того, что они были крайне распущенными и демонстрировали совершенно нездоровое состояние семейной и общественной жизни. Знаменитая тигрица из истории Клуенция, Сассия, какой она предстает в книге Цицерона "В его защиту", вне всякого сомнения, была преступницей худшего сорта, как бы сильно мы ни пренебрегали риторикой оратора; и ее случай доказывает, что зло существовало не только в Риме, но его можно было обнаружить даже в провинциальном городке небольшой значимости. Развод был настолько распространенным явлением, что был почти неизбежен. Мужья разводились со своими женами под малейшим предлогом, а жены разводились со своими мужьями.[238] Даже добродетельный Катон, кажется, развелся со своей женой Марсией, чтобы Гортензий женился на ней, а через несколько лет женился на ней снова как на вдове Гортензии с большим состоянием.[239] Сам Цицерон иногда в легкомысленной манере пишет о супружеских отношениях, которые мы должны были бы считать наиболее серьезными;[240] и мы находим, что он рассказывает Аттику,

как он познакомился за обедом с актрисой Китерид, женщиной с заведомо дурным характером. "Я не знал, что она там будет, - говорит он, - но даже сам сократ Аристипп не краснел, когда над ним насмеялись из-за Лаис".[241] Репутация Цезаря в таких вопросах всегда была плохой, и хотя многие истории о нем явно лживы, его завоевание Клеопатрой было фактом, и мы с сожалением узнаем, что египетская царица жила на его вилле в садах за Тибром в 46 году, когда он сам был в Риме.

Для читателя будет облегчением, проведя столько времени в этой нездоровой атмосфере, обратиться на мгновение, в конце концов, к уникальному и полностью заслуживающему доверия свидетельству о по-настоящему хорошей и полноценной женщине и о долгом периоде непрерывной супружеской преданности. Примерно в 8 году до нашей эры, незадолго до того, как Овидий написал стихи, в которых предполагалось, что супружеская жизнь едва ли стоит того, чтобы жить, муж, занимавший видное положение в Риме, потерял жену, которая в течение сорока одного года была его верным спутником в процветании, мудрым и мужественным советчиком в невзгодах. Он записал ее похвалы и историю ее преданности ему в длинной надписи, помещенной, как мы можем предположить, на стене гробницы, в которой он похоронил ее, и по счастливой случайности для нас сохранилась большая часть мрамора, на котором была выгравирована эта надпись. Оно написано в форме *laudatio*, или похоронной похвалы; однако мы не можем быть уверены, что он действительно произнес его как речь, поскольку на протяжении всего текста он обращается не к аудитории, а к самой погибшей жене в манере, уникальной среди подобных документов, дошедших до нас. Он говорит с ней так, как будто она все еще жива, хотя и исчезла из поля его зрения; и именно это делает ее более реальной и трогательной, чем любой памятник умершим, дошедший до нас из Италии или Греции.[242]

В таких записях имена не имеют большого значения; нет ничего страшного в том, что мы не знаем совершенно точно, кем были этот мужчина и его жена. Но есть очень большая вероятность, что ее звали Турия, а он был неким Q. Лукреций Веспилло, служивший под командованием Помпея в Эпире в 48 году до н.э., чьи романтические приключения в проскрипциях 43 года описаны Аппианом[243] и который в конечном итоге стал консулом при Августе в 19 году до н.э. Мы можем рискнуть использовать эти имена, рассказывая эту замечательную историю. За то, что я рассказываю это здесь, не нужно извинений, поскольку, насколько мне известно, это никогда не рассказывалось на английском в целом.

Это начинается, когда пара собиралась пожениться, вероятно, в 49 году до нашей эры, и с ужасного семейного бедствия, вполне естественного в момент начала опасной гражданской войны. Оба родителя Турии были внезапно и вместе убиты в своей загородной резиденции — возможно, как предположил Моммзен, их собственными рабами. Сразу после этого Лукрецию пришлось уехать с армией Помпея в Эпир, а Турия осталась одна, без обоих родителей, и должна была сделать все, что в ее силах, чтобы добиться наказания убийц. Хотя она была одинока или ей помогала только замужняя сестра, она сразу же проявила мужество и энергию, которые очевидны во всем, что мы о ней слышим. Похоже, ей удалось выследить убийц и привлечь их к ответственности: "даже если бы я сам был там, - говорит ее муж, - я не смог бы сделать большего".

Но это было далеко не единственное опасное задание, которое ей пришлось выполнить в те годы гражданской войны и отсутствия безопасности. Когда Лукреций покинул ее, они, по-

видимому, остановились на вилле, где были убиты ее родители; она отдала ему все свое золото и жемчуга и в его отсутствие снабжала его деньгами, провизией и даже рабами, которых ей удалось тайно переправить морем в Эпир.[244] И во время марша армии Цезаря через Италию ей, по-видимому, угрожал либо на этой вилле, либо на другой какой-то отряд его войск, и она спаслась только благодаря собственной храбрости и милосердию того, чье имя не упоминается, но кто вряд ли может быть ее другом. кроме самого великого Юлиуса, истинного джентльмена, чей инстинкт и политика на протяжении всей этой гражданской войны были направлены на то, чтобы быть милосердным к противникам.

Год спустя, когда Лукреций все еще был в отъезде, ее постигла еще одна опасность. Пока Цезарь действовал вокруг Диррахия, в Кампании и Южной Италии произошло опасное восстание, главную ответственность за которое нес наш легкомысленный друг Целий Руф; были завербованы гладиаторы и буйные рабы—пастухи, и некоторые из них напали на виллу, где она остановилась, и она успешно ее защищала - по крайней мере, так кажется возможным заключить из недавно обнаруженного фрагмента.

Можно было бы подумать, что Турия уже получила свою полную долю неприятностей и опасностей, но впереди еще многое другое. Примерно в это же время ей пришлось защищаться от другого нападения, на самом деле не на нее саму, а на ее права как наследницы. Ее родственники предприняли попытку оспорить завещание ее отца, согласно которому она и Лукреций назначались равными наследниками его имущества. Результатом этого стало бы то, что она стала бы единственной наследницей, не считая своего мужа и замужней сестры; но она находилась бы под законной опекой лиц, чьим мотивом оспаривания завещания было получение управления имуществом.[245] Без сомнения, они намеревались управлять им в своих собственных интересах; и было абсолютно необходимо, чтобы она сопротивлялась им. Как ей это удалось, ее муж нам не рассказывает, но он говорит, что враг отступил со своей позиции, уступив ее твердости и упорству (констанция). Наследство перешло, как и предполагал ее отец, к ней и ее мужу; и он подробно останавливается на том, с какой заботой они относились к нему, он осуществлял опеку над ее долей, в то время как она осуществляла *custodia* над его. Очень трогательно он добавляет: "Но об этом я многое оставляю недосказанным, чтобы не показалось, что я претендую на долю похвалы, которая принадлежит только вам".

Когда Лукреций вернулся в Италию, очевидно, прощенный Цезарем за ту роль, которую тот сыграл против него, брак, должно быть, был заключен. Затем произошло убийство диктатора, которое снова ввергло Италию в гражданскую войну, пока в 43 году Антоний Октавиан и Лепид не заключили свой знаменитый договор и сразу же не приступили к той отвратительной работе по запрещению, которая вызвала в Риме царство террора и пролила много лучшей римской крови. Счастье пары внезапно было разрушено, потому что Лукреций оказался занесенным в списки погибших.[246] Кажется, он был в деревне, недалеко от Рима, когда получил сообщение от своей жены, сообщавшее ему о надвигающейся опасности, с которой ему, возможно, придется столкнуться в любой момент, и настоятельно предостерегавшее его от определенного опрометчивого поступка — возможно, попытки сбежать к Сексту Помпею на Сицилию, поступка, который стоил жизни многим введенным в заблуждение жертвам. Она умоляла его вернуться в их собственный дом в Риме, где она придумала для него надежное укрытие. Она, без сомнения, намеревалась умереть там вместе с ним, если его обнаружат.

Он повиновался своему доброму гению и отправился в Рим, по-видимому, ночью, всего с двумя верными рабами. Один из них захромал, и его пришлось оставить, а Лукреций, опираясь на руку другого, приблизился к городским воротам. Внезапно они заметили отряд солдат, выходящий из него, и Лукреций укрылся в одной из многочисленных гробниц, выстроившихся вдоль больших дорог за стенами. Они недолго пробыли в этом мрачном убежище, когда были застигнуты врасплох отрядом разорителей гробниц — упырей, которые бродили по этим дорогам по ночам и жили тем, что грабили гробницы или путников. К счастью, они хотели скорее ограбить, чем убить, и раб сдался им, чтобы они разделись, в то время как его хозяин, который, без сомнения, был переодет, возможно, рабом, ухитрился выскользнуть из их рук и благополучно добрался до городских ворот. Здесь он, как и следовало ожидать, дождался своего храброго товарища, а затем сумел пробраться в город и добраться до своего дома, где жена спрятала его между крышей и потолком одной из их спален, пока не утихнет буря.

Но ни жизнь, ни имущество не были в безопасности до тех пор, пока по крайней мере от одного из триумвиров не были получены какие-либо помилования и компенсации. Когда, наконец, Октавиан признал их, он сам отсутствовал в кампании, закончившейся при Филиппах, и Лепид был консулом, отвечавшим за Рим. Турии пришлось пойти к Лепиду, чтобы просить подтверждения милости Октавиана, и этот жестокий человек принял ее с оскорблениями. Она упала к его ногам, как с горьким негодованием описывает ее муж, но вместо того, чтобы поднять ее и поздравить, ее толкнули, избили, как рабыню, и прогнали прочь от него. Но ее настойчивость получила свою высшую награду. Милосердие Октавиана восторжествовало по возвращении в Италию, и такое обращение с мальчиком было одним из многих преступлений, которые в конечном итоге привели к деградации Лепида.

Это был последний из их опасных побегов. Их ожидал долгий период счастливой супружеской жизни, особенно после битвы при Акциуме, когда "были восстановлены мир и республика". Единственное, чего хотелось для завершения их совершенного счастья, — у них не было детей. Именно это побудило Турию сделать предложение своему мужу, которое, исходящее от по-настоящему бескорыстной женщины и рассматриваемое в свете римских представлений о супружеской жизни, далеко не противостоит естественности; но нам оно должно показаться удивительным, и оно повергло Лукреция в ужас. Она настаивала, чтобы он развелся с ней и взял другую жену в надежде на сына и наследника. Если взят нет ничего удивительного с римской точки зрения, то для нас действительно удивительно и трогательно, что она подкрепила свою просьбу обещанием, что она будет такой же матерью ожидаемым детям, как и их собственная мать, и все равно останется для Лукреция сестрой, у которой не будет ничего, кроме него, ничего тайного, и она не заберет с собой никакой части их наследства.

Нам, хладнокровно читающим это предложение всего через девятнадцать столетий после того, как оно было сделано, оно может показаться глупо невыполнимым; для нее, вся жизнь которой прошла в бескорыстной преданности интересам своего мужа, чья горячая любовь к нему всегда смешивалась с осмотнительностью, это был просто акт *pietas* — супружеского долга. И все же сам он ни на мгновение не мог так подумать: его возмущение при одной мысли об этом вечно живет на мраморе в виде пылающих слов. "Я должен признаться, - говорит он, - что гнев так разгорелся во мне, что мои чувства почти покинули меня: то, что вы когда-либо могли подумать, что нас может разлучить только смерть, было самым ужасным для меня. Что значила потребность в детях по сравнению с моей верностью тебе: почему я должен променять определенное счастье на неопределенное будущее? Но я больше ничего не скажу об этом: ты

осталась со мной, потому что я не мог уступить, не опозорив себя и не сделав несчастными нас обоих. Единственной горю, которое меня ожидало, было то, что мне было суждено пережить тебя".

Мы можем быть уверены, что эти двое были полностью достойны друг друга. Что бы она сказала о нем, если бы он ушел первым, мы можем только догадываться; но он оставил ее портрет в том виде, в каком она жила и работала в его доме, который, каким бы изуродованным он ни был, можно неадекватно перефразировать следующим образом:

"Ты была мне верной женой, - говорит он, - и послушной: ты была доброй и обходительной, общительной и дружелюбной; ты усердно занималась прядением (*lanificia*); ты следовала религиозным обрядам своей семьи и своего государства и не признавала никаких иностранных культов или деградировавшей магии (*superstitio*); ты не одевалась броско и не стремилась выставлять напоказ свое домашнее хозяйство. Ваш долг перед всем нашим семейством был образцовым: вы ухаживали за моей матерью так бережно, как если бы она была вашей собственной. У вас было множество других достоинств, общих со всеми другими достойными матронами, но те, о которых я упомянул, были исключительно вашими.

Никто не может изучать эту надпись, не убедившись, что она рассказывает неприкрашенную правду — что здесь действительно была редкая и драгоценная женщина; римская матрона самого лучшего типа, практичная, рассудительная, мужественная, простая в своих привычках и вежливая со всеми своими гостями. И мы чувствуем, что есть одно—единственное человеческое существо, о котором она всегда думает, которому она отдала все свое сердце, - муж, чьи слова и поступки показывают, что он был полностью достоин ее.

ГЛАВА VI

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШИХ КЛАССОВ

Из того, что было сказано в предыдущих главах об обязанностях и привычках двух слоев высшего слоя общества, легко сделать вывод, что требуемое образование зависело главным образом от характера. От этих людей, будь то для работы в бизнесе или правительстве, требовалась воля поступать хорошо и справедливо, а также инстинктивная ненависть ко всем злым и несправедливым поступкам. Такое воспитание воли и характера обеспечивается (какими бы ни были его недостатки в других отношениях) нашим английским государственным школьным образованием для людей, чья жизненная деятельность во многих отношениях удивительно похожа на деятельность римских высших классов. Такое образование также было намечено Аристотелем для людей его идеального государства; и картина вероятных результатов этого обучения, сделанная мистером Ньюменом, настолько наводит на мысль о том, в чем действительно нуждался Рим, что я могу процитировать ее здесь.[247]

"В результате в возрасте двадцати одного года мы можем представить себе загорелого и выносливого юношу, здорового телом и умом, способного переносить голод и тяжелый физический труд ... Не безразличного к занятиям, которые пробуждают в мужчинах интерес цивилизованных существ и готовят их к правильному использованию досуга в будущие годы, и хотя обремененного небольшими знаниями, обладающего развитым чувством прекрасного и укоренившейся любовью ко всему благородному и ненавистью ко всему обратному. Он был бы более культурным и человечным, чем лучший тип молодого спартанца, более физически сильным и благоговейным, хотя и менее интеллектуально развитым, чем лучший тип молодого

афинянина, — начинающим солдатом и слугой государства, а не, как большинство способных молодых афинян, начинающим оратором. И поскольку он был бы только на полпути к своему образованию в возрасте, когда многие греки уже закончили свое, он бы лучше осознавал собственную незрелость. Мы сразу чувствуем, насколько он отличался бы от умных парней, которыми кишели Афины, от молодежи с бесконечной способностью ковыряться в ямах и способной сказать что-нибудь правдоподобное по любому вопросу под солнцем".

Если мы вместе с мистером Ньюменом заметим, что Аристотель здесь уделяет, пожалуй, слишком мало внимания интеллектуальной подготовке (как, впрочем, можно сказать и о наших собственных государственных школах), и добавим к его картине еще кое-что из тех знаний, которые в сочетании с честной волей и здоровым телом почти безошибочно приведут к здравому суждению, мы получим тип характера, в высшей степени пригодный для выполнения обязанностей и испытаний правительства таких империй, как Римская и Британская. Но в Риме, в эпоху Цицерона, такой тип характера был действительно редкостью; и хотя это было вызвано различными причинами, некоторые из которых уже были замечены, — созданием римской империи до того, как римляне созрели для осознания обязанностей имперского государства, и внезапным появлением богатства в эпоху, когда идея его продуктивного использования была почти неизвестна, — однако каждому читателю придет в голову, что, должно быть, также было что-то неправильное в воспитании молодежи высших классов, чтобы объяснить редкость действительно здорового характера, частое отсутствие того, что мы должны были бы назвать правильным поведением. чувство долга, общественного и частного. В этой главе я предлагаю рассмотреть вопрос о римском образовании настолько, насколько это возможно, чтобы показать, где во времена Цицерона оно было главным недостатком. Это тема, которая была очень тщательно проработана, и превосходное изложение результатов можно найти в небольшом томе о римском образовании, написанном покойным профессором А.С. Уилкинсом незадолго до его печальной кончины: но он описывал его методы, не делая специальных ссылок на его недостатки, и именно на этих недостатках я хотел бы остановиться более подробно.[248]

Прежде всего, давайте обратим внимание, как мало говорится в литературе того времени, включая биографии, о том периоде жизни, который сейчас так интересен читателям мемуаров, так интересен нам самим, когда мы оглядываемся на него спустя годы. Возможно, мы сейчас преувеличиваем важность детства, но столь же несомненно и то, что римляне недооценивали его важность. Возможно, мы переоцениваем ценность нашей школьной жизни в государственных школах, но совершенно очевидно, что у римлян не было такой школьной жизни, которой можно было бы гордиться. Биография была в то время излюбленной формой литературы, и некоторые из написанных тогда мемуаров были доступны для использования более поздними авторами, такими как Валерий Максим, Светоний и Плутарх; и все же любопытно, как мало дошло до нас о детстве великих людей того времени. Плутарх действительно глубоко интересовался образованием, в том числе детским, и мы вряд ли можем сомневаться, что он использовал бы в своей римской жизни любую информацию, которая попала бы ему на пути. Он рассказывает нам кое-что, за что мы в вечном долгу перед ним, о методе воспитания своего сына старым Катон[249], а также кое-что из его *Жизни Эмилия Павла*, [250] о воспитании старшего сына этой семьи, великого Сципиона Эмилиана. Но в каждой из этих Жизней мы обнаружим, что эта информация используется скорее для того, чтобы показать характер отца, чем для иллюстрации воспитания сына; и, как правило, Жизни начинаются с происхождения героя, а затем сразу переходят к его ранней зрелости.

Однако жизнь младшего Катона является исключением из правила, которое мы должны приписать тому влечению, которое все историки и философы испытывали к этому необычному персонажу. Плутарх знал наивность и характер педагога Катона, Сарпедона[251], и говорит нам, что он был послушным ребенком, но спрашивал о причине всего, задавая вопросы, начинающиеся с "почему", которые часто ставят учителя в неловкое положение. Две истории во второй и третьей главах этого Жизнеописания также встречаются в безвкусной смеси фактов и басен, составленной во времена правления Тиберия Валерием Максимом в образовательных целях;[252] третью, которая особенно значительна и, кажется, несет на себе печать правды, можно найти только у Плутарха. Я привожу это здесь полностью:

"В другой раз, когда родственник в свой день рождения пригласил на ужин нескольких мальчиков и Катона с ними, чтобы скоротать время, они играли в какой-то части дома одни, младшие и старшие вместе: и игра состояла из обвинений, судебных процессов и ареста тех, кто был осужден. Теперь один из осужденных мальчиков, обладавший приятной внешностью, был утащен мальчиком постарше в камеру и заперт там, обратившись за помощью к Катону. Катон, видя, что происходит, подошел к двери и, растолкав тех, кто стоял на посту перед ней, чтобы помешать ему, вывел мальчика наружу; и в порыве гнева ушел с ним домой в сопровождении других мальчиков".

Это уникальная картина нравов и игр мальчиков в прошлом веке Республики. Как и дети всех времен, они играют в то, в чем видят своих отцов наиболее активными и заинтересованными; и в эту конкретную игру, должно быть, играли в несчастные годы гражданских войн и проскрипций, поскольку Катон родился в 95 году до н.э. Правдива ли роль, сыгранная Катонem в этой истории, или нет, урок для нас один и тот же, и мы найдем его полное подтверждение в ходе этой главы. Главной целью образования было овладение искусством ораторского искусства, и главное практическое применение этого искусства заключалось в том, чтобы дать человеку возможность приобрести репутацию адвоката в уголовных судах.[253]

У Цицерона был один мальчик, а в течение нескольких лет - два, за которыми нужно было присматривать: один - его собственный сын Марк, родившийся в 65 году до нашей эры, а другой - Квинт, сын его брата, на год старше. Об этих мальчиках, пока они не надели тогу вирилис, он почти ничего не упоминает в своих письмах к Аттику, хотя Атик был дядей старшего мальчика. Только когда его брат Квинт был с Цезарем в Галлии, мы действительно начинаем что-то слышать о них, и даже тогда не раз, после краткого упоминания о молодом Квинте, он сразу же уходит, чтобы рассказать своему брату о ходе строительства вилл, которые строятся для него. Но ясно, что отец хотел узнать о мальчике так же, как и о виллах; [254] и в одном письме мы находим, что Цицерон сообщает Квинту, что он хочет сам учить своего мальчика, как он учил своего собственного сына. "Я сотворю с ним чудеса, если смогу заполучить его к себе, когда у меня будет свободное время, потому что в Риме нет времени дышать (*nam Romae respirandi non est locus*)".[255] Ясно, что мальчики, которым в этом 54-м году было всего одиннадцать и двенадцать лет, получали домашнее образование, и столь же ясно также, что у Цицерона, который как раз в то время был очень занят при дворе, не было времени самому заниматься ими. Юный Квинт, как мы слышали, хорошо ладит со своим учителем риторики; Цицерон не вполне одобряет стиль, в котором его обучают, и думает, что, возможно, сможет научить его своему собственному, более ученому стилю, хотя сам мальчик, кажется, предпочитает декламационный метод учителя.[256] Любопытна последняя запись в этих письмах отсутствующему отцу:[257] "Я люблю твоего Цицерона так, как он заслуживает и как я должен.

Но я позволяю ему уйти от меня, потому что я не хочу разлучать его с хозяевами, и потому что его мать уезжает, а без нее я нервничаю из-за его жадности!" До этого момента он писал о мальчишке в самых теплых выражениях, но здесь, как это часто бывает в письмах Цицерона о других людях, неодобрение едва заметно, чтобы не задеть чувства его корреспондента.

Единственное, что действительно радует в этих намеках, - это искреннее желание обоих родителей, чтобы их мальчишки были добродушными и хорошо образованными. Но о реальном обучении или домашней дисциплине мы, к сожалению, не получаем ни малейшего намека. Мы должны обратиться в другое место за тем немногим, что мы знаем о воспитании детей. Давайте теперь ненадолго обратимся к этому, помня, что это означает родительский пример и дисциплину тела, а также приобретение элементарных знаний. К сожалению, от той эпохи, в которой говорилось о воспитании детей, не сохранилось ни одной книги. Варрон написал такую книгу, но мы знаем о ней немногим больше, чем ее название, *Catus, sive de liberis educandis*. [258] В четвертой книге своего "о Республке" Цицерон, кажется, имел дело с "детской дисциплиной", но из немногих сохранившихся фрагментов мало что можно узнать, и мы можем быть почти уверены, что Цицерон не мог написать об этом с большими знаниями или опытом. Самый известный отрывок - это тот, в котором он цитирует Полибия, обвиняющего римлян в пренебрежении этим; [259] конечно, добавляет он, они никогда не хотели, чтобы государство регулировало образование детей или чтобы все это было по одной модели; греки взяли на себя много ненужных хлопот по этому поводу. Греки его времени, которых знал Цицерон, не внушали ему никаких возвышенных представлений о результатах греческого образования; но нам хотелось бы знать, не выразил ли он в этой книге своего труда "О государстве" некоторого чувства, что от самих детей и, следовательно, от их обучения зависит судьба государства. Таково было чувство древних римлян, хотя их государство не устанавливало законов об образовании, а полагалось на силу традиций и обычаев. Старый Катон считал, что ведет себя как древний римлянин, когда ухаживает за мытьем и одеванием своего ребенка, и проявлял личную заботу к ребенку, когда тот рос, собственноручно выписывая для него книги крупными буквами. [260] Но со времен Катона идея государства утратила силу, и это оказало неблагоприятное влияние на образование, как и на супружескую жизнь. Единственная надежда эпохи, философия стоиков, была связана с теми, кто обрел разум, то есть с теми, кому исполнилось четырнадцать лет; с точки зрения стоиков, ребенок действительно был потенциально разумным и, следовательно, представлял интерес, но в стоической этике образование не занимает особого места. [261] Мы приходим к выводу, что настоящего интереса к образованию, отличному от приобретения знаний, не хватало в Риме во времена Цицерона, как это было до недавнего времени в Англии; и что он снова не пробудился до тех пор, пока христианство не сделало детей священными, а не наоборот. не только потому, что Учитель так говорил о них, но и потому, что они были наследниками вечной жизни.

И все же когда-то в Риме существовало домашнее образование, превосходно подходящее для воспитания расы выносливых и исполненных долга мужчин и женщин. Это было воспитание семейных добродетелей, которые впоследствии должны были быть использованы на службе государству. Мать сама воспитывала своих детей и заботилась о них с самых ранних лет. Затем последовало воспитание, которое мы можем назвать воспитанием в физической активности, поведении, религии и долге перед государством. Это правда, что у нас почти нет никаких свидетельств этого, кроме традиции; но когда Варрон в одном из драгоценных фрагментов своей книги об образовании описывает свое собственное воспитание в своем сабинском доме в Реате, мы можем быть совершенно уверены, что оно адекватно отражает воспитание старого

римского фермера.[262] Он рассказывает нам, что у него были только туника и тога, ему редко разрешали мыться, и его заставляли учиться ездить верхом без седла — что напоминает нам о жизни молодого бура из Трансвааля до последней войны. В другом фрагменте он также сообщает нам, что и мальчики, и девочки обычно прислуживали своим родителям за столом.[263] Катон старший во фрагменте, сохранившемся Фестом,[264] говорит, что с самых ранних лет его воспитывали бережливым, выносливым и трудолюбивым, и он постоянно работал на ферме (в стране Сабинян), в каменистом регионе, где ему приходилось копать и засеивать кремнистую почву. Традиция такого здорового воспитания осталась в памяти римлян и ассоциировалась с сабинянами центральной Италии, типом мужчин, которых можно было бы назвать *frugi*:

rusticorum mascula militum proles, Sabellis docta ligonibus versare glebas et severae matris ad arbitrium recisos portare fustis.[265]

Это было воспитание также в манерах поведения, и особенно в послушании [266] и скромности. В той главе из "*Жизни Катона*" Плутарха, которая уже цитировалась, после описания того, как отец учил своего сына ездить верхом, боксировать, плавать и так далее, он продолжает: "И он был так же осторожен, чтобы не произнести неприличного слова в присутствии своего сына, как если бы он был в присутствии девственниц-весталок". *Пудор* детства всегда почитался в Риме: "*adolescens pudentissimus*" - высшая похвала, которую можно воздать даже взрослому юноше;[267] и есть признаки того, что сохранилось ощущение определенной святости детства, которое Ювенал отражает в своих знаменитых словах "*Maxima debetur puero reverentia*". Происхождение этого чувства, вероятно, следует искать в том факте, что и мальчики, и девочки в древние времена воспитывались, чтобы помогать в выполнении религиозных обязанностей по дому, как камиллы и *camillae* (послушницы); и это, возможно, причина, по которой на протяжении всей римской истории они носили претекстовую тогу с пурпурной полосой, как магистраты и священники, приносящие жертвы.[268] Вряд ли нужно говорить, что эта религиозная сторона воспитания заключалась в обучении практике культа, а не в каком-либо вероучении или идеях о богах; но насколько это было возможно, его влияние было благотворным, поскольку прививало привычку к благоговению и чувство долга с самого раннего возраста. Хотя римляне времен Цицерона утратили свою старую убежденность в необходимости умилоствления государственных богов, вполне вероятно, что традиция семейного богослужения все еще сохранилась в большинстве семей.

Опять же, мы можем быть уверены, что идея долга перед государством не была упущена из виду в этом старомодном образовании. Катон писал истории для своего сына крупными буквами, "чтобы, не выходя из дома, он мог познакомиться с выдающимися деяниями древних римлян и обычаями своей страны": но знаменательно, что в следующих двух-трех поколениях составители анналов стали прославлять — и фальсифицировать — достижения членов своих собственных семей, а не государства в целом. Мальчики заучивали XII Таблицы наизусть, и Цицерон рассказывает нам, что он делал это в детстве, хотя с тех пор от этой практики отказались.[269] Мы можем себе представить, что этот древний свод законов действовал бы как своего рода катехизис правил, установленных государством для поведения своих граждан, и как напоминание о том, что, хотя государство переросло грубую юридическую одежду своего младенчества, оно с самого начала взяло на себя обязанность регулировать поведение своих граждан в их отношениях друг с другом. Опять же, говорят, что когда умирал великий римлянин,

родители брали своих мальчиков послушать надгробную речь в честь того, кто оказал большую услугу государству.[270]

Все это достойно восхищения, и если бы Рим не стал великим имперским государством, и если бы в естественном процессе развития можно было бы добавить какую-то сверхструктуру гуманитарных наук, она могла бы сохраняться веками как бесценная образовательная основа. Но условий, при которых она могла бы процветать, уже давно не существовало. Очевидно, что это полностью зависело от присутствия родителей и их интереса к детям; что касается мальчиков, то это зависело главным образом от отца. Теперь, с тех пор как римское владычество распространилось за море, то есть со времен первых двух Пунических войн, отец семейства часто должен был надолго уезжать из дома; возможно, ему приходилось годами участвовать в зарубежных войнах, и в бесчисленных случаях он никогда больше не видел Италию. Даже если бы он остался в Риме, постоянно растущие государственные дела занимали бы его гораздо больше, чем это было совместимо с постоянной личной заботой о его детях. Добросовестный римский отец последних двух столетий до нашей эры, должно быть, еще острее, чем английские родители в Индии, переживал горе разлуки со своими детьми в возрасте, когда они больше всего нуждаются в родительской заботе. Мы должны помнить, что во времена Цицерона написание писем лишь недавно стало возможным в широких масштабах благодаря растущему бизнесу публикани в провинциях (см. Выше, стр. 74); римский отец в Испании или Азии редко слышал о том, чем занимаются его жена и дети, и неизбежным результатом было то, что он начал переставать обращать на это внимание. Фактически, все больше и больше людей стали зависеть от матерей, как в случае с нашими собственными трудолюбивыми профессионалами; и у нас были основания полагать, что в последнюю эпоху Республики среднестатистическая мать не слишком часто была добросовестной или исполненной долга женщиной. Постоянная угроза развода, естественно, уменьшила бы ее интерес к своим детям, поскольку после расставания она не имела к ним никакого отношения. И это, без сомнения, одна из причин, почему в данный конкретный период мы так мало слышим о жизни детей. На самом деле нет оснований предполагать, что они сами были несчастливы; у них было множество игр, которые были настолько знакомы, что поэты часто упоминают о них — обручи, волчки, куклы, жмурки и любимые игры в "орехи" и "короля".[271] Но настоящий вопрос не в том, могли ли они наслаждаться своей юной жизнью, а в том, учились ли они использовать свое тело и разум с благой целью.

Когда мальчику было около семи лет, в большинстве семей возникал вопрос, должен ли он остаться дома или пойти в начальную школу.[272] Без сомнения, обычно это решалось средствами, доступными родителям. Богатый отец мог бы обеспечить своему сыну все его образование дома, предоставив репетитора (*pedagogus*) и более продвинутых учителей по мере необходимости. Катон действительно, как мы видели, находил время выполнять большую часть работы самостоятельно, но у него также был раб, который обучал его собственных и других детей. Для этой цели у Эмилия Павла в доме было несколько учителей под его собственным руководством.[273] Цицерон, как мы видели, тоже, по-видимому, воспитывал своего сына дома, хотя сам он, как говорят, посещал школу. Но мы можем предположить, что обычный мальчик из высших классов ходил в школу под присмотром педагога по греческому обычаю, вставал до рассвета и подчинялся суровой дисциплине, которая, наряду с абсолютной необходимостью для свободного римлянина достичь определенного уровня знаний, эффективно заставляла его учиться читать, писать и считать.[274] Эта элементарная работа, должно быть, была выполнена

хорошо; мы почти ничего не слышим о грубом невежестве или пренебрежительном отношении к образованию.

Однако в этой системе начального образования были очень серьезные недостатки. Не только сам школьный учитель, но и педагог, ответственный за поведение мальчика, почти всегда был либо рабом, либо вольноотпущенником; и ни раб, ни вольноотпущенник не могли быть объектом глубокого уважения для римского мальчика. Отсюда, без сомнения, необходимость поддержания дисциплины скорее посредством телесных наказаний (против которых римляне, по-видимому, никогда не возражали, хотя Квинтилиан критикует их)[275], чем моральной силы; факт, засвидетельствованный как в литературе, так и в искусстве. Опять же, ответственность, которая возлагалась на педагога за нравственность мальчика, должно быть, была еще одним стимулом для родителей отказаться от своей надлежащей работы по надзору.[276] И опять же, подавляющее большинство учителей были греками. Поскольку мальчик родился в двуязычном греко-римском мире, в котором греки были единственным культурным народом, это может показаться естественным и неизбежным; но мы знаем, что в глубине души римлянин презирал греков. Из свидетелей в их пользу мы могли бы ожидать, что Цицерон будет самым сильным, но Цицерон иногда дает нам понять, что он на самом деле думает об их моральном облике. В замечательном отрывке из своей речи в защиту Флакка, который полностью подтверждается замечаниями в его частных письмах, он говорит, что наделяет их всевозможными литературными и риторическими способностями, но что раса никогда не понимала и не заботилась о священной обязательной силе показаний, данных в суде.[277] Таким образом, римский мальчик оказался в аномальном положении, вынужденный подвергаться наказанию со стороны людей, которых как людей он презирал. Несомненно, нам не хотелось бы, чтобы наших государственных школьников обучали или наказывали люди низкого положения или с более низким уровнем морали - именно люди, а не методы, действительно влияют на образование; римский школьник нуждался в ком-то, кто верил бы в кого-то, кому был бы полностью предан; та же самая непреодолимая потребность, которая была столь очевидна в политическом мире Рима в прошлом веке до нашей эры[278]

Об этом элементарном учении здесь нет необходимости говорить, поскольку оно не имело прямого отношения к жизни и поведению. Однако есть в нем одна особенность, которая может привлечь наше внимание на мгновение. Как при чтении, так и при письме, а также для заучивания наизусть использовались *сентенции* [греч. *gnomai*], которые напоминают нам максимы из наших тетрадей. Из них у нас есть большая коллекция, более 700, отобранных из мимов Публилия Сира, который прибыл в Рим из Сирии в качестве раба в эпоху, о которой мы пишем, и после получения свободы приобрел большую репутацию автора многих популярных пьес подобного рода, в которые он ухитрялся вставлять эти мудрые изречения и сентенции. Маловероятно, что они попали в школы все сразу, но в период ранней империи мы находим, что Сенека старший уже упоминал их в качестве учебного материала[279], и мы можем рассматривать их как наглядный пример максим, уже использовавшихся во времена Цицерона, делая некоторую поправку на их превосходную аккуратность и мудрость. Вот несколько образцов, взятых почти наугад; будет видно, что в них много пронизательного здравого смысла, а иногда и истинной человечности, а также привкуса стоического *sapientia*. Я цитирую из превосходного издания мистера Бикфорда-Смита.[280]

Avarus ipse miseriae causa est suae.
Audendo virtus crescit, tardando timor.

Cicatrix conscientiae pro vulnere est.
Fortunam[281] citius reperias quam retineas.
Cravissima est probi hominis iracundia.
Homo totiens moritur, quotiens amittit suos.
Homo vitae commodatus, non donatus est.
Humanitatis optima est certatio.
Iucundum nil est, nisi quod reficit varietas.
Malum est consilium quod mutari non potest.
Minus saepe pecces, si scias quod nescias.
Perpetuo vincit qui utitur clementia.
Qui ius iurandum servat, quovis pervenit.
Ubi peccat aetas maior, male discit minor.

Я процитировал их, чтобы показать, что римские дети даже в раннем школьном возрасте имели возможность принять близко к сердцу многое из того, что могло бы привести их к хорошему и великодушному поведению в дальнейшей жизни, а также к практической мудрости. Но мы знаем судьбу наших собственных максим из учебника; мы знаем, что не благодаря им наши дети становятся хорошими мужчинами и женщинами, а благодаря примеру и несистематизированным предписаниям родителей и учителей. Никакие такие аккуратные [греческие гномы] не могут принести много пользы без санкции большей силы, чем любая другая, которая им присуща, и такой санкции нельзя было найти в феруле грамматика или педагога. И снова именно люди, а не методы обеспечивают реальную образовательную силу.

Вероятно, самой большой трудностью, с которой римскому мальчику приходилось сталкиваться в своей школьной жизни, было изучение арифметики; именно это, как мы можем себе представить, заставило его думать о своем учителе, как Гораций о достойном Орбилии, [282] как о человеке, умеющем наносить удары (*plagosus*). Здесь не место давать отчет о методах счета, использовавшихся в то время; они будут полностью объяснены в "*Приватлебене*" Марквардта и сжаты на страницу профессором Уилкинсом в его книге "*Римское образование*"[283]. Достаточно сказать, что они были столь же незаменимы, сколь и трудны в освоении. "От оратора ожидалось, согласно Квинтилиану (i. 10. 35), что он не только сможет произвести свои расчеты в суде, но и ясно показать своей аудитории, как он пришел к своим результатам". От мелкого трактирщика до крупного капиталиста - каждый деловой человек должен был чувствовать себя как дома при подсчете денежных сумм. Магистраты, особенно квесторы и эдилы, имели штат клерков, которые, должно быть, были опытными бухгалтерами; губернаторы провинций и все, кто был занят сбором дани с провинций, а также ссужением денег, чтобы дать возможность налогоплательщикам расплачиваться (см. Выше, 71 и далее), постоянно были заняты своими бухгалтерскими книгами. Более скромные жители Империи уже давно познакомились со способностями римлян к арифметике.[284]

Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo Musa loqui, praeter laudem nullius avaris. Romani pueri longis rationibus assem discunt in partes centum diducere. "Dicat films Albini: si de quincunce remota est uncia, quid superat? poteras dixisse." "triens." "eu! rem poteris servare tuam."[285]

Этот знакомый отрывок можно процитировать еще раз, чтобы проиллюстрировать практический характер преподавания в римской школе и цели, которым оно должно было

служить. Утилитарный до мозга костей, обычный римлянин, как и обычный британец, хотел, чтобы его сын преуспел в жизни; только родители более высокого класса приносили что-либо в жертву Музам, и то главным образом потому, что в общественной карьере *требовалось*, чтобы мальчик не был невежественным или невоспитанным.

Когда сын состоятельных родителей освоил необходимые азы, его перевели в школу более высокого типа, которую содержал некий *грамматик*, и там он впервые по-настоящему познакомился с литературой; и так продолжалось с тех пор, пока он не начал изучать риторику и философию, которые были основой его работы. Кстати, мы можем отметить, что естественные науки, то есть высшая математика и астрономия, считались во главе философии, в то время как медицина и юриспруденция стали профессиональными предметами, [286] для изучения которых необходимо было обратиться к опытному специалисту-практику, как в случае с военным искусством. В гимназиях, как мы можем их назвать, курс был чисто литературным и гуманистическим, и велся как на греческом, так и на латыни, но главным образом на греческом, что было естественным результатом сравнительной скудости латинской литературы. [287] Гомер, Гесиод и Менандр были любимыми изучаемыми авторами; только позже, после полного расцвета литературы времен Августа, латинские поэты, особенно Вергилий и Гораций, заняли место почти такого же значения. Изучение греческих поэтов, по-видимому, было тщательным. Она включала в себя изучение языка, грамматики, размера, стиля и предмета, а также сопровождалась чтением вслух, которое считалось очень важным, и заучиванием наизусть со стороны учеников. При обсуждении предмета любое количество комментариев было свободно предоставлено учителю, от которого действительно ожидалось, что у него на кончиках пальцев будут объяснения всевозможных аллюзий, и таким образом мальчики смогут почерпнуть много странных знаний и определенное количество истории, смешанной, конечно, с большим процентом бесполезной мифологии. "In grammaticis," says Cicero, "poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus." [288] Метод, если его можно так назвать, мало чем отличался от того, что применялось в наших собственных государственных школах, например, в Итоне, до появления новых методов и предметов. Ее большим недостатком в каждом случае было то, что она давала лишь мало возможностей научиться отличать факты от фантазий или приобрести ту научную привычку мышления, которая теперь становится необходимой для успеха во всех сферах жизни и которая в Риме была настолько редкой, что кажется дерзким заявлять о ней даже такому человеку действия, как Цезарь, или такому литератору, как Варрон. В Англии этот недостаток до некоторой степени компенсировался мужественным тоном школьной жизни, но в Риме эта сторона школьного образования отсутствовала, и результатом было отсутствие основательности как интеллектуальной, так и моральной.

Единственной спасительной чертой, данной действительно хорошему и возвышенному учителю, может быть обращение к примеру великих и добрых людей прошлого, как греческих, так и римских, и изучение мотивов их действий, удачи и зла. Это тот тип учения, который мы находим иллюстрированным в книге Валерия Максима, на которую уже ссылались, который делает предметом большинства своих глав какую—то особую добродетель или прекрасное качество [289] - fortitudo, patientia, abstinencia, moderatio, pietas erga parentes, amicitia и так далее, и иллюстрирует их примерами и историями, взятыми в основном из римской истории, частично также из греческого. Такого рода обращение к молодому уму, несомненно, было полезным, и лучшим результатом применения этого метода является бессмертный труд Плутарха "Жизнеописания великих людей Греции и Рима", составленный скорее в этических,

чем исторических целях. Но и здесь мы должны отметить серьезный недостаток. Любой, кто перелистает страницы "Валериуса", увидит, что эти истории о великих людях прошлого настолько оторваны от их исторического окружения, что вряд ли могли бы служить подспорьем в практическом поведении в жизни; они действительно могли бы принести положительный вред, заставив поверхностного мыслителя предположить, что то, что могло быть оправдано в свое время и при определенных обстоятельствах, например, цареубийство или разоблачение себя в бою, оправдано всегда и при любых обстоятельствах. Подобный призыв потерпел неудачу еще и потому, что отбил привычку размышлять о фактах и проблемах дня; и такие здравомыслящие люди, как Цицерон и Катон младший, оба страдали от этой слабости - чисто литературного воспитания с раннего возраста. Другим недостатком является то, что это учение неизбежно преувеличивало личный элемент в истории, причем в то самое время, когда личности привлекали к себе больше, чем им полагается, внимания мира; и таким образом великие уроки, которые Полибий пытался преподать греко-римскому миру, о поиске причин в исторических исследованиях и размышлениях о явлениях мира, в котором вы живете, были пропущены или забыты.

Но в той мере, в какой изучение языка, художественной дикции, ораторского искусства и интеллектуального чтения могло помочь мальчику подготовиться к жизни, это образование было хорошим; особенно хорошим в том смысле, что оно закладывало основу для овладения тем искусством ораторского искусства, которое со времен старого Катона было главной целью, к которой стремились все, кто намеревался принять участие в общественной жизни. Катон действительно хорошо сказал своему сыну: "Оратор есть, *Marce fili, vir bonus dicendi peritus*"[290], тем самым поставив этический отпечаток человека на первое место; и его "*remene, verba sequentur*" - ценный совет для всех изучающих и учителей литературы. Но все больше и больше целью всякого образования становилось искусство ораторского искусства, и особенно искусство, применяемое в судах, где во времена Цицерона ни истина, ни факты не были превыше всего, и где первое, что требовалось, это быть умным оратором, — во что бы то ни стало, если вы были к этому расположены. Но к этому мы еще вернемся.

В таких школах, если он не получал образования дома, мальчик оставался до тех пор, пока на него не надевали тогу вирилис, или пуру. В позднюю республику это обычно происходило между четырнадцатым и семнадцатым годами;[291] таким образом, двум молодым Цицеронам, по-видимому, обоим было по шестнадцать лет, когда они получили тогу вирилис, в то время как Октавиану и Вергилию было всего пятнадцать, а сыну Антония всего четырнадцать. В прежние времена представляется вероятным, что мальчик оставался "претекстатом" до семнадцати лет, возраста, в котором он был юридически способен к военной службе, и что он отправлялся прямо из дома на призыв;[292] в случае серьезного военного давления или если он сам этого хотел, он мог начать свои первые военные упражнения и даже действительную службу в претексте. Но, как и во многих других отношениях, здесь городская жизнь внесла изменения; в городе мальчики склонны быстрее развиваться в интеллекте, если не в теле, а поскольку тога вирилис была признаком юридической квалификации мужчины, они могли бы принести больше пользы семье в отсутствие отца, если бы надели ее несколько раньше, чем это было принято в первобытные времена. Обычай. Но жестких правил не существовало; мальчики развиваются с большими вариациями как умственно, так и физически, и, подобно итонскому воротничку наших школьников, тога детства может быть сохранена или сброшена полностью по усмотрению родителей.

Однако в этих двух случаях существует большая разница в том, что касается ношения мужской одежды. У нас это не означает независимости; как правило, мальчик остается в школе по крайней мере год или два в условиях строгой дисциплины. В Риме это, напротив, означало, что он был "совершеннолетним" и в глазах закона человеком, способным самостоятельно позаботиться о своем образовании и владеть собственностью. Это сохранилось с тех времен, когда в возрасте половой зрелости мальчика, как и у всех примитивных народов, торжественно принимали в ряды граждан и воинов; и торжественность римской церемонии полностью подтверждает это. После жертвоприношения в доме и посвящения его мальчишеской тоги и буллы *Lar familiaris* он был облачен в простую мужскую тогу (*libera, pura*) и проведен своим отцом или опекуном в сопровождении (в характерной римской манере, см. Ниже, стр. 271) друзей и родственников на Форум и, вероятно, также в табуларий под Капитолием, где его имя было внесено в список полноправных граждан.[293]

В связи с новым порядком, согласно которому мальчики могли юридически становиться мужчинами в более раннем возрасте, чем в старые времена, очевидно, что часто должен был пройти определенный промежуток времени, прежде чем они становились физически или умственно пригодными для получения профессии. Поскольку единственной гражданской профессией, к которой могли стремиться мальчики из знатных семей, была адвокатура, отец отправлял своего сына на это время к выдающемуся адвокату в качестве ученика. Таким образом, сам Цицерон был отдан в ученики авгуру Муцию Сцеволе; и точно так же молодой Целий, как только он надел свою тогу вирилис, был приведен своим отцом к Цицерону. Отношения между юношей и его наставником мало чем отличались от *contubernium* в военной жизни, в которой предполагалось, что генерал, которому был вверен юноша, несет ответственность за его благополучие и поведение, а также за его обучение военному искусству: так, Цицерон говорит о Целии [294], что в тот период его жизни никто никогда не видел его "кроме как с отцом или со мной, или в очень благоустроенном доме М. Красса" (который разделял с Цицероном опекуновство). "*Fuit assiduus mecum*", - говорит он чуть дальше. Этот вид обучения назывался *tirocinium fori*, в котором юноша должен был учиться на юриста, а также выполнять физические упражнения на Марсовом поле, чтобы быть готовым к службе в армии в одиночной кампании, которая все еще была желательной, если не абсолютно необходимой. Когда он произнес свою первую речь в суде, о нем говорили, что он *тироциниум понере*, [295] и если бы она имела успех, он мог бы впредь более тщательно посвятить себя искусству и практике ораторского искусства. Без сомнения, все по-настоящему амбициозные молодые люди, стремившиеся занять высокий пост и в конечном итоге стать провинциальным правительством, подобно Цезарю, стремились бы пройти квалификацию как для армии, так и для Форума. Цицерон, однако, чьи инстинкты не были военными, участвовал только в одной кампании, в возрасте семнадцати лет, и, по-видимому, он посоветовал Целию не делать ничего большего. Целий служил под командованием К. Помпей проконсул Африки, к которому он был прикреплен в качестве *контуберналиса*, выбрал эту провинцию, потому что у его отца там были поместья.[296] Только вернувшись с хорошей репутацией от Помпея, он продолжил демонстрировать свое ораторское мастерство, обвинив какого-то выдающегося человека — в данном случае Антония, который впоследствии был консулом вместе с Цицероном.[297]

Чтобы достичь ораторского мастерства, которое позволило бы ученику успешно выступить на Форуме, он должен был пройти тщательную подготовку в искусстве риторики. Цицерон не сообщает нам, сам ли он давал Целию уроки риторики или отправил его к профессиональному учителю; он сам написал трактат по части предмета — "*Об изобретении*" 80 г. до н.э., самое

раннее из всех своих прозаических произведений, — и поэтому был вполне в состоянии дать необходимые инструкции, если бы нашел для этого время. В задачу этой главы не входит объяснение значения риторики в том виде, в каком ее понимал тогда греко-римский мир, или теории риторического образования; для этого читателя следует отсылать к небольшой книге профессора Уилкинса[298] или, что еще лучше, к главному источнику наших знаний, *Институту ораторского искусства* Квинтилиана. Здесь, однако, можно кое-что сказать о точке зрения самого Цицерона на риторическую подготовку, которая очень ясно выражена в отрывке из только что упомянутого трактата и часто более или менее прямо повторяется в его более поздних и более зрелых работах по ораторскому искусству.

"После долгих размышлений, - говорит он, - я пришел к выводу, что мудрость без красноречия мало полезна для государства, в то время как красноречие без мудрости часто положительно вредно и никогда не приносит никакой пользы. Таким образом, если человек, отказавшись от изучения разума и долга, которые всегда абсолютно честны, тратит все свое время на ораторскую практику, его воспитывают как помеху его собственному развитию и опасного гражданина ". Это напоминает нам высказывание Катона о том, что оратор - это "vir bonus dicendi peritus". Менее ярко выраженная, та же точка зрения также содержится в отрывке из другого, более зрелого трактата по риторике, написанного автором, имя которого неизвестно, за год или два до работы Цицерона: "Non enim parum in se fructus habet copia dicendi et commoditas orationis, si recta intelligentia et definita animi moderatione gubernetur".[299] Мы можем предположить, что в ранние годы правления Цицерона лучшие люди чувствовали, что риторическое искусство, если оно должно было представлять реальную ценность для личности и общества. государство должно использоваться осмотрительно и сопровождаться высокими целями и честным поведением.

Однако спустя поколение после того, как были написаны эти мудрые слова, письма Целия показывают нам, что этим искусством пользовались совершенно непредусмотрительно и в ущерб как государству, так и отдельным людям. Высокий идеал культуры и поведения был утрачен в реальной практике ораторского искусства, в эпоху упадка, полную мелких амбиций и вражды. Мы сами слишком хорошо знаем, как вещь, хорошая сама по себе как средство, склонна терять свою ценность, если ее возводить на место цели; — как молодой ум склонен превращать крикет, футбол, гольф в главный объект всей человеческой деятельности. Так было и с риторикой; это было необходимое приобретение, позволяющее человеку в полной мере наслаждаться игрой на Форуме, и, таким образом, в образовании оно стало основным товаром. Сам процесс овладения им, без сомнения, был отличным интеллектуальным упражнением — изучение правил композиции, упражнения в применении этих правил, то есть написание тем или эссе (proposita, communes loci), в которых ученик должен был "найти и упорядочить свои собственные факты"[300], а затем declamatio, или упражнение в фактическом выступлении на заданную тему, которое во времена Цицерона называлось causa, а позже стало известно как controversia.[301] Такая практика, должно быть, выявила большой талант и изобретательность, как в наших собственных школьных дискуссионных обществах. и колледж. Но в нем было два больших недостатка. Во-первых, как указывает профессор Уилкинс, темы декламации слишком часто не имели никакого отношения к реальной жизни, например, были взяты из греческой мифологии; или, если и были менее бесплодными, чем обычно, были гораздо более банальными и плоскими, чем темы наших дискуссионных обществ. Разглагольствовать о том, что лучше - жизнь юриста или солдата, вряд ли так вдохновляет, как обсуждать злободневный вопрос об Ирландии или Индии, который учит как живым фактам, так и правилам ораторского

искусства. Во-вторых, вся цель этой "завершающей" части образования мальчика была ложной. Даже превосходный Квинтилиан, лучший из всех римских учителей, считал, что государственный деятель (*civilis vir*) и оратор идентичны: что государственный деятель должен быть *vir bonus*, потому что *vir bonus* делает лучшего оратора; что он должен быть разумным по той же причине.[302] И цель ораторского искусства - "*id agere, ut iudici quae proposita fuerint*, вера и честность*видеосъемка*":[303] т. е. целью является не истина, а убеждение. Мы могли бы получить представление о том, как такое обучение не смогло бы сформировать характер, если бы могли представить, что все наше гуманитарное образование подчинено практике журналистики. Но, к счастью для нас, в наш научный век слова и их употребление больше не служат основой образования или главным воспитанием юной жизни. Нам нужно видеть факты, понимать причины, отличать объективную правду от правды, отраженной в книгах. Но совершенное образование должно быть искусным сочетанием двух методов; и, возможно, было бы также полезно позаботиться о том, чтобы мы не теряли контакта с лучшими мыслями лучших людей, потому что они содержатся в литературе, которой мы проявляем некоторые признаки пренебрежения. Мы можем сказать о науке то, что Цицерон сказал о риторике: она не может обойтись без *sapientia*.

О философских школах я уже кое-что говорил в предыдущей главе, и поскольку изучение философии вряд ли было частью обычной учебной программы в собственном смысле этого слова, я опускаю это здесь. Философа обычно можно было встретить в богатых домах, и если бы он был здоровым человеком, а не Филодемом, он, несомненно, мог бы оказать хорошее влияние на молодого человека. Или же юноша может отправиться в Афины, или на Родос, или в какой-нибудь другой греческий город, чтобы послушать лекции какого-нибудь известного профессора. Цицерон слушал эпикурейца Федра в Риме, а затем Академика Филона, который оказал длительное влияние на его ученика, а затем, в возрасте двадцати семи лет, отправился на два года в Грецию, где учился в Афинах, на Родосе и в других местах. Цезарь также отправился на Родос, и они с Цицероном оба посещали лекции Молона по риторике, лекции по изучению которой, как и по философии, должны были звучать во всех великих греческих городах.[304] Цицерон отправил своего собственного сына в "Афинский университет" в возрасте двадцати лет, дав ему достаточное содержание и, несомненно, много хороших советов. Молодой человек вскоре превысил свои карманные расходы и влез в долги; добрым советом он, похоже, не воспользовался и фактически доставил своему отцу немало беспокойства.

Следующее письмо, которое, по-видимому, показывает, что юноше, имевшему прекрасные возможности, все еще могло не хватать принципиальности и самоконтроля, - единственное, сохранившееся из писем студентов того времени. Оно было написано молодым Цицероном после того, как он раскаялся и взялся исправляться, но не самому своему отцу, а верному другу и вольноотпущеннику своего отца Тиру, который впоследствии отредактировал сборник писем, в который он его вставил.[305] В целом это приятное письмо, и, кажется, оно демонстрирует настоящую привязанность к Тиро, который знал писателя с младенчества. Это немного странный выбор слов, возможно, слегка риторический. Пусть читатель сам решает, является ли это совершенно прямым и подлинным. В любом случае, на этом можно удачно завершить эту главу.

"День за днем я с нетерпением ожидал разносчиков писем, когда, наконец, они прибыли через сорок шесть дней после того, как расстались с вами. Я был очень рад их приезду. Я получил

величайшее из возможных удовольствий от письма самого доброго и горячо любимого из отцов, но ваше собственное восхитительное письмо добавило завершающий штрих к моей радости. Так что я больше не раскаиваюсь в том, что на время прекратил писать письма, но скорее рад, что сделал это, ибо мое молчание принесло мне большую награду в виде вашей доброты. Я действительно очень рад, что вы без колебаний приняли мое оправдание.

"Я уверен, мой дорогой Тиро, что сообщения обо мне, которые доходят до тебя, отвечают твоим лучшим пожеланиям и надеждам. Я сделаю их хорошими и сделаю все возможное, чтобы это начало хорошего репортажа обо мне можно было повторять ежедневно. Так что вы можете с полной уверенностью выполнить свое обещание стать трубачом (букцинатором) моей репутации. Ибо ошибки моей юности причинили мне столько угрызений совести и страданий, что не только мое сердце сжимается от того, что я сделал, — даже моим ушам отвратительно упоминание об этом. Я точно знаю, что вы разделяли мои беды и горести, и я не удивляюсь; вы всегда желали мне добра не только ради меня, но и ради вас самих. Итак, поскольку я был средством причинить вам боль, теперь я позабочусь о том, чтобы вы почувствовали двойную радость из-за меня.

"Позвольте мне сказать вам, что я привязан к Кратиппу скорее как сын, чем как ученик: я получаю удовольствие от его лекций, но особенно я очарован его восхитительными манерами. Я провожу с ним целые дни и часто часть ночи, потому что приглашаю его ужинать со мной так часто, как только могу. Мы настолько сблизились, что он часто неожиданно заглядывает к нам за обедом, отбрасывает чопорный вид философа и с величайшей доброжелательностью присоединяется к нашим шуткам. Это такой человек, такой восхитительный, такой выдающийся, что тебе следует познакомиться с ним как можно скорее. Что касается Бруттия, я никогда не позволяю ему покидать меня. Он человек строгой и нравственной жизни, а также является самой восхитительной компанией. Конечно, совсем не обязательно, чтобы в наших ежедневных занятиях литературой вообще не было никакого веселья. Я снял квартиру неподалеку от него и, насколько могу из своих грошей, поддерживаю его скудные средства. Я также начал практиковаться в декламации по-гречески с Кассием; по латыни мне нравится практиковаться с Бруттием. Мои близкие друзья и ежедневная компания — это те, кого Кратипп привез с собой из Митилены, — хорошие ученые, о которых он самого высокого мнения. Я также часто встречаюсь с Эпикратом, ведущим человеком в Афинах, и Леонидом, и другими людьми в этом роде. Итак, теперь вы знаете, чем я занимаюсь.

"В своем письме вы что-то говорите о Горгии. Дело в том, что я находил его очень полезным в своей повседневной практике декламации, но я ставил наставления моего отца превыше всего остального, а он написал мне, чтобы я немедленно отказался от Горгия. Я бы не стал стесняться этого, опасаясь, что мой шумиха может заронить какие-то подозрения в голову моего отца. Более того, мне пришло в голову, что с моей стороны было бы оскорбительно выражать мнение о решении моего отца. Однако ваш интерес и совет приветствуются и приемлемы.

"Я с готовностью принимаю ваши извинения за нехватку времени, поскольку знаю, как вы всегда заняты. Я очень рад, что вы купили поместье, и примите мои наилучшие пожелания успеха вашей покупки. Не удивляйтесь моим поздравлениям, пришедшим в этом месте моего письма, поскольку именно в соответствующем месте вашего вы сообщили мне об этом. Ты должен отбросить свои городские манеры (*urbanitates*); ты "рустикус Романус"! Как ясно я вижу твое дорогое лицо передо мной в этот момент! Я, кажется, вижу, как ты покупаешь продукты для

фермы, разговариваешь со своим управляющим, прячешь семена для десерта в плаще. Но что касается денег, мне жаль, что меня не было рядом, чтобы помочь тебе. Не сомневайся, мой дорогой Тиро, в том, что я помогу тебе в будущем, если только удача будет на моей стороне, тем более что я знаю, что это поместье было куплено для нашей взаимной выгоды. Что касается моих поручений, о которых вы беспокоитесь, большое спасибо! Я прошу вас прислать мне секретаря при первой возможности, если возможно, грека: он избавит меня от многих хлопот по переписыванию записок. Прежде всего, позаботься о своем здоровье, чтобы мы могли когда-нибудь вместе побеседовать о литературе. Я рекомендую тебе Антероса. Adieu."

ГЛАВА VII

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

В последнюю эпоху Республики использование рабского труда достигло высшей точки в древней истории.[306] Мы уже встречались с доказательствами этого при изучении жизни высших классов; в настоящей главе мы должны попытаться обрисовать, во-первых, условия, при которых стало возможным возникновение и процветание такой обширной рабовладельческой системы, и, во-вторых, экономические и этические результаты этого как в городе, так и в деревне. Тема действительно слишком обширна и сложна, чтобы ее можно было рассмотреть в одной короткой главе, но наша цель на протяжении всей этой книги - лишь дать такую картину общества в целом, которая может побудить изучающего к дальнейшему и более точному исследованию.

Мы видели, что два высших класса общества были заняты в бизнесе различного рода, и особенно в банковском деле и выполнении государственных контрактов, или в работе правительства, и в сельском хозяйстве Италии. Весь этот бизнес, государственный и частный, требовал огромного количества рабочей силы, и частично квалифицированной; великие люди обеспечивали капитал, но детали работы, в том виде, в каком она постепенно развивалась со времен войны с Ганнибалом, создали спрос на рабочих всех мастей, какого никогда прежде не знал греко-римский мир. Клерки, бухгалтеры, посыльные, а также оперативные работники были нужны как правительству, так и частным капиталистам. В семьях богатых значительный рост богатства и роскоши привел к постоянному спросу на прислугу всех видов, каждая из которых обладала определенной квалификацией в своей конкретной области; а в поместьях за городом, которые неуклонно увеличивались в размерах и имели тенденцию к все большей капиталистической обработке, все больше требовалась рабочая сила, как квалифицированная, так и неквалифицированная. Таким образом, спрос на рабочую силу был ненормально велик и создавался с ненормальной быстротой, и предложение не могло быть обеспечено только свободным населением. Низшие классы города и деревни не подходили для желаемой работы ни по способностям, ни по склонностям. Не подобало свободному римлянину быть на побегушках у работодателя, как современные клерки и подчиненные, или выполнять функции слуги в большом доме; и для выполнения большей части необходимой работы он не был достаточно хорошо образован. Гораздо меньше у него было возможности работать на больших пастбищах для скота. И государство хотело потратить лучшие годы его жизни на службу в армии, которая, как было хорошо замечено, была настоящей отраслью римского свободного человека. Но, к счастью в одном смысле, а в другом, к несчастью, для Рима существовал бесконечный запас рабочей силы любого качества и способностей, поскольку те же самые ненормальные обстоятельства, которые создали спрос, обеспечивали и предложение. Великие

войны и богатство, полученное в результате них различными путями, породили класс капиталистов, нуждающийся в рабочей силе, а также создали рынок рабов в таких масштабах, каких мир никогда не знал ни до, ни после.

Со времен Александра и войн его преемников друг с другом и со своими соседями, вероятно, количество пленных, продаваемых в рабство, увеличивалось; и во втором веке до нашей эры маленький остров Делос стал использоваться как удобный центр работорговли. Страбон говорит нам в хорошо известном отрывке, что 10 000 рабов могли быть проданы там за один день.[307] Но сам Рим во времена Цицерона был великим торговым центром рабов; войны, которые приводили к наибольшему количеству пленных, долгое время велись в центре и на западе Средиземноморского бассейна. Все армии, отправленные из Рима, сопровождались спекулянтами в этой торговле, которые покупали пленников по мере того, как они выставлялись на аукцион после сражения, а затем предпринимали перевозку в Рим всех, кто подходил для работы в Италии или не был куплен в провинции, которая была очагом войны. Огромное количество рабов, ставших доступными таким образом, даже если мы примем во внимание неопределенность цифр в том виде, в каком они дошли до нас, превосходит всякое предположение; мы можем привести несколько примеров, достаточных, чтобы дать некоторое представление о практике, которая имела длительные и плачевные последствия для римского общества.

После кампании при Пидне и свержения Македонского царства Эмилий Павел, один из самых гуманных римлян, продал в рабство по приказу сената 150 000 свободных жителей общин в Эпире, которые в войне были на стороне Персея.[308] Говорят, что после войны с кимврами и тевтонами было продано 90 000 последних и 60 000 первых;[309] и хотя цифры могут вызывать подозрения, поскольку они снова составляют 150 000, факт огромного захвата находится за пределами понимания. вопрос. Цезарь, как и Эмилий Павел, один из самых гуманных римлян, сам рассказывает нам, что в единственном случае, при взятии Адуатучи, он продал 53 000 пленных на месте.[310] И, конечно, каждая война, большая или малая, хотя и сокращала свободное население в результате резни, мора или пленения, увеличивала количество рабов. Сам Цицерон после своей кампании в Киликии и взятия крепости на холме Пиндониис поступил, конечно, так же, как и все другие военачальники; мы мельком видим этот процесс в письме Аттику: "*mancipia venibant Saturnalibus tertiis*".[311] Вряд ли нужно указывать, что мы совершенно неправильно понимаем нашу историческую перспективу, если позволяем себе ожидать от этих культурных римских генералов каких-либо признаков сострадания к своим жертвам; смотреть на людей, которые сдались, было частью их ментального наследия. как простую добычу, собственность победителей; римских пленников постигла бы та же участь, и даже к ним никогда не испытывали жалости. Когда Цезарь в 49 году в течение нескольких месяцев распустил две сдавшиеся армии римских солдат, один раз при Корфиниуме и снова в Испании, он, несомненно, действовал из политических побуждений, но порабощение римских граждан их собратьями, как мы можем надеяться, было бы противно ему, если не его собственным солдатам.[312]

Война тогда была основным источником снабжения рабами, но не единственным. Когда работорговля будет в самом разгаре, ее будут поощрять всеми возможными способами. Разбой и похищение людей были широко распространены по всей Империи и в странах за ее пределами в те беспокойные времена, с которыми мы имеем дело. Пираты Киликии, пока они не были подавлены Помпеем в 66 году, кишели по всему Средиземноморью и захватывали жертв

во время набегов даже на побережье Италии, беспрепятственно продавая их на рынке на Делосе. Цицерон в своей речи в поддержку назначения Помпея упоминает, что высокородные дети были увезены из Мизена прямо на глазах римского претора.[313] Сам Цезарь был схвачен ими, когда был молодым человеком, и лишь с трудом спасся. В самой Италии, где не было полицейской защиты до тех пор, пока Август не взял это дело в свои руки, похищения людей ни в коем случае не были чем-то необычным; *грассаторы*, как их называли, часто сбегали из тюрем крупных поместий, бродили по дорогам общего пользования, и многие путешественники исчезали таким образом и проводили остаток своей жизни в невольничьих тюрьмах.[314] Варрон, описывая тип рабов, наиболее подходящих для работы на больших овчарнях, говорит, что они должны быть достаточно сильными, чтобы защищать стада от диких зверей и разбойников - те, кто был достаточно сильным, чтобы защищать стада от диких зверей и разбойников. последние, несомненно, столь же готовы захватывать людей, как овец и крупный рогатый скот. И работорговцы, по-видимому, постоянно вели свою торговлю в регионах, где не велись войны и где можно было приобрести желанных рабов; королевства Малой Азии были разграблены ими, и когда Марий попросил Никомеда, царя Вифинии, прислать солдат во время борьбы с кимврами, он получил ответ, что посылать было некого — там работали работорговцы.[315] Каждый помнит строку Горация, в которой он называет одного из этих негодяев "царем Каппадокии".[316]

Существовали еще два источника поставок рабов, о которых, однако, здесь нет необходимости говорить, поскольку вклад, который они вносили, был сравнительно невелик. Во-первых, рабы были выведены из рабов, и в сельских поместьях это часто делалось как вопрос бизнеса.[317] Варрон рекомендует эту практику на крупных овцеводческих фермах, [318] при определенных условиях; и некоторые хорошо известные строки Горация предполагают, что на небольших фермах, где требовался лучший класс рабов, эти домашние рабы рассматривались как признак богатого дома, "*ditis ex amen domus*".[319] Во-вторых, определенное количество рабов стало таковыми по закону долга. Это был распространенный источник рабства в ранние периоды римской истории, но во времена Цицерона мы не можем говорить об этом с уверенностью. Мы обратили внимание на крик огорченных городских свободных в "заговоре Катилины", который выглядит так, как будто старый закон все еще действовал; и в стране есть признаки того, что мелкие собственники, которые брали займы у крупных, находились во времена Варрона в нескольких измененных условиях рабства, [320] отдавая свой труд вместо оплаты. Но все эти внутренние источники рабства ничто по сравнению с запасами, создаваемыми войной и работорговлей.

Таким образом, это предложение было практически неограниченным, цены были сравнительно низкими, и ни один римлянин со сколь-нибудь значительными средствами вообще не нуждался или не был полностью лишен рабов. Ему нужно было только пойти или послать своего агента на один из городских невольничьих рынков, таких как храм Кастора, [321] где агенты по продаже рабов (*manipones*) выставляли свой "товар" под наблюдением эдилов; там он мог выбрать именно того раба, который ему был нужен, по любой цене, эквивалентной 10 фунтам стерлингов и выше. Несчастный человек выставлялся точно так же, как лошади сейчас, и его можно было раздевать, трогать, водить рысью и обращаться с ним со всеми видами унижения, и, конечно, при продаже людей применялись те же уловки, которые знакомы всем торговцам лошадьми в наши дни.[322] Покупатель, если бы он хотел ценный предмет, например, грек, который мог выполнять функции секретаря или библиотекаря, как любимый Тирон Цицерона, или даже домашний раб с особым отличием в приготовлении пищи или другой специализированной

работе в роскошной семье, был бы рад приобрести ценный предмет. приходится давать высокую цену; еще во времена Катона старшего за единственного отборного раба можно было дать очень крупную сумму, и Катон в качестве цензора в 184 году попытался сдержать такие высокие цены, увеличив пошлины, подлежащие уплате при продаже.[323] Ближе к концу республиканского периода у нас мало явных свидетельств цен; Цицерон постоянно упоминает своих рабов, но не их стоимость. Несомненно, за модные изделия могли потребовать огромные цены; Плиний сообщает нам, что Антоний, когда был триумвиром, купил двух мальчиков-близнецов более чем за 800 фунтов стерлингов за штуку, которые, без сомнения, предназначались для красивых пажей, возможно, чтобы понравиться Клеопатре.[324] Но не может быть сомнений в том, что обычные рабы, способные выполнять только черную работу в городе или деревне, в то время продавались довольно дешево, и их количество только в городе, должно быть, было очень велико.

К сожалению, совершенно невозможно сделать даже вероятную оценку общего числа в Риме; данные отсутствуют. Белох[325] метко замечает, что, хотя некоторые семьи владели сотнями рабов, число таких семей было невелико, цитируя слова Филиппа, трибуна 104 года до н.э., о том, что в государстве насчитывалось не более двух тысяч сколько-нибудь состоятельных людей.[326] Подавляющее большинство граждан, живших в Риме, не имели, по его мнению, рабов. Он вынужден взять за основу расчета соотношение рабов к свободным в единственном городе Империи, о котором у нас есть определенная информация на этот счет; в Пергаме на двух свободных приходилось одного раба.[327] Предполагая, что все свободное население составляло около полумиллиона человек во времена Августа, или, скорее, больше, включая перегрины, он, таким образом, приходит к численности рабов примерно в 280 000 человек; возможно, это недалеко от истины, но следует помнить, что это не более чем предположение.

Сказанное выше дало читателю некоторое представление об условиях жизни, которые создали большой спрос на рабочую силу в последние два столетия до нашей эры, и об обстоятельствах, которые вызвали обильное предложение несвободной рабочей силы для удовлетворения этого спроса. Теперь я предлагаю рассмотреть весь вопрос о римском рабстве с трех точек зрения: экономической, юридической и этической. Другими словами, мы должны спросить: (1) как изобилие рабского труда повлияло на социальную экономику свободного населения; (2) каково было положение раба в глазах закона с точки зрения обращения и шансов на освобождение; (3) каковы были этические последствия этой великой рабовладельческой системы как для самих рабов, так и для их хозяев.

1. С экономической точки зрения наиболее интересный вопрос заключается в том, серьезно ли мешал рабский труд развитию свободной промышленности; и, к сожалению, ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно. Мы все можем легко догадаться, что возможности свободного труда, должно быть, были ограничены наличием огромного количества рабов; но разобраться в фактах - это другой вопрос. В отношении сельского рабства у нас есть некоторые свидетельства, на которые можно опираться, как мы увидим непосредственно, и в последнее время они были собраны и использованы; но что касается труда в городе, то подобных исследований пока не проводилось [328], и материал одновременно менее плодотворен и более сложен в обращении. Здесь должно быть достаточно нескольких слов по этому последнему пункту.

Мы видели в главе II. что в Риме было много работы для свободных людей. Фридлиндер, на которого нельзя сослаться ни в одном более высоком авторитете в области социальной жизни

города, заходит так далеко, что утверждает, что даже при ранней империи свободный человек всегда мог получить работу, если бы захотел;[329] и даже если мы примем это за несколько преувеличенное утверждение, оно может послужить удержанием нас от того, чтобы броситься в другую крайность и представить себе популяцию праздных свободных нищих. На самом деле, основываясь на общих доказательствах, мы вынуждены предположить для нашего времени, что он в основном прав; бедный свободный римлянин должен был как-то жить, и дешевое зерно, которым он наслаждался, давалось ему бесплатно только за несколько лет до того, как Республике пришел конец.[330] Откуда у него были деньги, чтобы заплатить хотя бы за шесть ослов и треть за модий зерна или за кров и одежду, которые, несомненно, нельзя было получить даром? Мы снова знаем, что гильдии ремесленников (см. Выше, стр. 45) продолжали существовать в последнем столетии Республики, [331] хотя большинство из них пришлось подавить из-за их неправильного использования в качестве политических клубов. Предположив, что члены этих коллегий были мелкими нанимателями рабочей силы, разумно предположить, что труд, который они использовали, был по крайней мере в значительной степени бесплатным; поскольку капитал, необходимый для вложения, с некоторым риском, в достаточное количество рабов, которых нужно было бы содержать и кормить, и чья жизнь была бы неопределенной в перенаселенном и нездоровом городе, не мог, мы должны предположить, быть легко найден такими людьми. Тут и там, без сомнения, мы находим следы рабского труда на фабриках, например, еще во времена Плавта, если мы можем считать, что он писал о Риме, а не переводил с греческого:

An te ibi vis inter istas versarier
Prosedas, pistorum amicas, reginas alicarias,
Miseras schoeno delibutas servilicolas sordidas?[332]

Poenulus, 265 фолл.

Но в целом мы можем со всей должной осторожностью, за неимением полного исследования вопроса, предположить, что римские рабы по большей части принадлежали знатым и богатым семьям и использовались ими в какой-либо значительной степени не в производительной промышленности, а для удовлетворения роскошных потребностей домашнего хозяйства[333]. По всей вероятности, исследования покажут, что свободный труд был гораздо более доступен, чем мы склонны думать. Мы не слышим о вспышках недовольства рабским трудом, которые могли бы свидетельствовать о соперничестве между ними. Мы можем думать, что рабский труд заполнил пробел, созданный ненормальными обстоятельствами, и не вытеснил свободный труд полностью; но он имел тенденцию постоянно ограничивать его и, несомненно, сформировал представления о труде в целом, которые способствовали его деградации [334]. Те огромные городские семьи, о которых историк рабства подробно рассказал во втором томе [335], относятся скорее к ранней империи, чем к последним годам Республики — свидетельства о них почерпнуты главным образом у Сенеки, Ювенала, Тацита, Марциала и т. Д.; Но те свидетельства, которые мы имеем для эпохи Цицерона, по-видимому, предполагают, что обширные дворцы капиталистов, которые Саллюстий описывает как почти как города [336], уже начали обслуживаться городской семьей, что сделало их почти независимыми от государства. любая помощь извне в виде труда или покупки. Не только обычная домашняя прислуга всех мастей, но и переписчики, библиотекари, педагоги в качестве наставников для детей и даже врачи - все они находились в таких семьях в рабском положении, не считая огромного числа

тех, кто, по-видимому, всегда был доступен в качестве сопровождения, когда великий человек путешествовал по Италии или провинциям. Валерий Максим сообщает нам [337], что Катон цензор в качестве проконсула Испании взял с собой только трех рабов, а у его потомка Катона Утикийского во время гражданских войн было двенадцать; поскольку оба эти человека были чрезвычайно бережливы, из этого отрывка мы можем составить представление как об увеличении количества рабов, так и о гораздо большем эскорте, сопровождавшем обычного богатого путешественника.

Что касается сельской семьи, работающего населения фермы, то свидетельства гораздо более определенные. Старая римская ферма, на которой отец семейства жил со своей женой, детьми и рабами, была, без сомнения, подобна староанглийскому поместью, по большей части самодостаточному, мало что делающему в плане продажи или покупки, и на ней работали все члены семьи, как рабы, так и свободные. В середине второго века до нашей эры, когда Катон написал свой трактат о земледелии, мы обнаруживаем, что произошли изменения; хозяин может лишь изредка посещать ферму, чтобы убедиться, что управляющий рабами [338] (виллик) должным образом управляет ею, и бизнес ведется по капиталистическим принципам, то есть с целью получения максимально возможной прибыли от продажи ее продукции. Таким образом, Катон особенно настаивает на том, чтобы ферма располагалась таким образом, чтобы иметь легкое сообщение с торговыми городами, где можно было продавать вино и масло, которые были основными продуктами, и где можно было дешево купить различные предметы первой необходимости, такие как керамика и изделия из металла всех видов.[339] Таким образом, ферма не полностью зависит от труда своей собственной семьи; тем не менее она все еще покоится на экономической основе рабского труда. Для оливкового дерева в 240 югерин Катон считает, что необходимых рабочих рук тринадцать, и все несвободные; для виноградника в 100 югерин - шестнадцать; и эти цифры, без сомнения, невелики, если вспомнить его склонность к скупости и стремлению к прибыли.[340] Должен был быть свободный труд, и время от времени он был необходим; в самом начале своей работы Катон (гл. 4) настаивает на том, что владелец должен быть хорошим и дружелюбным соседом, чтобы он мог легко получить не только добровольную помощь, но и наемных рабочих (*operarii*). Они были особенно необходимы во время сбора урожая, когда требовались дополнительные руки, как в наших хмелеводческих садах, для сбора оливок и сбора урожая. Иногда работа поручалась подрядчику, и он давал четкие указания (в гл. 144 и 145) относительно их выбора и контрактов, которые с ними заключались; не ясно, использовал ли в этом случае подрядчик (искупитель) полностью бесплатный или рабский труд, но кажется очевидным, что по крайней мере часть из них была бесплатной.[341] Что делали свободные работники в другое время года, были ли они сами мелкими земледельцами или нет, Катон нам не сообщает.

Что касается эпохи, которая нас интересует больше всего, то у нас есть свидетельства трех книг Варрона о земледелии, написанных им в преклонном возрасте, после падения Республики. Здесь мы обнаруживаем, что экономическое состояние фермы мало изменилось со времен Катона. Постоянный труд несвободен, но, несмотря на значительное увеличение количества подневольного труда, доступного в Италии, в определенное время все еще существует значительная занятость свободных людей на всех фермах, где оливки и виноград были главными объектами культуры. В 17—й главе своей первой книги, в которой он дает интересные советы по покупке подходящих рабов, он начинает с того, что сообщает нам, что вся земля обрабатывается либо рабами, либо свободными людьми, либо обоими вместе, а свободные бывают трех видов: либо мелкими собственниками (*pauperculi*) со своими детьми; либо

рабочими, которые живут за счет заработной платы (*conducticii*) и особенно необходимы во время сенокоса или сбора урожая; либо должниками, которые отдают свой труд в качестве оплаты за то, что они задолжали (*obaerati*).[342] Варрон также, как и Катон, признает необходимость из—за покупки многих вещей, которые не могут быть хорошо изготовлены на ферме среднего размера, и, таким образом, землевладелец мог таким образом также косвенно быть работодателем бесплатной рабочей силы; но, насколько это возможно, ферма должна сама обеспечивать себя материалами для своей собственной работы,[343] поскольку это дает работу рабам в течение всего года, и им никогда не следует позволять бездействовать.[344]

Таким образом, совершенно ясно, что даже во времена Цицерона существовал определенный спрос на свободную рабочую силу в обычных итальянских оливковых садах и виноградниках, и что необходимое предложение имелось, хотя постоянная производственная база была несвободной, и существовала тенденция к более исключительному использованию рабского труда. Правило, согласно которому рабу нельзя позволять быть безработным, было наиболее важным фактором экономического развития и побудило землевладельца, который, кажется, никогда не сомневался в сравнительной дешевизне рабского труда,[345] постепенно делать свою ферму все более и более независимой от какой-либо помощи извне. В работе Колумеллы, написанной ближе к концу первого века нашей эры, ясно, что работа на ферме ведется в большей степени исключительно рабским трудом, чем это имело место в последние два столетия до нашей эры[346]

К этой не такой уж неприятной картине условий итальянского сельскохозяйственного рабства следует добавить несколько слов о больших скотоводческих фермах Южной Италии. Если бы человек вложил свой капитал в сравнительно небольшое поместье с оливами и виноградниками, подобное тому, о котором говорит Катон и которое, по-видимому, было его собственным; или даже в латифундию того типа, который более смутно описывает Варрон, содержащую также парки, дичь и умеренное количество пастбищ, ему понадобились бы рабы в основном определенной степени квалификации. Но на самых больших площадях пастбищ, главным образом в горных районах Южной Италии, где возделывалось мало, за исключением того, что было необходимо для потребления самими рабами, это был самый грубый и дикий тип рабов. Работа была на американском ранчо, жизнь суровая, а рабочие опасные. Именно в этих районах и у этих людей Спартак черпал материал, с помощью которого он дал свой последний бой римским армиям в 72-71 годах до нашей эры; и именно в этом направлении Целий и Милон обратились в 48 году до нашей эры в поисках революционных и воинственных отрядов. Эти грубияны могли даже использоваться в качестве галерных рабов; не раз в Комментариях к Гражданской войне Цезарь сообщает нам, что его противники призывали их на суда, которые были отправлены для снятия осады Массилии[347]. Именно здесь, в окрестностях Турии, произошла кровавая драка между рабами из двух соседних поместий, сильными мужественными людьми, как описывает их Цицерон, о которой мы узнаем из фрагментов его утраченной речи *Туллия*. Они, конечно, были вооружены, и, как мы можем догадаться из замечаний Варрона о типе рабов, пригодных для выпаса скота, [348] обычно это практиковалось для защиты стад от диких зверей и грабителей, особенно когда их перегоняли на летние пастбища (как это происходит до сих пор) в сальтусе на Апеннинах. Потребности этих пастухов были невелики, и латифундии такого рода, вероятно, были почти самодостаточны, никакой бесплатной рабочей силы не требовалось. После дневной работы рабов кормили и запирали на ночь, а при необходимости держали в оковах; на самом деле, по выражению Аристотеля, они были просто живыми инструментами, и экономика таких поместий была такой же простой, как

экономика мастерской. Исключение бесплатного труда здесь является полным: в сельскохозяйственных поместьях оно приближалось к завершению, которого, к счастью, так и не было достигнуто. Если бы дело дошло до такого завершения, экономическое влияние рабства было бы совершенно пагубным; как бы то ни было, внедрение рабского труда в больших масштабах оказало ценную услугу итальянскому сельскому хозяйству в прошлом веке до нашей эры, предоставив материал для его возрождения в то время, когда необходимой бесплатной рабочей силы найти было невозможно. Какими бы плачевными ни были его результаты в других отношениях, особенно на обширных пастбищах, экономическая история Италии, когда она будет написана, должна будет отдать должное заметным преимуществам.

2. Правовой и политический аспект рабства. Раб был в глазах закона не *персоной*, а *res*, то есть он не имел никаких прав как человеческое существо, не мог вступать в брак или владеть собственностью, но сам был просто частью собственности, которую можно было передать (*res mancipi*)[350]. В республиканский период закон оставлял его полностью в распоряжении своего господина, который имел над ним власть над жизнью и смертью (*jus vitae necisque*) и мог наказать его карцером и узами, а также использовать его в любых целях, какие ему заблагорассудится, без ссылки на какую-либо высшую власть, кроме его собственной. Таково было законное положение всех рабов; но, естественно, часто случалось, что те, кто был людьми знающими или умелыми, например, в качестве секретарей, библиотекарей, врачей или даже в качестве телохранителей, находились в близких и счастливых отношениях со своими владельцами [351], и в доме гуманного человека ни одному хорошо воспитанному рабу не нужно бояться физической деградации. У Цицерона и его друга Аттика были рабы, которых они ценили не только за их полезную службу, но и как друзей. Тирон, который редактировал письма Цицерона после его смерти и которому мы поэтому в вечном долгу благодарности, был объектом самой нежной привязанности со стороны своего владельца, и письма, адресованные ему последним, когда он заболел в Патрах в 50 году до нашей эры, являются одними из самых трогательных произведений, дошедших до нас из древности. "Я скучаю по тебе, - пишет он в одном из них[352], - да, но я также люблю тебя. Любовь побуждает желать видеть вас в добром здравии: другой мотив заставил бы меня желать увидеть вас как можно скорее, и первый из них самый лучший". У Аттика тоже был свой Тирон, Алексис, "*imago Tironis*", как называет его Цицерон в письме своему другу, [353] и многие другие, которые занимались переписыванием книг, что было одним из многих занятий Аттика. Все такие рабы рано или поздно были бы освобождены, то есть преобразованы из *res* в *персону*; и в легкости, с которой может быть осуществлен этот процесс превращения, мы видим единственный искупительный момент всей системы рабства. Согласно старейшей и наиболее эффективной форме (виндикта), юридическая церемония должна была проводиться в присутствии претора; но претора можно было легко найти, и других трудностей не возникало. Это была форма, обычно принимаемая владельцем, желающим освободить раба при его собственной жизни; но большое количество рабов постоянно освобождалось более нерегулярно или по воле хозяина после его смерти.[354]

Таким образом, ведущими фактами в правовом положении римского раба были два: (1) он был полностью в распоряжении своего владельца, закон никогда не вмешивался, чтобы защитить его; (2) у него была справедливая перспектива освобождения, если он был ценным и хорошо себя вел, и в случае освобождения он, конечно, становился римским гражданином (*libertus* или *libertinus*) со всеми гражданскими правами, [355] оставаясь, однако, согласно древнему

обычаю, в определенном моральном подчинении своему покойному хозяину, проявляя к нему уважение и помощь, если это необходимо. Давайте применим эти два ведущих факта к условиям римской жизни в том виде, в каком мы их уже обрисовали. Мы обнаружим, что они имеют немалое политическое значение.

Во-первых, мы должны попытаться осознать, что в городе Риме проживало по меньшей мере 200 000 человек, над которыми государство не имело никакого прямого контроля. Все подобные преступления, серьезные или мелкие, которые сейчас рассматриваются в наших уголовных судах, тогда, если они совершались рабом, наказывались только хозяином; и в большинстве случаев, если семья была большой, они, вероятно, никогда не достигали его ушей.

Юрисдикция, за которую отвечал раб, была частной, подобно юрисдикции крупного феодала средневековья, у которого были своя тюрьма и своя виселица. Политический результат был практически одинаковым в каждом конкретном случае. Точно так же, как феодал со своей частной юрисдикцией и сонмом слуг представлял опасность для хорошего правительства и национального единства, пока его не привел к порядку сильный король, подобный нашему Генриху II или Генриху VII, так и владелец большой семьи, насчитывающей многие сотни рабов, можно сказать, находился вне государства; несомненно, он стал серьезной угрозой для хорошего порядка в столице. Роль, которую рабы сыграли в политических беспорядках времен Цицерона, была немалой. Один или два примера покажут это. Сатурнин в 100 году, когда Марий напал на него по приказу сената, поднял пиллеус, или шапку свободы, которую носил освобожденный раб, как сигнал рабам города, что они могут рассчитывать на свободу, если поддержат его; [356] и Марий несколькими годами позже предпринял тот же шаг, когда сам подвергся нападению Суллы. Катилина в 63 году, как уверяет нас Саллюстий, считал возможным поднять городских рабов на помощь своим революционным планам, и они стекались к нему в большом количестве; но впоследствии он отказался от своего намерения, решив, что смешивать интересы граждан с интересами рабов было бы неразумно. [357] Именно здесь рабы-гладиаторы впервые встречаются нам как политическое оружие; следующей весной Цицерону пришлось защищать П. Суллу по обвинению, среди прочего, в том, что он купил гладиаторов во время заговора с мятежными взглядами, и сенату пришлось распорядиться, чтобы банды этих опасных людей были рассеяны по Капуе и другим муниципальным городам на расстоянии. Позже мы часто слышим об их использовании в качестве частных солдат, и правительство в последние годы Республики перестало их контролировать. [358] Опять же, защищая Сестия, Цицерон утверждает, что Клодий в своем трибунате организовал набор рабов под названием коллегий с целью насилия, резни и грабежа; и даже если это преувеличение, это показывает, что такие действия не считались невозможными. [359] И, помимо фактического использования рабов для революционных целей или в качестве частных телохранителей, ясно, что Клодий в своем трибунате организовал набор рабов под названием коллегий. из переписки Цицерона следует, что как важная часть свиты великого человека они могут косвенно оказывать влияние на выборы и другие политические события. Квинт Цицерон в своем небольшом трактате о предвыборной агитации [360] призывает своего брата быть любезным со своими соплеменниками, соседями, клиентами, вольноотпущенниками и даже рабами, "поскольку почти все разговоры, которые затрагивают общественную репутацию человека, исходят из внутренних источников". И сам Марк в последнем письме, которое он написал перед тем, как отправиться в изгнание в 58 году, заявляет, что все его друзья обещают ему не только свою помощь, но и помощь своих клиентов,

вольноотпущенников и рабов, — обещания, которые, несомненно, могли бы быть выполнены, если бы он остался, чтобы воспользоваться ими.[361]

Упоминание о вольноотпущенниках в этом письме может послужить напоминанием нам о политических результатах освобождения, втором факте в юридическом аспекте римского рабства. Наиболее важным из них является быстрое вливание чужой крови в организм римского гражданина, который задолго до Цицерона в основном состоял из получивших гражданские права рабов или их потомков; именно на это ссылался Сципион Эмилиан в своих знаменитых словах к *contio*, к которому он обращался после своего возвращения из Нуманции: "Молчите, вы, для кого Италия всего лишь мачеха" (*Val. Max. 6. 2. 3*). Если бы освобождение находилось под контролем или каким-то образом контролировалось государством, от него было бы больше пользы, чем вреда. Многие известные люди, оказавшие влияние на римскую культуру, были либертинцами, такие как Ливий Андроник и Цецилий поэты; Теренций, Публилий Сирус, с которыми мы познакомились в предыдущей главе; Тирон и Алексей, а несколько позже Веррий Флакк, один из самых образованных людей, когда-либо писавших на латыни. Но значительное увеличение числа рабов и отсутствие каких-либо реальных трудностей с предоставлением им свободы привели к тому, что толпы негодяев получили избирательные права по сравнению с немногочисленными ценными людьми. Наиболее ярким примером является предоставление избирательных прав 10 000 человек Суллой, который, согласно обычаю, взял себе имя Корнелий, и, хотя ему было суждено стать своего рода военной гарантией постоянства сулланских институтов, источником серьезной опасности для государства он стал только во время заговора Катилины. Цезарь, который, вероятно, более остро осознавал такого рода социальную опасность, чем его современники, отправил большое количество либертинцев, — большинство, по словам Страбона, его колонистов, - в свое новое основание в Коринфе[362]. Но Дионисий Галикарнасский, писавший во времена Августа, когда он пробыл некоторое время в Риме, рисует ужасную картину пагубных последствий неизбирательной вольности, неконтролируемой законом[363].

"Многие, - говорит он, - возмущаются, когда видят, что недостойные люди освобождаются, и осуждают обычай, который дает таким людям гражданство суверенного государства, предназначение которого - править миром. Что касается меня, я сомневаюсь, что эту практику следует полностью прекратить, чтобы результатом не стало большего зла; я бы предпочел, чтобы она была сдержана, насколько это возможно, чтобы в государство больше не вторгались люди с таким злодейским характером. Цензоры или, по крайней мере, консулы должны допрашивать всех, кого предлагается освободить, выясняя их происхождение, причины и способ предоставления им избирательных прав, как при допросе всадников. Те, кого они сочтут достойными гражданства, должны иметь свои имена, вписанные в таблицы, распределенные между племенами, с разрешением проживать в городе. Что же касается толпы негодяев и преступников, то их следует отправить подальше, под предлогом основания какой-нибудь колонии".

Эти рассудительные замечания иностранца лишь выразили то, что, вероятно, было общим чувством среди лучших людей того времени. Август предпринял некоторую попытку ограничить избирательные права собственника, но *Leges Aelia Sentia* и *Furia Caninia* не входят в сферу охвата этой книги. Эти усилия не могли увенчаться большим успехом; ненормальные обстоятельства, приведшие в Рим большие семьи рабов, неизбежно отразились на самом гражданском теле в процессе освобождения. Риму пришлось дорого заплатить этим, как и

многими другими способами, за свое продвижение к суверенитету в цивилизованном мире. Возможно, мне будет позволено перевести красноречивые слова французского историка рабства, в чьем великом труде история древнего рабства рассматривается так, как может трактовать ее только ученый-государственный деятель, подводящий итог этому аспекту предмета:

"Эмансипация, какой бы распространенной она ни казалась к началу существования Империи, была не шагом к подавлению рабства, а естественным и неизбежным следствием самого института — выходом для излишеств в эпоху, изобилующую рабами: средством обновления массы, испорченной пагубным влиянием ее собственного состояния, прежде чем она будет полностью уничтожена. Как вода, отведенная от своего свободного течения, становится нечистой в бассейне, который ее удерживает, и когда ее выпускают, она все еще сохраняет свою нечистоту; так и не следует думать, что инстинкты, извращенные рабством, привычки, привитые с детства, могут быть исправлены в рабе запоздалым освобождением. Оказавшись в гуще общества, само по себе испорченного примесью рабства, он стал только более необузданным, более опасно плохим. Таким образом, вольная не была средством от ухудшения положения граждан: она была бессильна даже улучшить положение раба".[364]

3. Этический аспект римского рабства. Каковы были моральные последствия этой системы (1) для самих рабов; (2) для свободных людей, которые ими владели?

Во-первых, что касается самих рабов, то необходимо полностью осознать два факта; когда это будет сделано, выводы будут достаточно очевидны. Давайте вспомним, что гораздо большее количество рабов, как в городе, так и на суше, было привезено из стран, граничащих со Средиземноморьем, где они жили в условиях какой-то элементарной цивилизации, в которой зародыши дальнейшего развития присутствовали в форме естественных расовых и родственных связей и местности, племени, семьи или деревенской общины, а также со своей собственной религией, обычаями и правительством. Постоянное пребывание в плену на чужбине и в рабском состоянии разорвало эти узы раз и навсегда. Возьмем единственный ужасающий пример: 150 000 человек, которые были проданы в рабство в Эпире завоевателем Пидны, или столько же из них, сколько было вывезено из их собственной страны, — а таких, вероятно, было подавляющее большинство, — были таким образом лишены на всю оставшуюся жизнь всякой социальной и семейной жизни, культа предков, фактически всего, что могло служить моральными узами, сдерживающим влиянием на порочные инстинкты. Прискорбные последствия этого для обезлюдивших регионов нас здесь не касаются, но это, без сомнения, было самым серьезным, и их следует принимать во внимание при рассмотрении различных причин, которые позже привели к ослаблению всей Римской империи.[365] Для нас важно то, что значительная часть населения Рима и Италии теперь состояла из людей, лишенных всех естественных средств морального и социального развития. Узы, которые были однажды разорваны, уже никогда не смогут быть восстановлены. Нет необходимости останавливаться на неизбежном результате — введении в римское государство ядовитого элемента ужасного объема и силы.

Второй факт, который мы должны осознать, заключается в следующем. В старые времена, когда такие рабы, какие существовали тогда, приезжали из самой Италии и работали на ферме под присмотром хозяина, они могли участвовать и участвовали в некоторой степени в социальной жизни семьи и даже в ее религиозных обрядах, и поэтому при благоприятных обстоятельствах

могли попасть в сферу ее морального влияния [366]. Но к концу республиканского периода эти моральные влияния, как мы видели, быстро исчезали в большинстве семей, имевших большое количество рабов. Обычный городской раб, который не был привязан к своему хозяину, как это было у такого культурного человека, как Тиро, не имел никаких моральных норм, кроме беспрекословного повиновения; высшей добродетелью было усердное выполнение приказов, и страх наказания был единственной санкцией за его поведение. Типичный городской раб, каким он предстает у Плавта, хотя ни в коем случае не является несчастным существом, лишенным какого-либо удовольствия от жизни, является лжецом и вором, склонным к переусердствованию и лишенным совести[367]. Нам достаточно задуматься о том, что рабу, должно быть, часто приходилось совершать мерзкие поступки во имя своей единственной добродетели - послушания, чтобы понять, что яд присутствовал и был готов действовать в каждом римском доме. "Nec turpe est quod dominus iubet."[368]

В латифундиях за городом сам хозяин проживал редко, а рабы находились под контролем одного или нескольких представителей своего вида, получавших повышение за хорошее поведение и способности. Рабы на крупных овцеводческих и скотоводческих фермах были, как мы видели, самого дикого сорта, и мы можем судить об их нравственности по рассказу сицилийского рабовладельца, который, когда его рабы пожаловались на то, что они недостаточно одеты, сказал им, что средство защиты - грабить путешественников, с которыми они встречаются.[369] *Эргастула*, где рабов обычно заковывали в цепи и обращались с ними как с животными, сеяла семена постоянного морального осквернения в Италии.[370] Но в небольших поместьях оливкового сада и виноградника их состояние было лучше, и гуманный владелец, тщательно выбирающий своих надсмотрщиков, возможно, смог бы воспроизвести что-то от старого чувства участия в жизни, а также в промышленности экономической единицы. В интересной главе Варрон советует тщательно отбирать вилика и примирять его, разрешая иметь жену и средства накопления собственности (*peculium*); он даже настаивает на том, чтобы он добивался повиновения скорее словами, чем ударами.[371] Но о положении обычного раба на ферме это единственный намек, который он нам дает, и, похоже, ему или любому другому римлянину его времени никогда не приходило в голову, что предстоящую работу лучше выполнять людям, не лишенным в силу своего положения морального чувства; этот рабский труд выполняется неохотно и неразумно, потому что у работника нет надежды, нет чувства долга, заставляющего его радоваться делу своих рук. Ни один писатель также не признавал того факта, что рабы потенциально были моральными существами, пока христианство не санкционировало послушное подчинение как акт морали, который мог быть освящен Божественной властью.[372]

Наконец, нетрудно осознать пагубное воздействие такой рабовладельческой системы, как римская, на сам класс рабовладельцев. Это затронуло бы даже тех, у кого самих рабов не было; ибо, хотя, как мы видели, свободный труд ни в коем случае не был вытеснен этим, он, должно быть, помог создать праздный класс свободных людей со всей его моральной никчемностью. Давным-давно, в своей замечательной книге *о Власти рабов* в Америке перед гражданской войной, профессор Кэрнс провел поразительное сравнение между "подлыми белыми" Южных Штатов, результатом рабского труда на плантациях, и праздным населением римской столицы, питавшимся дешевой кукурузой и готовым к любому хулиганству.[373] Но в случае с крупными рабовладельцами зло было гораздо серьезнее, хотя, возможно, его было труднее обнаружить. У хозяина орды рабов было наполовину парализовано моральное чувство, потому что у него не было чувства ответственности за столь многих из тех, с кем он соприкасался каждый день и час.

Когда большинство членов семьи или состояния человека находятся полностью в его власти, когда у него нет чувства каких-либо договорных отношений с ними, его чувство долга неизбежно притупляется даже по отношению к другим, которые таким образом не находятся в его власти. Можем ли мы сомневаться в том, что отсутствие чувства справедливости и добропорядочности, особенно по отношению к провинциалам, но также и по отношению к согражданам, которое мы заметили в двух высших слоях общества, было в значительной степени вызвано постоянным проявлением произвола дома, привычкой смотреть на людей, которые обеспечивали его роскошный покой, как на абсолютно не претендующих на его уважение или благожелательность? или что безрассудство человеческой жизни, проявившееся в растущей популярности кровавых гладиаторских боев и в невероятной жестокости победителей в гражданских войнах, было результатом этого бессознательного воспитания с детства деспотического характера?[374] Даже лучшие люди того времени, такие как Цицерон, Цезарь, Лукреций, едва ли проявляют признаки какой-либо симпатии или интереса к той огромной массе страдающего человечества, как связанного, так и свободного, которой были населены римские владения; пренебрегать страданиями, за исключением тех случаев, когда они находили их среди привилегированных классов, стало для них второй натурой. Мы сможем лучше осознать это, если подумаем о том, что даже в наши дни, несмотря на отсутствие рабства и наличие филантропических обществ, средний состоятельный человек едва ли задумывается о дискомфорте и бедствии перенаселенного населения наших больших городов. Обычная черствость человеческой природы под пагубным влиянием рабства превратилась в абсолютную слепоту, и глаза людей не открывались до тех пор, пока христианство не начало заквасывать мир доктриной всеобщей любви.

ГЛАВА VIII

ДОМ БОГАЧА В ГОРОДЕ И ДЕРЕВНЕ

Мы видели, что беднейшие слои населения Рима жили в огромных *изоляторах* и не наслаждались ничем, что можно было бы назвать домашней жизнью. Богатые семьи, с другой стороны, жили в *domus*, то есть в отдельных жилищах, вмещавших только одну семью, часто, даже в цicerоновский период, отличавшихся большим великолепием. Но даже эти огромные дома вряд ли предполагают жизнь, подобную той, которая ассоциируется у нас со словом "дом". Как указал мистер Такер в случае с Афинами, [375] более теплый климат Греции и Италии побудил все классы проводить гораздо больше времени на свежем воздухе и в общественных местах, чем это делаем мы; и быстрый рост удобных общественных зданий, портиков, базилик, бань и так далее является одной из самых ярких черт в истории города за последние два столетия до н.э. Август, частью политики которого было обеспечение комфорта и довольства городского населения, продвинул эту тенденцию еще дальше, и при Империи городской дом играл довольно второстепенную роль в римской общественной жизни. Лучший способ представить себе эту жизнь на свежем воздухе, ленивую и общительную, эпохи Августа - прочитать первую книгу Овидия "*Ars Amatoria*" - увлекательную картину прекрасного города и его любящих развлечения жителей. Но эпоха Августа нас здесь не касается.

Однако римский дом, как и итальянский дом в целом, по своему происхождению и сути действительно был домом. Семья была основой общества, и под семьей мы должны понимать не только главу дома со своей женой, детьми и рабами, но и божественных существ, которые там обитали. Поскольку государство включало в себя как человеческих, так и божественных

обитателей, то же самое касалось и дома, который действительно был зародышем и типом государства. Таким образом, в те далекие времена дом был не меньше, а даже больше, чем дом для нас, ибо в нем было сосредоточено все, что было дорого семье, все, что было необходимо для ее жизни, как естественное, так и сверхъестественное. И эти два явления — естественное и сверхъестественное — не отличались друг от друга, но были связаны, фактически почти идентичны; огонь в очаге был жилищем Весты, духа пламени; пенаты были духами запасов, которыми питалась семья, и обитали в чулане или кладовой; у отца семейства самого была сверхъестественная сторона в виде его Гения; а Лар фамильярис был духом-покровителем сельскохозяйственных угодий, который со временем проник в дом, возможно, вместе с рабами, которые работали на ферме. всегда принимал участие в его богослужении.[376]

Вероятно, было бы несправедливо по отношению к римлянину эпохи поздней Республики предполагать, что эта прекрасная идея совместной жизни человека и божественных существ в одном доме была им полностью проигнорирована или забыта. Без сомнения, реальность этой веры исчезла; этого нельзя было сказать о городской семье, как Овидий сказал о крестьянах:[377]

ante focos olim scamnis considerare longis mos erat et mensae credere adesse deos.

Великий аристократ или банкир времен Цицерона больше не мог честно сказать, что он верил в реальное присутствие своих семейных божеств; ядро старого чувства исчезло под влиянием греческой философии и новых интересов в жизни, новых целей и амбиций. Но оболочка осталась, и в некоторых семьях или в моменты тревоги и волнения даже старое чувство *религиозности*, возможно, вернулось. Цицерон апеллирует к общему чувству в отрывке, который уже однажды цитировался (*de Domo*, 109), когда настаивает на подлинно религиозном характере дома: "его агае sunt, его фокусы, его диценаты: его священный, религиозный, внутренний мир". И это было в самом центре города; в загородном доме, несомненно, было больше досуга и возможностей для таких ощущений. Во втором веке до нашей эры старый Катон описал, как отец семейства по прибытии на свою ферму из города приветствовал Лара фамильяриса перед тем, как отправиться на осмотр; и даже Гораций едва ли проявляет признаки агностика, когда изображает рабов на ферме и хозяина вместе с ними, сидящих за трапезой перед изображением Лара [378]. Возможно, мы можем догадаться, что с возрождением любви к сельской жизни и с тем возрождением возделывания виноградной лозы и оливок, да и земледелия в целом, которое является узнаваемой чертой последних лет Республики и которое известно нам из работ Варрона о сельском хозяйстве и из *Георгики* Вергилия, старая религия семьи обрела новую жизнь.

Здесь нет необходимости давать какой-либо подробный отчет о форме и подразделениях римского дома в городе; полные и превосходные описания можно найти в статье Миддлтона "Domus" в *Словаре древностей* и в книге Ланчани "*Руины и раскопки Древнего Рима*"; и к ним следует добавить работу Мау о Помпеях, где дома были скорее римского, чем греческого типа. Нас интересует дом как дом или центр жизни, и только в этом его аспекте мы будем обсуждать его здесь.

Древнейшее итальянское жилище представляло собой простой вигвам с очагом посередине пола и отверстием наверху для выхода дыма. Но дом исторических времен был прямоугольным, с одной центральной комнатой или холлом, в котором была сосредоточена вся внутренняя жизнь семьи, весь смысл и назначение жилища. Здесь изначально жили вместе человеческие

и божественные обитатели. Здесь находился очаг, "естественный алтарь жилища человека", как прекрасно выразился Ост;[379] это было сиденье Весты, а за ним находился *пенус* или кладовая, резиденция Пенатов; таким образом, Веста и Пенаты в самом подлинном смысле являются божествами защиты и питания домашнего хозяйства. Здесь также был Лар семьи с его маленьким алтарем за входом, и здесь был *гениальный лектус*[380] и Гений отцовской семьи. Когда вы заглядывали в атриум, пройдя *вестибюль*, или пространство между улицей и дверным проемом, и *ostium*, или дверной проем с его *janua*, вы видели перед собой имплевий, в который падала дождевая вода из *compluvium*, то есть квадратное отверстие в крыше с покатыми сторонами; по обе стороны были углубления (*alae*), которые, если семья была знатной, содержали изображения предков. Напротив вас была еще одна ниша, *таблинум*, выходящая, вероятно, в небольшой сад; здесь в теплую погоду семья могла принимать пищу.

Это атриум старого римского дома, и чтобы понять, что это за дом, больше ничего не нужно. И действительно, с архитектурной точки зрения атриум никогда не терял своего значения как центр дома; он относится к дому так же, как хоры к собору.[381] И легко увидеть, насколько естественным образом он мог бы перерасти в гораздо более сложное, но удобное жилище; например, аллеи можно было бы расширить, образовав отдельные покои или спальни, таблинум можно было бы превратить в постоянную столовую, или такие комнаты можно было бы открыть по обе стороны от него. Можно было бы добавить второй этаж, и в городе, где пространство было ценным, обычно так и происходило. Сад можно было бы преобразовать по греческому обычаю и под греческим названием *перистилюм*, то есть открытый двор с красивой колоннадой вокруг него, и, если бы было достаточно места, вы могли бы добавить в задней части снова *экседру* или *экус*, то есть открытые салоны, удобные для многих целей. Таким образом, дом оказался практически разделенным на две части: атриум с его имуществом, то есть римскую часть, и перистилий с его постройками, образующий греческую часть; и дом отражает сложный характер римской жизни в ее более поздний период, точно так же, как римская литература и римское искусство. Римская часть была сохранена для приемных комнат, а Лар, Пенаты и Веста, заняв свои места, удалились в новые апартаменты для уединения. Когда обычная толпа утренних посетителей приходила прислуживать великому человеку, они, как правило, не проникали дальше атриума, и там он мог заставлять их ждать столько, сколько ему заблагорассудится. Греческая часть дома, перистилий и его имущество, были отведены для его семьи и самых близких друзей. В Помпеях, которые были старым греческим городом с примесью римской жизни и привычек, мы находим атриум и перистилюм вместе еще во втором веке до нашей эры[382]. В какой именно период начал таким образом развиваться дом знати в Риме, не столь точно известно. Но ко времени Цицерона каждый хороший дом, без сомнения, имел свои личные покои в задней части, различающиеся по форме и размеру в зависимости от местности, на которой стоял дом.[383]

Прилагаемый план даст достаточно четкое представление о развитии *domus* от атриума и его последующем разделении на две части; это "дом серебряной свадьбы" в Помпеях.

[Иллюстрация: ПЛАН ДОМА СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ. Из книги May "Помпеи".]

Но, несмотря на все удобства и уют полностью обустроенного жилища богатого человека в Риме, было многое, что заставляло его мечтать о более спокойной жизни, чем та, которой он мог наслаждаться в шумном городе. Он действительно мог бы, если бы мог себе это позволить, переехать за городские стены в "домус субурбана" на одной из дорог, ведущих из Рима, или на

холме, откуда открывается вид на Марсово поле, как на дом Саллюстия историка с его великолепными садами, которые все еще частично сохранились в ущелье между Квиринальскими и Пинцианскими холмами.[384] Но нигде в радиусе трех миль или более от Рима человек не мог потерять ощущение того, что он в городе, или скрыться от дыма, шума, оживления улиц. После того, что было сказано в предыдущих главах, толпа на Форуме и сопутствующие ей явления могут быть предоставлены воображению читателя; но если он хочет стимулировать ее, пусть взглянет на седьмую главу речи Цицерона для Планция, где оратор использует толчею на Форуме как иллюстрацию, настолько знакомую, что никто не может не понять ее.[385] Рельеф, изображение которого приведено в книге Берна *"Римская литература и римское искусство"*, стр. 79, дает хорошее представление о тесноте, хотя, без сомнения, у римских художников было обычным делом перегружать свои сцены человеческими фигурами. Еще во времена первой Пунической войны дама могла пожаловаться на переполненность Форума и со свойственным римлянам мрачным юмором заявить, что ее брату, который только что унес множество жизней римлян в результате поражения от карфагенян, следовало бы командовать другим флотом, чтобы избавить город от излишков населения. Каким же тогда должен был быть Форум два столетия спустя, когда здесь ежедневно совершалась половина деловых операций Империи! И даже за стенами беспорядки не утихали; всю ночь напролет в город въезжали повозки, которые днем были запрещены, во всяком случае, после муниципального закона Цезаря от 46 года до н.э. Можно подумать, что их шум обесценивает стоимость домов на больших дорогах. Посетители и клиенты собирались здесь по утрам, как в доме за стенами; зануду можно было встретить не только на Виа Сакра, как бессмертного друга Горация, но и везде, где поток жизни несея своими бурными водоворотами [386]. Луцилий нарисовал наглядную картину этой лихорадочной жизни, которая, к счастью, сохранилась; она, конечно, относится ко времени, предшествовавшему рождению Цицерона (Фрагмент 9, Беренс):

nunc vero a mani ad noctem, festo atque profesto, totus item pariter populus, plebesque patresque, iactare indu foro se omnes, decedere nusquam: uni se atque eidem studio omnes dedere et arti, verba dare ut oate possint, pugnare dolose: blanditia certare, bonum simulare virum se: insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes.

Не может быть никаких сомнений в том, что эта волнующая социальная атмосфера с ее толкотней на Форуме, визитами и зваными обедами в доме оказывала какое-то зловещее влияние на характер и нервы мужчин. Цицерону очень нравилась городская жизнь, но он платил за это чувствительностью, которая постоянно проявляется в его письмах, и снижала его ценность как государственного деятеля. Когда он писал из Киликии своему более молодому другу Целию, убеждая его остаться в городе, в почти патетических выражениях, ему никогда не приходило в голову, что он прописывал именно тот курс лечения, который причинил ему много вреда [387]. Ясное зрение и крепкие нервы Цезаря по сравнению со многими его современниками, несомненно, были в значительной степени обусловлены тем фактом, что между 70 и 50 годами до нашей эры, то есть в расцвете сил, он провел около двенадцати из двадцати лет на более свежем воздухе Испании и Галлии. Некоторые мужчины были измотаны беспутством и вызванной им скукой и не могли найти облегчения даже на загородной вилле. Лукреций нарисовал замечательную картину такого несчастного, который спешит из Рима в деревню и, обнаружив, что ему там скучно, почти сразу по прибытии приказывает своей карете возвращаться в город. Наполнять себя хорошими вещами, но никогда не быть удовлетворенным

(explere bonis rebus, satiarique nunquam), было даже для истинного эпикурейца самой мрачной судьбой.[388]

Но в то время, как и на протяжении многих поколений, существовало искреннее желание иногда сбежать из города в деревню; и Цицерон, несмотря на свои патетические увещевания Целию, сам был страстным любителем легкости и досуга, которые он мог найти только в своих загородных домах. Первым великим римлянином, о котором мы знаем, что у него была сельская вилла не только или главным образом для сельскохозяйственных целей, но и как убежище от города и его суматохи, был Сципион Африканский старший. Его вилла в Литернуме на кампанском побережье описана Сенекой в его 86-м послании; она была небольшой и не имела удобств более позднего загородного дома; но ее истинное значение заключается не столько в растущем богатстве, которое делало возможным проживание без пристроенной к нему фермы, сколько в растущем чувстве индивидуальности, которое заставляло людей желать такого уединения. Есть и другие признаки того, что Сципион был человеком сильной личности, непохожим на типичного римлянина своего времени; он ценил свои собственные мысли и привычки, помимо своего долга перед государством, и удалился в Литерн, чтобы потакать им. Младший Сципион (Эмилиан) тоже, хотя и не был его кровным родственником, обладал тем же инстинктом, но в его случае это было скорее стремление к досугу и релаксации — та же любовь к настоящему отдыху, которую мы все так хорошо знаем в нашей современной жизни. "Досуг", - говорит Цицерон, - это не "удовлетворенное животное после расслабления"; и в очаровательном отрывке он продолжает описывать Сципиона и Лелия, собирающих ракушки на морском берегу и снова становящихся мальчиками (repuerascere).[389] Это стремление к легкости и расслаблению, к шансу побыть на некоторое время самим собой, — к самости, стоящей чего-то помимо своего существования как гражданина, - очевидно в римлянине времен Цицерона, и еще больше в трудолюбивом чиновнике Империи. Дважды в своей жизни болезненный император Тиберий скрывался от людских глаз, один раз на Родосе, а затем на Капреях, — меланхолический отшельник, измученный тяжелой работой.

В те дни каждому человеку приходилось создавать свой собственный "санаторий": не было ничего, что соответствовало бы современному отелю. Даже на больших роскошных водоемах кампанского побережья, Байе и Баули, все дома, насколько нам известно, были частными резиденциями.[390] Я не собираюсь включать в эту главу какой-либо отчет об этих центрах роскоши и порока, которые на самом деле были далеки от того, чтобы давать какой-либо отдых или утешение усталому римлянину; общество Байи было центром скандалов и сплетен, где такая женщина, как Клодия, лесбия Катутла, могла жить порочно на глазах у всех мужчин.[391] Давайте обратимся к более приятной теме и проиллюстрируем загородный дом и сельскую жизнь последней эпохи Республики кратким посещением собственных вилл Цицерона. К счастью, это было облегчено для нас восхитительной работой профессора О.Э. Шмидта, чей неподдельный энтузиазм по отношению к Цицерону привел его лично ко всем этим местам и вдохновил написать о них самые удачные статьи.[392]

Поскольку не было отелей, среди которых любящий перемены римлянин времен Цицерона мог бы выбрать место для отдыха, он покупал участок под виллу сначала в одном месте, затем в другом, или покупал готовую, или превращал свой собственный старый фермерский дом в резиденцию, отвечающую "современным требованиям". Выбирая места для своего путешествия, он, естественно, смотрел на юг и находил то, что искал, либо в лучших частях Лациума, среди холмов и лесов Альбанских гор и Тускулума, либо в богатой кампанской земле,

раю ленивых римлян; в последнем случае он хотел бы быть поближе к морю на этом восхитительном побережье, и даже в Лациуме были места, где, подобно Сципиону и Лелию, он мог побродить по берегу моря. Вся эта страна на юге начинала покрываться роскошными и удобными домами; в более холодных и горных частях центральной Италии вилла все еще была фермерским домом старого полезного типа, целью которого было выращивание олив и винограда, которые теперь, как мы уже видели, входят в моду. Для Цицерона и его друзей слово *вилла* больше не означало земледелие, как это неизменно было у древних римлян, и как мы находим его в трактате Катона о сельском хозяйстве; оно означало сады, библиотеки, бани и коллекции произведений искусства с множеством удобных комнат для учебы или развлечений. Иногда сад можно было расширить до парка с прудами и большим изобилием дичи; у Гортензия был такой парк близ Лаврентия, площадью в пятьдесят югерр, обнесенный кольцевой изгородью и полный диких зверей всех видов. Варрон рассказывает нам, что великий оратор отводил своих гостей на возвышение в этом парке и призывал туда своего "Орфея", чтобы тот пел и играл: при звуках музыки появлялось множество оленей, кабанов и других животных — несомненно, приученных к этому в ожидании приготовленной для них пищи.[393] Таков был вкус великого мастера "азиатского" красноречия. Это напоминает нам сказку о китайском императоре и механическом соловье.

У его великого соперника в ораторском искусстве были более простые вкусы, как в сельской жизни, так и в риторике. У Цицерона не было вилл с вульгарной роскошью; он предпочитал владеть несколькими виллами умеренного комфорта, а не одной или двумя такими великолепными. У него было всего шесть домов, не считая одного или двух объектов недвижимости, которые были куплены для какой-то особой временной цели; и интересно посмотреть, какое отношение эти дома имели к его жизни и привычкам. Он ни в коем случае не мог позволить себе находиться слишком далеко от Рима или от главной дороги, которая легко доставила бы его туда. Прилагаемая небольшая карта показывает, что все его виллы располагались на одной из двух больших дорог, которые вели на юг от столицы, или рядом с ними. Через час или два *виа Латина* приведет его в Тускул, где после смерти Катуты в 68 году он владел вилой этого превосходного аристократа.[394] Местоположение виллы не может быть определено с уверенностью, но Шмидт дает веские основания полагать, что она находилась там, где мы раньше ее размещали, на склоне холма над Фраскати. Мы охотно поверили бы, что он действительно стоял там, а не в долине у Гроттаферраты[395], ибо никто, когда-либо бывавший там, не сможет забыть великолепный вид или освежающий воздух этих цветущих склонов. Неудивительно, что владелец любил его. Он рассказывает Аттику, когда тот впервые завладел им, что нашел там покой от всех тревог и трудов (*ad Att. i. 5. 7.*), и снова, что он так восхищен им, что, попав туда, он тоже доволен собой (*ad Att. i. 6.*). Большая часть его литературной работы была проделана здесь, и у него было большое преимущество в том, что он находился рядом с великолепной библиотекой соседней виллы Лукулла, которая всегда была открыта для него.[396] В Тускулуме он провел много счастливых дней, пока его любимая дочь не умерла там в 45 году, после чего он некоторое время не ездил туда; но он преодолел это горе и любил это место до конца своей жизни.

[Иллюстрация: КАРТА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИЛЛ ЦИЦЕРОНА.]

Если эта вилла находилась там, где мы надеемся, то большая дорога проходила недалеко от нее, в долине между Тускулом и Альбанским холмом; и, следуя по ней примерно пятьдесят миль на юго-восток через Лациум, Цицерон достигнет реки Лирис недалеко от Фрегелл и, сойдя там с

дороги, вскоре прибудет в свое родное местечко Арпинум, всообщственность своих предков. К этому старому дому он всегда испытывал самую теплую привязанность; ни о ком другом он не пишет языком, столь ясно показывающим, что его сердце могло быть тронуту природной красотой, особенно в сочетании с нежными ассоциациями его детства [397]. В очаровательном введении ко второй книге своего труда "О законе" (о конституции) он с неподдельным восторгом останавливается на этом чувстве и этих ассоциациях; и там также мы получаем намек на то, что, по словам доктора Шмидта, является особым очарованием этого места — присутствием и шумом воды; ибо, если он прав, вилла была расположена между двумя рукавами маленькой прозрачной реки Фибренус, которая здесь образует дельту, соединяясь с большим Лирисом [398].

Но об этом доме мы не знаем наверняка ни местоположения, ни плана, — на самом деле, не так много, как мы знаем о вилле брата Квинта неподалеку, здание которой с такой точностью описано в письме, написанном отсутствующему владельцу [399], что Шмидт считает себя вправе применить его по аналогии с виллой старшего брата. Но такие рассуждения вряд ли безопасны. Что мы действительно знаем о старом доме, так это то, что изначально это была настоящая вилла рустика — дом с землей, возделываемой владельцем, которую отец Цицерона, обладавший слабым здоровьем и литературными вкусами, значительно расширил, и что сам Цицерон превратил ее в комфортабельную загородную резиденцию со всеми необходимыми удобствами. Он не обрабатывал присоединенную к нему землю предков ни сам, ни через судебного пристава, но сдавал ее в аренду небольшими владениями [400] (*praediola*), и мы могли бы пожелать, чтобы он рассказал нам что-нибудь о своих арендаторах и о том, что они делали с землей. Таким образом, это был не настоящий фермерский дом, а фермерский дом, превращенный в приятную резиденцию, подобную множеству поместий, которые до сих пор можно увидеть в Англии. Его атриум, без сомнения, удалился (так сказать) в заднюю часть здания и превратился в кухню, и вы входили, как и в большинстве загородных домов того периода, через вестибюль прямо в перистиль: некоторое представление о таком расположении можно получить из прилагаемого плана планировки виллы Диомеда недалеко от Помпей, которая была городским домом, приспособленным к сельским условиям (вилла псевдурбана). [401]

Если бы Цицерон захотел уехать из Арпина на одну из своих вилл на кампанском побережье, ему просто пришлось бы следовать по долине реки Лирис до тех пор, пока она не достигнет моря между Минтурнами и Формиями, и в последнем месте, оживленном маленьком городке с очаровательным видом на море, недалеко от современной Гаэты, он нашел бы еще один собственный дом — следующий, который он добавил к своим владениям после того, как унаследовал Арпинум. Формия была очень удобным местом; она располагалась на Аппиевой улице и, таким образом, имела прямое сообщение как с Римом, так и с Неаполитанским заливом, как по суше, так и по морю. Когда Цицерон не отдыхает, а находится в движении или ожидает, что его потревожат, его часто можно найти в Формиях, как в критическую середину зимы 50-49 годов до н.э.; и здесь в конце марта 49 года у него состоялась его знаменитая беседа с Цезарем, который тщетно уговаривал его сопровождать его в Рим. Здесь он провел последние утомительные дни своей жизни, и здесь он был убит головорезами Антония 7 декабря 43 года.

[Иллюстрация: ПЛАН ВИЛЛЫ ДИОМЕДА. Из "Мужских Помпей".]

Эта вилла находилась в маленьком городке или недалеко от него и поэтому не давала ему покоя, который он любил для литературной работы. Похоже, что *зануда* существовал где-то еще, кроме Рима; ибо в коротком письме, написанном из Формии в апреле 59 года, он рассказывает Аттику о своих проблемах такого рода: "Что касается литературной работы, то это невозможно! Мой дом - скорее базилика, чем вилла, из-за толп посетителей из Формии ... К. Аррий - мой ближайший сосед, или, скорее, он почти живет в моем доме, и даже заявляет, что причина, по которой он не едет в Рим, заключается в том, что он может проводить здесь со мной целые дни, философствуя. И затем, если вам угодно, на другом фланге Себоз, друг Катула! В какую сторону мне повернуть? Я заявляю, что немедленно отправился бы в Арпинум, если бы это не было самым удобным местом для ожидания вашего визита; но я буду ждать только до 6 мая: вы видите, какие зануды терзают мои бедные уши".[402]

Но добраться до его кампанских вилл было бы почти так же легко, как до Арпина, если бы он захотел сбежать из Формии с ее занудством. До ближайшего из них, того, что находился в Кумах или около них, было всего около сорока миль езды по прибрежной дороге, мимо Минтурны, Синуэссы и Вольтурнума, знакомых мест остановок. Однако об этом "Кумане" мы знаем очень мало: этот вулканический регион претерпел такие изменения, что мы не можем восстановить это место, и его владелец, похоже, никогда не испытывал к нему особой привязанности. На самом деле это было слишком близко к Байе и Баули, чтобы подойти тихому литератору; знатные люди в их огромных роскошных дворцах были слишком близко, чтобы *новый человек* мог чувствовать себя там совершенно непринужденно. Тем не менее, ближе к концу своей жизни Цицерон добавил к своему имуществу еще одну собственность в этом районе, в ПUTEОЛАХ или около них, которые теперь быстро становились городом большого значения; но это можно объяснить тем фактом, что банкир из ПUTEОЛ по имени КЛУВИЙ, его старый друг, только что умер и разделил свое имущество по завещанию между Цезарем и Цицероном, — поистине потрясающее завещание! Цицерон, похоже, купил долю Цезаря и рассматривал собственность как хорошую инвестицию. Он начал строить здесь виллу, но у него было мало шансов использовать ее. Возможно, именно здесь он принимал цезаря и его свиту в конце 45 года[403], как описано им в знаменитом письме от 21 декабря (*ad Att. xiii. 52*); когда нужно было как-то прокормить две тысячи человек и, несмотря на литературные беседы, Цицерон мог написать, что его гость был не совсем тем, кого вы спешили бы увидеть снова.

По ту сторону залива, прямо в пределах видимости с возвышенности между Байями и Кумами, раскинулся маленький городок Помпеи, у подножия спящего Везувия. Здесь, вероятно, сразу за городом, у Цицерона была вилла, которую он, по-видимому, действительно любил, и общество тихого и нежного друга, меcье Мариуса. Сможем ли мы найти остатки этой виллы среди раскопок Помпеи, очень сомнительно: но наш превосходный гид Шмидт уверяет нас, что у него есть веские основания полагать, что один конкретный дом, расположенный сразу за городом на левой стороне дороги перед воротами Геркуланеа, который с момента его раскопок в 1763 году без особой убедительной причины назывался Вилла ди Чичероне, действительно является тем домом, которым мы хотим его видеть. Но, увы! честный человек должен признать, что идентификация требует определенности, и шанс найти какой-либо предмет или надпись, которые могли бы это подтвердить, сейчас очень мал.

Если бы Цицерона внезапно вызвали обратно в Рим по делам, судебным или политическим, он поспешил бы сначала в Формии и переночевал там, а оттуда поспешил бы по Аппиевой дороге и маршруту, так хорошо известному нам по путешествию Горация в Брундиций, в другой дом в

маленьком приморском городке Анций. Это была его ближайшая резиденция на берегу моря, и он часто пользовался ею, когда не мог уехать далеко от Рима. После смерти своей дочери в 45 году он, кажется, продал этот дом Лепиду и, не имея возможности оставаться в Тускуле, где она умерла, купил маленькую виллу на маленьком островке под названием Астура, на самом краю Помптинских болот, и в этом меланхоличном и нездоровом районе проводил целые дни в лесу, давая выход своему горю. И все же это было "locus amoenus, et in mari ipso, qui et Antio et Circeiis aspicere possit".[404] Это соответствовало его настроению, и здесь он оставался долго, сочиняя письмо за письмом Аттику о возведении святилища погибшему в нескольких садах, которые будут приобретены недалеко от Рима.

Этот набросок загородных домов такого человека, как Цицерон, может помочь нам составить некоторое представление о переменчивой жизни великого персонажа того времени. Он не стремился к формированию устойчивых постоянных привычек в каком-то одном месте или доме; с раннего возраста он привык путешествовать, отправляясь в Грецию или Малую Азию для получения "высшего образования", действуя, возможно, в качестве квестора, а затем претора или консула в какой-нибудь провинции, затем возвращаясь в Рим только для того, чтобы уехать на ту или иную из своих вилл, и редко останавливаясь в одной из них надолго. Это была не совсем здоровая жизнь, насколько это касалось ума; настоящее мышление, разработка великих проблем философии или политики невозможны при постоянной смене обстановки и без возможности выработать регулярные привычки.[405] И дело в том, что ни один человек в это время всерьез не ставил перед собой задачу продумывать подобные проблемы. Цицерон приезжал в Тускулум или Арпинум с несколькими необходимыми книгами и, по мере возможности заимствуя другие, садился писать трактат по этике или риторике с поразительной скоростью, постоянно имея перед собой греческого автора-оригинала. В таких местах, как Байя, серьезная работа, конечно, была невозможна и вызвала бы насмешки. В ту эпоху не было оригинального мыслителя. Сам Цезарь, вероятно, по своей природе был больше приспособлен к тому, чтобы рассуждать на основе фактов, непосредственно находившихся перед ним, чем рассуждать на отвлеченных принципах. Варрон, грубый здравомыслящий ученый сабинянин по происхождению, был прилежным собирателем фактов и традиций, но не более способным усердно разбираться в проблемах философии или теологии, чем любой другой римлянин его времени. Жизнь среднего богатого человека была слишком комфортной, слишком переменчивой, чтобы предполагать желательность реального умственного напряжения.

Эта жизнь также не имеет прямого отношения к материальной полезности и производительному вложению капитала. Цицерон и его корреспонденты никогда не упоминают о сельском хозяйстве, никогда не проявляют никакого интереса к новому движению, если таковое существовало, за научное выращивание виноградной лозы и олив.[406] Чтобы разобраться в подобных вещах, мы должны обратиться к трактату Варрона, написанному через несколько лет после смерти Цицерона, в его глубокой старости. В третьей книге этого бесценного труда мы найдем все, что хотим знать о настоящей *вилле рустика* того времени — действующей ферме с ее винными чанами и оливковыми заводами, подобными тому, что недавно был раскопан в Боскореале близ Помпей. И все же было бы несправедливо по отношению к таким людям, как Цицерон и его друзья, более мудрой и спокойной части аристократии, называть их работу совершенно непродуктивной. Правда, это не оставило постоянного следа в образе мышления людей; это не привело к каким-либо существенным изменениям к лучшему ни в Италии, ни в Империи. Мы можем зайти так далеко, что допустим, что это положило начало той привычке к дилетантизму, которую мы находим уже

преувеличенной в эпоху, недавно освещенную для нас профессором Диллом в его книге о *римском обществе от Нерона до Марка Аврелия*, и гораздо более преувеличенной в последнюю эпоху римского общества, которую тот же автор изобразил в своей более ранней работе. Но можно усомниться в том, что римляне ни при каких обстоятельствах не смогли бы произвести на свет великого пророка или философа; и самая ценная работа, которую они проделали, была другого рода. Она заключалась в гуманизации общества путем рационального развития права и распространения греческой мысли и литературы в западном мире. Именно этим были заняты лучшие дни Цицерона, Сульпиция Руфа и многих других; и в то же время им удалось создать для ее выражения один из самых совершенных языков прозы, которые мир когда-либо знал или будет знать. Они тоже делали это, помогая друг другу добрым и ободряющим общением, — *humanitas* повседневной жизни. Именно этого *humanitas* северный ум Моммзена, несмотря на его склонность к страстному романтизму, не мог понять; вся мягкая сторона этого приятного существования среди вилл, статуй и библиотек была для него просто презренной. Будем надеяться, что он не нанес непоправимого ущерба репутации Цицерона и многих других людей, которые вели такую же достойную и элегантную жизнь.

ГЛАВА IX

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Прежде чем дать некоторый отчет о том, как уважаемый римлянин проводил свой день во времена Цицерона, представляется необходимым вкратце объяснить, как он распределял дни.

Старый фермер-латиноамериканец ничего не знал о часах. Он просто выполнял свою повседневную работу, руководствуясь солнцем и светом в качестве проводников, вставал на рассвете или до него, работал до полудня, а после еды и отдыха возобновлял свою работу до заката. Этого простого метода счета было бы достаточно в солнечном климате, даже когда жизнь и бизнес усложнились; и это факт, что деление дня на часы не было известно в Риме до введения солнечных часов в 263 году до н.э.[407] Нам вполне может быть трудно понять, как такие дела, как заседание сената, комиций или экзерциций, могли быть привязаны к определенному времени при таких обстоятельствах; возможно, лучший способ объяснить это - отметить, что римляне придерживались своих привычек очень рано, и что восход солнца - это момент времени около ошибки быть не может[408]. Но в любом случае дата введения солнечных часов, которая почти точно соответствует началу Пунических войн и вызванному ими огромному росту гражданских дел, может сразу свидетельствовать о примитивном состоянии ума и привычек древних римлян и о том, каким образом римлянам приходилось учиться у других народов тому, как экономить и распределять время, которое начинало становиться таким драгоценным.

Эти первые солнечные часы были привезены из Катины на Сицилии и поэтому совершенно не подходили для обозначения часов в Риме. Тем не менее Рим умудрялся обходиться с этим до тех пор, пока не прошло почти столетие; наконец, в 159 году до н.э. цензор Q. поместил рядом с ним циферблат, рассчитанный по широте Рима. Marcus Philippus. Эти два циферблата были закреплены на столбах за Рострой на Форуме, самом удобном месте для регулирования общественных дел, и там они оставались даже во времена Цицерона[409]. Но в цензуре, следующей за цензурой Филиппа, были введены первые водяные часы; они указывали часы как дня, так и ночи и позволяли каждому отмечать точное время даже в пасмурные дни [410].

Таким образом, со времен Пунических войн городское население вело счет времени по часам, то есть по двенадцати разделениям суток; но поскольку они продолжали считать сутки от восхода до заката по принципу старой сельскохозяйственной практики, продолжительность этих двенадцати часов различалась в разное время года. В середине зимы продолжительность часов составляла всего около сорока четырех минут, в то время как в середине лета их было около семидесяти пяти, и они соответствовали нашим только в дни двух равноденствий.[411] Это, конечно, значительно затрудняло изготовление точных циферблатов и водяных часов. Здесь нет необходимости объяснять, как были преодолены трудности; читателя можно отсылать к статье "Часовое дело" в *Словаре древностей*, и особенно к приведенным там вырезам циферблата, найденного в Тускулуме в 1761 году.[412]

Солнечные часы, когда-то введенные с правильным отсчетом широты, вскоре вошли во всеобщее употребление, и до сих пор сохранилось значительное количество таких, которые были найдены в Риме. Во фрагменте комедии неизвестного автора, относящемся к последнему веку до нашей эры, Рим описывается как "полный солнечных часов"[413], и многие из них были обнаружены в других римских городах, в том числе несколько в Помпеях. Но для обычного римлянина, у которого не было солнечных часов или который не был в пределах досягаемости от них, день делился на четыре удобных раздела, как у нас он делится на три: утро, день и вечер. Поскольку они вставали намного раньше, чем мы, часы до полудня были разделены на две части: (1) *mane*, или утро, которое длилось от восхода солнца до начала третьего часа, и (2) *ad meridiem*, или предутренняя пора; затем следовали *de meridie*, то есть послеполуденная, и *suprema*, примерно с девятого или десятого часа до захода солнца. Авторитетом для этих удобных подразделений является *Censorinus, De die natali* (23. 9, 24. 3). Кажется, нет никаких сомнений в том, что они возникли при ведении гражданских дел, и особенно в суде претора, который обычно начинался в третьем часу, то есть в начале *ad meridiem*, и продолжался до *suprema* (*tempestas diei*), что первоначально означало закат, но законом *Plaetoria* было расширено и включало час или два до наступления темноты.

Первое, на что следует обратить внимание при изучении повседневной жизни Рима, - это то, что римляне, как и греки, были заняты гораздо раньше по утрам, чем мы. Отчасти это было результатом их комфортного южного климата, где ночи никогда не бывают такими длинными, как у нас, и где раннее утро не такое холодное и сырое летом или не такое холодное зимой. Но, вероятно, это было еще в большей степени следствием очень несовершенного освещения домов, которое затрудняло выполнение работы, особенно чтения и письма, после наступления темноты и предполагало ранний отход ко сну и ранний подъем по утрам. Мы должны помнить, что улицы освещались только по торжественным случаям, и только в конце римской истории общественные места и развлечения можно было посещать после наступления темноты. В древние времена масляные лампы с фитилем были неизвестны, и частные дома освещались факелами и грубыми свечами из воска или сала.[414] Распространение использования оливкового масла, которое сначала импортировалось из Греции и с Востока, а затем производилось в Италии, привело к производству ламп различных видов, больших и малых; и поскольку выращивание ценного дерева, которое так легко выращивается в Италии, расширилось в прошлом веке до нашей эры, [415] Масляные лампы стали универсальными в домах, банях и т.д. Даже в маленьких старых банях Помпеи было найдено около тысячи ламп, очевидно, использовавшихся для освещения после наступления темноты.[416] Но, несмотря на это и изобретение канделябров для расширения использования свечей, римлянам никогда не удавалось превратить ночь в день, как это делаем мы в нашей современной городской жизни.

Мы должны рассматривать освещение улиц как совершенно исключительное событие. Это произошло, например, в ночь на знаменитое пятое декабря 63 года до нашей эры, когда Цицерон вернулся в свой дом после казни заговорщиков; люди ставили лампы и факелы у своих дверей, а женщины показывали огни с крыш домов.

Трудолюбивый человек, особенно зимой, когда недостаток искусственного освещения делал время особенно ценным, часто начинал свою работу засветло; ему могло понадобиться подготовить речь для сената, или краткое изложение для судебного процесса, или написать письма, и, как мы увидим, как только солнце поднимется достаточно высоко, маловероятно, что он будет полностью сам себе хозяин. Таким образом, февральским утром мы находим Цицерона пишущим своему брату перед восходом солнца,[417] и не исключено, что боль в глазах, на которую он иногда жалуется, могла быть результатом чтения и письма до того, как стало хорошо светать. На своих загородных виллах он мог делать все, что ему заблагорассудится, но в Риме он знал, что "*turba salutantium*" будет на нем, как только взойдет солнце. Цицерон - единственный человек своего времени, о привычках которого мы много знаем, но в следующем поколении Гораций описывает себя как призывающего к ручке и бумаге до рассвета, а позже этот ненасытный ученик Плиний старший работал часами до рассвета, а затем шел к императору Веспасиану, который тоже очень рано вставал.[418] После восхода солнца все население было на ногах; мальчики направлялись в школу, а ремесленники - к своему труду.

Если Гораций не преувеличивает, когда говорит (Сб. i. 1. 10), что адвокат может быть потревожен клиентом во время петушиного пения, занятия Цицерона могли быть прерваны еще до того, как собралась толпа; но вряд ли это случалось часто. Как правило, звонившие собирались в течение первых двух часов (*грива*). В старые времена был обычай открывать свой дом и начинать свои дела на рассвете, а после приветствия своей семье и испрашивания благословения домашних богов заняться своими собственными делами и делами своих клиентов.[419] Хотя нам не говорят об этом прямо, мы должны предположить, что та же практика была распространена во времена Цицерона; при Империи она знакома всем читателям Сенеки или Марциала, но в форме, которая была открыта для большой критики и сатиры. Клиент Империи был деградировавшим существом; о клиенте в последнюю эпоху Республики мы знаем только то, что он существовал и мог быть полезен своему *патрону* многими способами, особенно на выборах и судебных процессах;[420] но мы не слышим о том, чтобы он каждое утро добивался внимания своего патрона или получал какие-либо "спортивные подарки". Тем не менее, число людей, будь то клиенты в этом смысле или в юридическом смысле, или посыльные, деловые люди и обычные посетители, которые захотели бы увидеть такого человека, как Цицерон, прежде чем он покинет свой дом утром, несомненно, было бы значительным. В противном случае им пришлось бы ловить его на улице или Форуме; и хотя иногда известный человек мог намеренно разгуливать на публике, чтобы дать своим клиентам шанс, Цицерон ясно дает понять, что это было не в его стиле.[421]

В течение этих двух первых часов дневного света занятому человеку приходилось находить время для утреннего приема пищи; праздный человек, который ложился спать позже, мог отложить это. Этот ранний завтрак, называемый *ientaculum*[422], был аналогом "кофе с булочкой", который в наши дни обычен во всех европейских странах, кроме нашей, и который вполне способен прокормить даже трудолюбивого человека в течение нескольких часов. Действительно, вполне возможно заняться работой до этого завтрака; Гален говорит, что Антиох, великий врач, посещал таких своих пациентов, которые жили рядом с ним, до завтрака

и пешком [423]. Но, как правило, трапеза принималась до того, как занятой человек отправлялся на свою работу, и состояла из хлеба, либо обмакнутого в вино, либо съеденного с медом, оливками или сыром. Завтрак Антиоха состоял, например, из хлеба и аттического меда.

По окончании трапезы политический или деловой человек выходил из своего дома, перед которым его ждали клиенты, друзья или другие прихлебатели, и направлялся на Форум — центр, как мы видели, всей его деятельности, — сопровождаемый этими людьми в своего рода процессии. Некоторые шли впереди, чтобы освободить ему место, в то время как другие следовали за ним; если бы он был увлечен предвыборными делами, у него были бы опытные помощники, [424] либо добровольцы, либо находящиеся на его жалованье, чтобы уберечь его от ошибок в отношении имен и личностей и фактически помочь ему вести себя по отношению к населению с неременной вежливостью.[425] Каждый влиятельный римлянин любил иметь и обычно имел вереницу последователей или друзей, спускающихся утром из своего дома на Форум, или занимающихся другими общественными делами; какой Q. Цицерон призывает своего брата баллотироваться в консулы, что в принципе может быть приемлемо для всех публичных выступлений общественного деятеля: "Я настоятельно настаиваю на том, чтобы ты всегда был с толпой".[426] Возможно, это можно сравнить с любовью римлянина к процессиям, например, люстрациям на фермах, в городе и армии, [427] и с его инстинктивным желанием помощи и совета во всех важных вопросах как общественной, так и частной жизни, проявленной на консилиуме отцов семейства и магистрата. Примеры легко найти в литературе того периода; прекрасным примером является графическое изображение Гая Гракха и его свиты последователей, которое Плутарх сохранил от современного писателя. "Люди смотрели на него с восхищением, видя, что его сопровождают толпы строительных подрядчиков, ремесленников, послов, магистратов, солдат и ученых мужей, ко всем из которых он был легко доступен; сохраняя свое достоинство, он был милостив ко всем и приспособлял свое поведение к положению каждого человека; таким образом, он доказал лживость тех, кто называл его тираническим или высокомерным".[428]

Прибыв на Форум, если он не был занят судебным процессом, или вызван на заседание сената, или занят агитационной кампанией, он смешивался с толпой и проводил светское утро, встречаясь и беседуя с друзьями, или слушая последние новости из провинций, или занимаясь своими инвестициями с помощью своих банкиров и агентов. Именно так такой общительный и приятный человек, как Цицерон, любил проводить свое утро, когда не был погружен в сочинение какой-нибудь речи или книги, — а в Риме ему действительно едва ли удавалось выкроить время для постоянной литературной работы. Именно такой общественной жизни он жаждал, когда был в Киликии; "одна небольшая прогулка и беседа с тобой, - писал он Целию в Рим, - стоит всех прибылей провинции".[429] Но именно этот многолюдный и разговорчивый форум Луций мог описать в уже цитированном отрывке как кишаший людьми, которые с помощью лицемерия и бландитии проводили день с утра до ночи, пытаясь превзойти своих собратьев.[430]

После утра, проведенного на Форуме, наш римлянин мог вернуться домой как раз к своему обеду (*prandium*), который в старину заменял ранний ужин (*cena*). Точно то же самое повлияло на часы этих трапез, что и на наши собственные в течение последнего столетия или около того; огромное увеличение общественных дел всех видов привело к тому, что у нас время главного приема пищи отодвигалось все позже и позже, и так было в Риме. За два последних столетия до нашей эры у сената накопилось огромное количество дел, и рост ораторского мастерства, а

также растущее желание выступать публично продлевали его заседания иногда до наступления темноты.[431] То же самое было и с судами, которые стали ареной ораторского искусства и часто того потворства личным оскорблениям, которое очень привлекает праздных людей, любящих развлечения. Таким образом, время обеда пришлось перенести примерно с полудня на девятый или даже десятый час[432], и был необходим какой-то обед. Мы мало что слышим об этой трапезе, которая на самом деле была для большинства людей не более чем "перекусом", который лондонские деловые люди принимают, стоя в баре; мы также не знаем, ели ли ее сенаторы и адвокаты, сидя в курии или в суде, или был ли перерыв в заседании для того, чтобы освежиться. Такая отсрочка, по-видимому, имела место, по крайней мере, время от времени, во время игр при Империи, для Светония (*Claud.* 34) говорит нам, что Клавдий распустил бы народ, чтобы взять их прандиум, и все же остался бы сам на своем месте. Шутка Цицерона о Канинии Ребиле, который был назначен консулом Цезарем в последний день 45 года в час дня, показывает, что обычным часом для прандиума было около полудня или раньше; "при консульстве Каниния, - писал он Курию, - никто никогда не обедал".[433]

После приема пищи, если мужчина был дома и на досуге, следовала сиеста (*meridiatio*). Это универсальная привычка во всех странах южного климата, особенно летом, и действительно, если ум и тело активны с раннего утра, небольшой отдых полезен, если не необходим, после полудня. Однако занятые люди, такие как Цицерон, не всегда могли позволить себе это в городе, и ближе к концу своей жизни, когда абсолютизм Цезаря уменьшил объем его работы как в сенате, так и в судах, он отметил, что перешел на сиесту, от которой раньше отказывался.[434] Даже крепыш Варрон в преклонном возрасте заявил, что летом он не может обойтись без дневного сна.[435] С другой стороны, в знаменитом письме, в котором Цицерон описывает свои развлечения с Цезарем в середине зимы 45 года до н.э. О сиесте ничего не говорится; диктатор работал до полудня, затем прогулялся по берегу и вернулся, но не вздремнуть, а принять ванну.[436]

Цезарь, поскольку он был гостем Цицерона, должно быть, принимал ванну на вилле, вероятно, в Кумах (см. Выше, стр. 257). В большинстве хорошо оборудованных частных домов к этому времени уже была ванная комната или набор ванн, предусматривающий любое размещение в зависимости от сезона и вкуса купальщика. Это действительно было современным усовершенствованием; в старые времена римляне мыли только руки и ноги ежедневно и принимали ванну каждый базарный день, то есть каждый девятый день. Об этом говорится нам в забавном письме Сенеки, который также дает описание бани на вилле Сципиона старшего в Литерне, которая состояла из единственной комнаты без окна и снабжалась водой, которая часто становилась густой после дождя.[437] "*Nesciit vivere*", - говорит Сенека, иронически намекая на роскошь своего времени. Во времена Цицерона каждая вилла, несомненно, имела свой набор ванн, по крайней мере, с тремя комнатами: *аподитериум*, *кальдарий* и *тепидарий*, иногда также открытую купальню, как в Доме Серебряной свадьбы в Помпеях.[438] В письме Цицерона своему брату о вилле в Аркануме он упоминает гардеробную (*apodyterium*) и *кальдарий*, или камеру с горячим воздухом, и, несомненно, были и другие. Даже на вилле рустика в Боскореале близ Помпей, которая была действующей фермой, мы находим ванн, в полном комплекте, то есть с тремя необходимыми удобствами: гардеробной, комнатой с прохладой и комнатой с горячим воздухом.[439] Вероятно, Цезарь, поскольку была зима, воспользовался последней из них, фактически принял турецкую баню, как нам следовало бы ее назвать, а затем отправился в *тепидарий*, где, как рассказывает нам Цицерон, его принял какой-то посыльный. Здесь его

помазали (*unctus*), то есть вытерли насухо от пота стригилом, на который капнули масла, чтобы смягчить его действие.[440] Когда эта операция была закончена, примерно в девятом часу, который в середине зимы начинался примерно в половине второго, он был готов к обеду, который последовал немедленно.[441] Это мы можем принять за обычный зимний обеденный перерыв в деревне; летом это было бы примерно на час позже. В забавной истории, приведенной в качестве риторической иллюстрации в произведении, известном как "*Риторика по наследству*", iv. 63, гости (обреченные в тот день обедать только в гостинице) приглашаются на десятый час. Но в городе, должно быть, часто случалось, что время было более поздним из-за неотложных дел. Например, однажды, когда сенат заседал *ad noctem*, Цицерон ужинает с Помпеем после его увольнения (*ad Fam.* i. 2.3). В другой раз мы видим, что он ложится спать после ужина, и явно не для сиесты, на которую, как мы видели, у него никогда не было времени в его напряженные дни; однако на самом деле это было не в Риме, а на его вилле в Формиях, где ему в то время часто мешали посетители (*ad Att.* ii. 16). Вероятно, как и большинство римлян того времени, он подолгу сидел за ужином, разговаривая, если у него были гости, или читая и размышляя, был ли он один или только со своей семьей.

Ужин, *сина*, на самом деле был главным частным событием дня; он состоялся, когда все дела были закончены, и вы могли насладиться уединением семейной жизни или повидаться со своими друзьями и пообщаться с ними. Ни за одним другим приемом пищи мы не слышим о развлечениях, если только гости не были в путешествии, как это было на обеде в Аркануме, когда вспыльчивость Помпонии взяла верх над ней (см. Выше, стр. 52). Даже званые обеды, похоже, вошли в моду только со времен Пунических войн, с более поздним временем работы и большим штатом рабов для приготовления пищи и обслуживания за столом. В старые времена домашней простоты трапезы проводились в атриуме, муж полулежал на *лекте*, [442] жена сидела рядом с ним, а дети сидели на табуретках перед ними. Рабы тоже в старину принимали пищу, сидя на скамьях в атриуме, так что присутствовала вся семья. Это означает, что обед в те дни был лишь необходимым перерывом в перерывах между работой, и сидячая поза всегда сохранялась для рабов, то есть тех, кто приступал к своей работе, как только трапеза заканчивалась. Колумелла, пишущий во времена ранней империи, настоятельно призывает, чтобы виликус или надсмотрщик сидел за своим обедом, за исключением праздников; а Катон младший не откидывался после битвы при Фарсалии до конца своей жизни, очевидно, в знак того, что жизнь больше не доставляла удовольствия.[443]

Но после Второй Пунической войны, которая во многом изменила привычки римлян, атриум перестал быть общей столовой, и были построены специальные помещения либо за пределами атриума, либо во внутренней части дома, около перистилия, или даже наверху, для размещения гостей, которых можно было принимать в разных комнатах, в зависимости от времени года и погоды.[444] Эти *триклинии* были устроены так, чтобы обеспечить наибольший личный комфорт и наилучшие возможности для беседы; они ясно указывают на то, что ужин больше не является перерывом в трапезе. рабочий день, но в конце его - время отдыха и непринужденности. Приведенный здесь план триклиния, описанный Плутархом в его *праздничных заданиях*,

Lectus medius.

+-----+-----+

Шеф |||

Гость ||| Лектус

||| Саммус

```

+-----+-----+ |
  Ч |||
 |||
Lectus || Mensa ||
Imus ||| /
| +-----+ |
  || +-----+
  ||
  ||
  ||
  ||
  +-----+

```

ПЛАН ТРИКЛИНИЯ.

покажу это достаточно без подробного описания; но необходимо заметить, что хозяин всегда или почти всегда занимал ложе, обозначенное на плане как Н, в то время как ложе непосредственно над ним, то есть № 3 *vlectus medius*, было зарезервировано для самого важного гостя и называлось *lectus consularis*. Рассказ Плутарха и небольшое рассмотрение покажут, что хозяин, таким образом, находился в удобном положении для руководства трапезой, а также для беседы со своим выдающимся гостем; и что последний занимал то, что Плутарх называет свободным уголком, так что любые посыльные или другие лица, нуждающиеся в встрече с ним, могли получить к нему доступ, не беспокоя гостей.[445] Число, которое можно было разместить, девять, было не только священным и счастливым, но и точно подходило для удобства беседы и присутствия. Большие приемы не были чем-то неслыханным даже при Республике, и Витрувий сообщает нам, что в некоторых столовых стояли три или более триклиний; но сажать более трех гостей на одно ложе и таким образом увеличивать их количество считалось невежливым или благовоспитанным. Среди недостатков воспитания, которые Цицерон приписывает своему врагу Кальпурнию Пизону, консулу 58 года, одним из них было то, что он усадил пятерых гостей возлежать на одном диване, в то время как сам занимал один; итак, Гораций:

Saepe tribus lectis videas cenare quaternos.[446]

Поскольку гостям было устроено так удобно, можно предположить, что они не спешили уходить; сам факт того, что они полулежали, а не сидели, естественно, располагал их остаться. Триклинии были открыты с одного конца, то есть не закрыты, как в наших столовых, и воздух не становился спертым и "обеденным". Цицерон описывает старого Катона[447] (без сомнения, по какому-то отрывку из сочинений Катона) как продолжающего беседовать за ужином до поздней ночи. Гости прибывали со своими рабынями, которые снимали обувь для ходьбы, если они пришли пешком, и надевали сандалии (*soleae*): каждый был одет в праздничную одежду (*синтез*) греческого происхождения, как и другие элементы развлечения, и не было и речи о том, чтобы снова сменить ее в спешке. Ничто не может лучше показать разницу между старыми римскими нравами и новыми, чем характер этих вечеринок; это неторопливые и удобные встречи богатого и образованного общества, в котором политику, литературу или философию

можно обсуждать с большим самодовольством. То, что такая дискуссия не слишком углублялась в сложные вопросы, возможно, было результатом комфорта.

Конечно, была и другая сторона в этой картине вечера римского джентльмена. В характере римлян была грубая сторона, и в эпоху, когда богатство, работорговля и праздные привычки поощряли потакание своим желаниям, еда была склонна становиться самоцелью, а не необходимым подспорьем к полноценной жизни. Обычные три части или блюда (*mensae*) обеда — *gustatio*, или легкое предварительное блюдо, собственно сена с сытными блюдами и десерт из выпечки и фруктов, могли быть усилены и расширены до неограниченной степени благодаря мастерству поваров-рабов, привезенных из Греции и с Востока (см. Выше, стр. 209); гурман появился задолго до эпохи Цицерона и уже был высмеян Луцилием и Варроном.[448] Великолепные обеденные сервизы могли занять место старой простой посуды, а блюда из мяса и фруктов - быть поданы на стол. а роскошные драпировки и ковры покрывали кушетки вместо шкур животных, как в старину.[449] Вульгарность и показуха, подобные тем, которые высмеивал Гораций, несомненно, встречались слишком часто. Те, кто жил ради пиров и удовольствий, приглашали свою компанию довольно рано (*tempestativum convivium*) и продолжали разгул до полуночи.[450] И, наконец, практика употребления вина после обеда (*comissatio*), просто ради выпивки, по установленным правилам в соответствии с греческим обычаем, знакомым всем нам по *Одам* Горация, несомненно, началась незадолго до окончания Приема гостей. В *Actio prima* своих верринских речей Цицерон дает наглядную картину начинающегося рано застолья, когда было сделано предложение и принято решение о том, что выпивка должна быть "более греческой".[451]

Но было бы большой ошибкой предполагать, что такого рода потакание своим желаниям было характерно для среднестатистической римской жизни той эпохи. Обычный студент склонен впасть в эту ошибку, потому что он читает Горация и Ювенала, но очень мало вникает в переписку Цицерона; и ему нужно напомнить, что сатирики высмеивают обычную жизнь гражданина не больше, чем художники, которые высмеивают слабости наших дней на страницах *Панча*. Цицерон почти никогда не упоминает о своих трапезах, кулинарии или вине, даже в своих самых непринужденных письмах; подобные темы не интересовали его и, похоже, не интересовали его друзей, насколько мы можем судить по их письмам. В одном забавном письме Поэту он действительно рассказывает ему, что ел на ужин в доме друга, но только для того, чтобы объяснить, что ему стало очень плохо от употребления грибов и подобных блюд, которые приготовил его хозяин, чтобы не нарушать недавний закон о роскоши.[452] Письма гораздо ценнее как негативное свидетельство обычного характера обедов, чем инвективы (*vituperationes*) в адрес Пизона или Антония или живое остроумие сатириков. Давайте на мгновение вернемся в заключение к тому знаменитому письму, которое уже цитировалось, в котором Цицерон описывает увеселения Цезаря в Кумах в декабре 45 года. В нем содержится выражение, которое дало повод к весьма ошибочным выводам как о привычках самого Цезаря, так и о привычках его времени. Сказав Аттикусу, что его гость сел ужинать, когда ванна закончилась, он продолжает: "[греч. *Emetikaen*] agebat; itaque et edit et bibit [греч. *adeos*] et iucunde, оставаться в здравом уме и аппарировать, никогда не принимать решения, после

bene cocto condito, sermone bono, et si quaeri, libenter."

Раньше даже хорошие ученые допускали ошибку, предполагая, что Цезарь, человек обычно воздержанный или, по крайней мере, умеренный, решил в этот раз переест, поскольку намеревался впоследствии принять рвотное средство. И даже сейчас, возможно, стоит указать, что медицинское лечение курсом рвотных средств было прекрасно известным и ценным методом в то время; [453] что Цезарь, чье здоровье всегда было хрупким, а в это время подвергалось серьезному испытанию, тогда проходил это лечение и поэтому мог спокойно съесть свой обед, не беспокоясь о том, что он ел и пил; и что меткая цитата из Луцилия и литературная беседа, которая (как добавляет Цицерон) последовала за обедом, неопровержимо доказывают, что это была трапеза не обжоры, а того обычного и рационального типа, в котором он питался. который отдых и приятное общение значили больше, чем просто еда и питье.

Похоже, после того, как сина закончилась и гости разошлись, больше никакой работы сделано не было. Однажды мы застали Цицерона лежащим спать вскоре после еды; и поскольку он был на ногах и активен так рано поутру, мы можем предположить, что он лег спать гораздо раньше, чем мы. Но об этом последнем действии дня он нам ничего не рассказывает.

ГЛАВА X

ПРАЗДНИКИ И УВЕСЕЛЕНИЯ

Итальянцы, представители всех рас, всегда обладали удивительной способностью развлекаться на свежем воздухе. Сегодняшняя итальянская *феста*, обычно, как и в древние времена, связанная с каким-либо религиозным праздником, представляет собой сцену веселья, ярких нарядов, музыки, танцев, костров, скачек и импровизации или ряженья; и все, что мы знаем о древних сельских праздниках Италии, предполагает, что они носили во многом такой же живой и добродушный характер. Тибулл дает нам хорошее представление о них:

"Agricola assiduo primum satiatum aratro
Cantavit oerto rustica verba pede;
Et satur arenti primum est modulatus avena
Carmen, ut ornatos diceret ante decs;
Agricola et minio suffusus, Bacche, rubenti
Primus inexperta duxit ab arte choros." [454]

Было бы легко привести множество примеров такого веселья у поэтов эпохи Августа, почти все из которых родились и выросли в сельской местности и разделяли нежность Вергилия к жизни, полной честного труда и развлечений среди итальянских холмов и долин. Но в этой главе мы будем иметь дело с праздниками и развлечениями большого города, а сельские фестивали упоминаются здесь только потому, что там в зародыше можно найти почти все характеристики городских праздников. Римский календарь праздников берет свое начало в регулярно повторяющихся обрядах первых латинских земледельцев. По мере роста города эти старые сельскохозяйственные празднества, конечно, утратили большую часть своей исконной простоты и наивности; некоторые из них сохранились просто как религиозные или священнические представления, некоторые превратились в распущенное развлечение; но музыку и танцы, яркие наряды, скачки, бормотание или актерское мастерство - все это можно

найти в городе, развившемся в той или иной форме с самых ранних до позднейших периодов римской истории.

Латинским словом для обозначения праздника было *feriae*, термин, который принадлежит языку религиозного права (*ius divinum*). Строго говоря, это означает день, в который гражданин полностью или частично посвятил себя служению богам.[455] По старинке на ферме в такие дни не полагалось никакой работы, поэтому в городе нельзя было заниматься никакими общественными делами. Цицерон, излагая на античном языке свою идею *ius divinum*, так пишет о *feriae*: "*Feriis iurgia amovento, easque in familiis, operibus patratis, habento*", что, как он впоследствии объясняет, означает, что гражданин должен воздерживаться от судебных разбирательств, а раб должен быть освобожден от работы.[456] Идея праздника тогда была во многом такой же, какую мы находим выраженной в еврейской субботе, и имела свои корни также в религиозном соблюдении. Но Цицерон, независимо от того, воспроизводил ли он на самом деле слова старого закона или изобретал его для себя, определенно не отражал обычай города своего времени; столь строгое соблюдение правил было невозможно в столице Империи, какой стала Римская. Даже на ферме давным-давно было признано необходимым делать исключения; так, Вергилий говорит нам:[457]

"Quippe etiam festis quaedam exercere diebus
Fas et iura sinunt: rivos deducere nulla
Religio vetuit, segeti praetendere saepem,
Insidias avibus moliri, incendere vepres,
Balantumque gregem fluvio mersare salubri."

Точно так же в городе было просто невозможно прекратить все работы на фериях, которых в год было более сотни, включая иды каждого месяца и некоторые Календы и Ноны. На самом деле произошло двойное изменение с тех пор, как город и его владения начали быстро увеличиваться примерно во время Пунических войн. Во-первых, многие старые праздники, посвященные божествам, популярность которых пошла на убыль, или которые больше не имели никакого значения для городского населения как божества земледелия, были почти полностью забыты: даже если жрецы совершали предписанные обряды, никто не знал, и никому не было дела, [458] и можно усомниться в том, было ли государство вообще скрупулезным в соблюдении старых священных правил относительно часов, в которые можно было вести дела в такие дни.[459] Во-вторых, некоторые фестивали, сохранившие свою популярность, были продлены с одного дня до трех или более, в одном или двух случаях, как мы увидим, даже до тринадцати и пятнадцати дней, чтобы дать время для сложной системы общественных развлечений, состоящей из гонок на колесницах и театральных представлений, и известной под названием *ludi*, или, как на зимних сатурналиях, чтобы дать возможность всем классам развлекаться в течение коротких дней в течение семи утра вместо одного. Очевидно, что это было гораздо более удобным и популярным способом, чем разбрасывать свои каникулы на весь год в виде отдельных дней; и это устраивало богатых и честолюбивых людей, которые стремились снискать расположение публики грандиозными представлениями и играми, которым требовалось несколько дней подряд для полного представления. Таким образом, старое религиозное слово *feriae* постепенно вытесняется в значении общественного праздника развлечений словом *ludi* и в конце концов стало означать, как это до сих пор происходит в Германии, каникулы школьников.[460] Эти люди составят главную тему этой главы; но сначала

мы должны упомянуть об одном или двух старых праздниках, которые, по-видимому, всегда оставались поводами для организации праздников, во всяком случае, для низших классов населения.

Одно из них произошло в Мартовские иды и, должно быть, происходило в тот момент, когда в 44 году до н.э. был убит Цезарь. Это был праздник Анны Перенны, таинственного древнего божества "кольца года". Низший класс населения, сообщает нам Овидий,[461] устремился на "гениальный праздник" Анны и провел весь день на Марсовом поле, валяясь парами мужчин и женщин, предаваясь пьянству и всевозможным кутежам. Некоторые лежали под открытым небом; некоторые сооружали палатки или грубые хижины из ветвей, натягивая на себя тоги в качестве укрытия. Выпивая, они молились о том, чтобы им продлилось столько лет жизни, сколько они могли проглотить из кубков вина. Там можно было найти обычные черты итальянской *фесты*: они пели все, что слышали в театре, с большой жестикуляцией ("et iactant faciles ad sua verba manus") и танцевали, женщины распускали свои длинные волосы. Результатом этих выступлений, естественно, стало то, что они вернулись домой в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало веселье прохожих. Овидий добавляет, что он сам встретил их, когда они возвращались, и видел, как пожилая женщина тащила за собой старика, оба они были пьяны. Возможно, были и другие популярные "веселья" такого рода, например, на Нептуналиях 23 июля, где мы находим тот же любопытный обычай строить временные хижины или укрытия;[462] но это единственное, о котором у нас есть рассказ очевидца. О знаменитых февральских Луперкалиях и некоторых других праздниках, которые не исчезли совсем и не были преобразованы в люды, мы знаем только ритуал и не можем сказать, использовались ли они все еще как народные праздники.

Однако один знаменитый праздник старого религиозного календаря всегда оставался любимым праздником, а именно. Сатурналии 17 декабря, которые по обычаю были продлены всего до семи дней.[463] Вероятно, это было пережитком праздника середины зимы в жизни фермы, в то время, когда все осенние работы на ферме были закончены и когда и раб, и свободный могли предаваться неограниченному удовольствию. Такие древние обычаи умирают с трудом или, как в случае с Сатурналиями, вообще никогда не умирают; ибо те же черты все еще можно найти в рождественских праздниках итальянских крестьян. Каждый знает что-нибудь о характере этого праздника, и особенно об увеселении рабов их хозяевами, [464] которое имеет много параллелей в греческих обычаях и, как недавно предполагалось, было заимствовано у греков. Играли в разные игры, и среди них в "Царя", в которую, как мы видели, юный Катон играл со своими мальчиками-товарищами.[465] Сенека рассказывает нам, что в его дни весь Рим, казалось, сходил с ума в этот праздник.

Но теперь мы должны обратиться к настоящим *людям*, организованным государством в больших и постоянно возрастающих масштабах. Самым старым и впечатляющим из них были *Ludi Romani* или *Magni*, которые длились с 5 по 19 сентября во времена Цицерона. Они берут свое начало в возвращении победоносной армии в конце военного сезона, когда король или консул должен был выполнить клятвы, которые он дал, вступая в свой поход. Обычной формой обета было развлекать людей по его возвращении в честь Юпитера, и поэтому первоначально они назывались *ludi votivi*, прежде чем их включили в качестве регулярно повторяющегося фестиваля. После того, как они стали регулярными и ежегодными, любое развлечение, назначенное полководцем, должно было проводиться в другие дни; таким образом, в 70 году до н.э. триумфальное шествие Помпея *ludi votivi* непосредственно предшествовало *Ludi Romani*

того года,[466] предоставив народу в общей сложности около тридцати дней отпуска. Центральной точкой и первоначальным днем Ludi Romani были Иды (13 сентября), которые также были днем *epulum Jovis*[467] и *dies natalis* (день посвящения) капитолийского храма Юпитера; и весь церемониал был тесно связан с этим храмом и его великим божеством. Триумфальная процессия прошла по Сакра-виа к Капитолию, а оттуда снова к Большому цирку, где проходили люди. Зрелище, должно быть, было самым впечатляющим; сначала маршировали мальчики и юноши, пешие и верхом на лошадях, затем колесницы и возничие, готовые принять участие в скачках, с толпами танцоров и флейтистов[468] и, наконец, изображения самих капитолийских божеств, несомых на *феркуле* (носилках). Все подобные представления и шествия были дороги римскому народу, и это, кажется, стало постоянной чертой Ludi Romani, независимо от того, должен был отмечаться настоящий триумф или нет, а также некоторых других *ludi*, например, Аполлинаров и Мегаленс.[469] Таким образом, поддерживалась идея, что величием и процветанием Рим был обязан прежде всего Юпитеру Оптимусу Максимусу, который со времен Тарквиниев свысока взирал на свой народ из своего храма на Капитолии.[470]

Ноябрьский Ludi Plebeii, похоже, был своего рода плебейским дубликатом Ludi Romani. Будучи полностью развитыми в конце Республики, они продолжались с 4-го по 17-е; их центральной точкой и первоначальным днем были Иды (13-е), в которые, как и 13 сентября, в Капитолии был *epulum Jovis*. [471] Они связаны с именем того Фламиния, который построил цирк Фламиниуса на Марсовом поле в 220 году до н.э., поборника народных прав, убитого вскоре после этого в Тразимене; и вполне вероятно, что его целью при возведении этого нового увеселительного заведения было обеспечить удобное здание, свободное от посторонних предметов. аристократические ассоциации. Но, к сожалению, мы очень мало знаем об истории этих людей.

Если мы можем предположить, что Ludi Plebeii были учреждены незадолго до второй Пунической войны, интересно отметить, что в ходе этой войны были организованы еще три великих *ludi*, несомненно, с целью поддержания упавшего духа городского населения. Люди Аполлинарии были принесены претором Урбаном в 212 году, когда судьба Рима висела на волоске, и праздновались в Большом цирке: в 208 году они были привязаны к определенному дню, 13 июля, и в конечном итоге были расширены до восьми, а именно. 6-13 июля.[472] В 204 году были учреждены Ludi Megalenses, чтобы отпраздновать прибытие в Рим Великой Матери из Пессина во Фригии, то есть 4 апреля; но в конечном итоге *ludi* были продлены до 10 апреля.[473] Наконец, в 202 году Ludi Ceriales, которые, вероятно, уже существовали в какой-то форме, были сделаны постоянными и назначены на 19 апреля: в конечном итоге они продолжались с 12 по 19 апреля.[474] После окончания войны мы находим только еще один набор *ludi*, установленный на постоянной основе, а именно. цветочные, которые датируются 173 годом. Первоначальным днем было 28 апреля, которое долгое время было одним из грубых удовольствий для плебса; как и другие *ludi*, они тоже были продлены и в конечном итоге были продлены до 3 мая.[475] Апрель, мы можем отметить, был месяцем, состоящим в основном из праздников: Ludi Megalenses, Ceriales и Florales занимали не менее семнадцати из его двадцати девяти дней.

Когда Сулла захотел отметить свою победу у Коллинских ворот, он учредил Ludi Victoriae Первого ноября, дату битвы, и они, по-видимому, сохранялись после того, как большая часть работ Суллы была уничтожена; они упоминаются Цицероном в цитированном выше отрывке из "Верринов" как Ludi Victoriae, но мы слышим о них сравнительно мало.

Прежде чем мы перейдем к описанию природы этих многочисленных развлечений, не мешало бы уяснить, что зрителям нечем было за них платить; они предоставлялись государством бесплатно, поскольку являлись частью определенных религиозных праздников, поддерживать которые было обязанностью правительства. Для этой цели были выделены определенные суммы, которые время от времени менялись по размеру; так, в 217 году до н.э. для *Ludi Romani*, на которые к тому времени было потрачено 200 000 сестерциев (16 600 фунтов стерлингов), сумма в 333 333 - 1/3 сестерциев. было проголосовано, потому что число три имело священное значение, и момент был крайне опасным для государства.[476] Только однажды перед концом Республики мы слышим о каком-либо публичном сборе средств для *ludi*; в 186 году до н.э. Плиний говорит нам, что все были настолько богаты, без сомнения, из-за огромного количества добычи, привезенной с войны на Востоке, что все пожертвовали небольшую сумму на игры Сципиона Азиатского.[477] Несомненно, рос спрос на великолепие зрелищ, и, таким образом, это привело к тому, что все были богаты. по этому поводу сумма, предоставленная государством, должна была быть дополнена. Но обычный способ дополнить его состоял в том, что магистрат, отвечавший за *ludi*, платил, сколько мог, из своего собственного кошелька или просил своих друзей помочь ему; а поскольку все *ludi*, кроме Аполлинаров, подчинялись эдилам, у них вошло в практику, если они стремились достичь преторства и консульства, соперничать друг с другом в безрассудстве своих трат. Еще в 176 году до н.э. сенат попытался ограничить эти личные расходы, поскольку Т. Семпроний Гракх в качестве эдила в том году потратил огромные суммы на своих людей и выжимал деньги (непонятно, каким образом) из подвластного населения Италии, а также провинций, чтобы развлечь римский народ.[478] Но, естественно, никакие указы сената по таким вопросам, вероятно, не имели постоянного действия; знатные семьи, младшие члены которых таким образом стремились к популярности, были слишком могущественны, чтобы их можно было легко остановить. В последнюю эпоху Республики дополнять вклад государства стало необходимой частью обязанностей эдила, и, как правило, ему приходилось брать крупные займы и, таким образом, привлекать финансовые средства довольно рано в своей политической карьере. В своем *de Officiis*, [479] сочинении о добродетели *либералитаса*, Цицерон приводит список людей, которые были щедры в качестве эдилов, включая старшего и младшего Красса, Муция Сцевола (человека, по его словам, большого самообладания), двух Луэллиев, Гортензия и Силана; и добавляет, что в свое консульство П. Лентул превзошел всех своих предшественников, и ему подражал Скавр в 58 г. до н. э.[480] Сам Цицерон в качестве эдила ему пришлось заняться романскими людьми, Мегаленсами и Флоралами; как он справлялся с этим в финансовом отношении, он нам не говорит.[481] Цезарь, несомненно, много занимал, поскольку его расходы как эдила были огромными, [482] и у него не было сколько-нибудь значительного личного состояния.

Наш друг Целий Руф был избран курульным эдилом, когда состоял в переписке с Цицероном, и его письма дают нам хорошее представление о состоянии ума амбициозного молодого человека, стремящегося максимально использовать себя. Он постоянно нервничает из-за своих игр; он всей душой мечтает выставить пантер на выставку и поохотиться и в письме за письмом призывает Цицерона раздобыть их для него в Киликии. "Для тебя будет позором, - пишет он в одном из них, - что Патиск послал Куриону десять пантер, и что ты не должен посылать мне вдесятьраз больше".[483] Губернатор провинции, убеждает он, может делать все, что ему заблагорассудится; пусть Цицерон пошлет за несколькими людьми из Кибиры, пусть он напишет в Памфилию, где их больше всего, и он получит то, что хочет, или, скорее, то, чего хочет Целий. Даже после письма, полного самых важных отчетов о государственных делах,

включая копии *senatus consulta* (ad Fam. viii. 8), он возвращается в конце к неизбежным пантерам. Цицерон рассказывает Аттику, что он упрекал Целия за то, что тот так настойчиво принуждал его делать то, чего его совесть не могла одобрить, и что, по его мнению, было неправильно, чтобы губернатор провинции отправлял жителей Сибири охотиться на пантер для римских игр.[484] Из того же отрывка следует, что Целий также убеждал его предпринять в его провинции другие шаги, которые он не одобрял, без сомнения, с той же целью собрать деньги для *ludi*. Это письмо Целию не сохранилось, но мы можем полагать, что Цицерону хватило смелости упрекнуть своего старого ученика и что постоянное беспокойство за пантер было выше сил даже его дружелюбия. Но другие были менее чувствительны; и в естественной истории хорошо известен факт, что с этого времени римские игры оказали мощное влияние на сокращение численности диких животных в странах, граничащих со Средиземноморьем, и привели к исчезновению видов. В наши дни той же работой занимаются охотники на крупную дичь, несколько дальше от города; удовольствие от забоя теперь доступно лишь немногим богатым и предприимчивым, которые охотятся для собственного удовольствия, а не для того, чтобы устроить себе праздник в Лондоне.

Таким образом, для всех своих людей гражданин имел право бесплатного посещения.[485] Англичанин поначалу может столкнуться с некоторыми трудностями при осознании этого; это как если бы матчи по крикету, футболу и театры в Лондоне были открыты для публики бесплатно, а расходы оплачивал Совет Лондонского графства. И все же нетрудно понять, как римское правительство скатилось к практике, которая, как в конечном итоге выяснилось, привела к таким плачевным результатам. Уже объяснялось, что изначально люди были привязаны к определенным религиозным праздникам, поддерживать которые было обязанностью государства, его священников и магистратов. Римляне, как и все итальянцы, любили зрелища и развлечения на свежем воздухе, и по мере того, как население увеличивалось и становилось более подверженным волнениям во время напряженных великих войн с Карфагеном, стало необходимо поддерживать их жизнерадостность и хорошее настроение, развивая старые *ludi* и вводя новые, за что было бы вопреки всем прецедентам заставлять их расплачиваться. Правительство, как мы можем догадаться из истории *ludi*, которая только что была вкратце изложена, поначалу, похоже, старалось не заходить слишком далеко в этой политике, и прошло некоторое время, прежде чем какие-либо *ludi*, кроме цыганских, были объявлены ежегодными и продлены до той длины, которой они в конечном итоге достигли. Но внезапный рост богатства после окончания великой борьбы был ответственен за это, как и за многие другие пагубные тенденции. Мы видели, что сами люди в 186 году были способны и желали вносить свой вклад; и теперь эдилы могли вкладывать свой капитал в популярные предприятия, которые впоследствии могли бы хорошо окупиться за счет продвижения их на высшие должности магистратуры и губернаторства провинций, где можно было бы сколотить новые состояния. Пагубные последствия здесь, конечно, столь же очевидны, как и в параллельном случае с поставками зерна (см. Выше, стр. 34); огромные суммы капитала использовались непроизводительно, и люди постепенно привыкли верить, что государство несет ответственность за их удовольствия, а также за их пропитание. Но мы должны быть предельно осторожны и не делать поспешных выводов о том, что это произошло из-за какой-либо преднамеренной политики со стороны римского правительства. Их занесло на эти опасные мели, несмотря на случайные усилия умных рулевых; и действительно, потребовался бы более высокий политический интеллект, чем был тогда доступен, чтобы полностью предугадать направление дрейфа и подстерегающие их опасности.

Теперь, в последнюю очередь, мы должны обратиться к рассмотрению природы развлечений и посмотреть, было ли в них какое-либо оздоровительное или воспитательное влияние.

Первоначально они состояли исключительно из представлений военного характера, как мы видели в случае с *Ludi Romani*, и особенно гонок на колесницах в старом Большом цирке. Римляне, по-видимому, всегда любили лошадей и скачки, хотя у них никогда не было больших или полностью боееспособных кавалерийских сил. Вероятно, расположение Большого цирка в долине Мурсии [486] было связано с конными скачками возле подземного алтаря Консуса, божества урожая, а в древнейшем религиозном календаре Эквирия (скачки) приходится на 27 февраля и 14 марта, без сомнения, в связи с подготовкой кавалерии к предстоящему военному сезону. И в очень любопытном древнем обряде, известном как "октябрьская лошадь", на Марсовом поле проводились гонки на колесницах с участием двух лошадей, когда сезон состязаний заканчивался, и ближайшая лошадь пары победителей приносилась в жертву Марсу[487]. *Ludi Romani* состояли в основном из гонок на колесницах до 364 г. до н.э. (когда впервые были введены игры), вместе с другими военными эволюциями или упражнениями, такими, возможно, как *ludus Troiae* римских мальчиков, описанный Вергилием в пятой "Энеиде". О *Ludi Plebeii* мы не знаем первоначального названия, но вполне вероятно, что они также начинались *circenses*, обычного слова, обозначающего гонки на колесницах. *Ludi Cereales*, безусловно, включали цирки, и представления упоминаются только как часть их программы при Империи; но в последний день, 19 апреля, в Большом цирке существовала любопытная практика выпускать на волю лис с привязанными к их хвостам горящими головешками[488] — обычай, несомненно, древний, который, возможно, наводил на мысль *ovenationes* (охоте) более поздних времен, для одной из которых Целий хотел заполучить своих пантер. О трех других *ludi*, *Apollinares*, *Megalenses* и *Florales* мы знаем только, что они включали в себя как цирковые представления, так и пьесы; мы должны считать вероятным, что первые были в их программе с самого начала. Нет необходимости подробно описывать здесь манеру гонок на колесницах. Мы можем представить себе Большой цирк, заполненный плотной толпой примерно в 150 000 человек, [489] сенаторы на отведенных местах и консул или другой магистрат, председательствующий; колесницы, обычно по четыре, окрашенные в это время в красный или белый цвет, с их возницами в тех же цветах, выезжают из карцеров в конце цирка, рядом с Боариумом форума и рекой, и по сигналу проносятся по трассе длиной около 1600 ярдов, разделенной на две половины перекладиной; на дальнем конце этой трассы колесницы должны были резко поворачивать и останавливаться. всегда с определенной долей опасности, которая придавала гонке ее главный интерес. Семь полных кругов этой трассы составляли миссис, или гонку,[490] и количество гонок в день менялось время от времени, в зависимости от сезона года и снаряжения конкретного спортсмена. Соперничество между фракциями и цветами, ставшее столь известным позже и продолжавшееся на протяжении всего периода Империи, во времена Цицерона только начиналось. Мы почти ничего не слышим о подобном ажиотаже в литературе того периода; мы знаем только, что уже существовало два конкурирующих цвета, белый и красный, и Плиний рассказывает нам странную историю о том, что один владелец колесницы, Цецина из Волатерры, привозил в город ласточек, вымазанных его цветом, которых он выпускал, чтобы они улетели домой и таким образом принесли весть о победе.[491] Человеческая природа в больших городах, по-видимому, требует какого-то такого искусственного стимула для возбуждения, и без него скачки, должно быть, были бы однообразными; но о пари и азартных играх мы пока вообще ничего не слышим. Постепенно, по мере того как капиталисты и даже сенаторы вкладывали огромные суммы денег в лошадей и

возниц, цветные группировки увеличивались в численности, и их соперничество стало занимать умы людей так же полно, как сейчас шансы футбольных команд в наших собственных промышленных городах.[492]

Показательные выступления гладиаторов (*munera*) тогда еще не проводились в *ludi* или на публичных празднествах, но о них можно упомянуть здесь, потому что они уже становились любимым развлечением простых людей; Цицерон в "*pro Sestio*"[493] говорит о них как о "такого рода зрелищах, на которые в наибольшем количестве собираются люди всех мастей и от которых толпа получает наибольшее удовольствие". Следствием этого, конечно, было то, что кандидаты на избрание в магистратуры пользовались любой возможностью для их проведения; и сам Цицерон в период своего консульства включил пункт в свой закон об ограничениях, запрещающий кандидатам устраивать подобные выставки в течение двух лет после выборов.[494] До 105 г. до н.э. их раздавали исключительно частные лица либо на Форуме, либо в том или ином цирке: в том году консулы устраивали выставку, но есть некоторые свидетельства того, что она была предназначена для обучения солдат лучшему обращению с оружием. Это был год, когда государство остро нуждалось в боеспособных солдатах; Марий в то же время вводил новую систему набора и вооружения солдат, и нам говорят, что консул Рутилий использовал лучших гладиаторов, которых можно было найти в тренировочной школе (*ludus*) некоего Скавра, чтобы научить мужчин более искусно обращаться с оружием.[495] Если бы гладиаторов можно было использовать только для разумных целей, подобных этой, в качестве искусных фехтовальщиков и военных инструкторов, государство вполне могло бы сохранить некоторую их численность. Но как бы то ни было, они оставались в частных руках, и количество их не могло быть ограничено. Они стали постоянной угрозой общественному спокойствию, как уже упоминалось в главе о рабстве. Их частое использование в похоронных играх - несколько отвратительная черта той эпохи. Эти погребальные игры были старым религиозным институтом, проводившимся на девятый день после погребения и известным как *Ludi Novendiales*; они знакомы каждому по искусному описанию их Вергилием как римского эквивалента гомеровских игр в пятой "Энеиде", в годовщину похорон Анхиза. Вергилий, естественно, опустил гладиаторов; но задолго до него стало обычным делом использовать возможность похорон родственника, чтобы подарить мунеру с целью завоевания популярности.[496] Хорошим примером является история молодого Куриона, который в 53 году до нашей эры погубил себя таким образом. Цицерон намекает на это в интересном письме Куриону.[497] "Ты можешь легче достичь высших почестей, - говорит он, - благодаря своим природным преимуществам характера, усердию и богатству, чем благодаря гладиаторским выступлениям. Способность дарить их ни в ком не вызывает чувства восхищения: это вопрос средств, а не характера; и нет никого, кто к этому времени не был бы сыт ими по горло". Утонченному уму Цицерона они, естественно, были противны; но молодые люди вроде Куриона, хотя и любили Цицерона, не имели обыкновения следовать его полезным советам.[498]

Теперь мы обратимся к драматическому элементу в "Людах", главным образом с целью определить, имел ли он какое-либо реальное значение в общественной жизни римского народа в эпоху Цицерона. Римская сцена имела великую историю до прошлого века до нашей эры, в которую здесь нет необходимости вдаваться. Тем, кто отвечал за *ludi*, всегда было возможно без труда поставить на сцене трагедию или комедию, написанную специально для этого случая или воспроизведенную, с компетентными актерами и необходимой музыкой; и, кажется, нет никаких сомнений в том, что как трагедии, так и комедии, будь то адаптированные с греческого (*fabulae palliatae*) или национального характера (*fabulae togatae*), нравились зрителям. Во

времена Пунических войн и впоследствии, когда все греческое было популярно, римская публика могла оценить сюжеты греческой мифологии, представленные в трагедиях Энния, Пакувия и Акция, если и не научившись читать в них великие проблемы человеческой жизни, то, по крайней мере, как зрелища превратностей человеческой судьбы; и иногда слушала трагедию или, возможно, читала драматическую историю, основанную на какой-нибудь знакомой легенде об их собственном государстве. И условия общественной жизни в Риме и Афинах отличались не так уж сильно, если не считать того, что в руках такого настоящего гения, как Плавт, Новая афинская комедия могла вернуться домой к римскому народу с его восторгами от довольно грубых забав и комичных ситуаций: за Плавтом последовали Цецилий и более утонченный Теренций, прежде чем национальная комедия Афрания и других утвердилась на месте греческой. Вряд ли возможно избежать вывода о том, что в те ранние дни римского театра зрители были действительно умны и способны чему-то научиться из прослушиваемых ими пьес, помимо их естественной любви к шоу, ко всей актерской игре и музыке.[499]

Но еще до эпохи, о которой идет речь в этой книге, длинная череда великих драматических писателей подошла к концу. Акций, племянник Пакувия, умер глубоким стариком, когда Цицерон был мальчиком;[500] и в национальной комедии не нашлось никого, кто последовал бы за Афранием. Времена были беспокойные, население было беспокойным и постоянно включало в себя разнородные элементы: много интересного можно было найти в жизни Форума, а также в беспорядках; гладиаторские представления устраивались с большим размахом. Сидеть спокойно и смотреть хорошую пьесу становилось все более утомительным по мере того, как плебс становился все более беспокойным, и, вероятно, даже вкусы более образованных людей вырождались как естественный результат роскоши и безделья. Политика и политические персонажи были действительно захватывающими чертами того времени, и есть признаки того, что зрители воспользовались этими пьесами, чтобы выразить свое одобрение или неприязнь к государственному деятелю. В письме Аттику, написанном летом 59 года, [501] в первый год триумvirата, Цицерон с энтузиазмом описывает, как в театре "Люди Аполлинарии" актер Дифил сделал намек на Помпея словами (из неизвестной трагедии, которая тогда разыгрывалась) "*Nostra miseria tu es—Magnus*" и был вынужден повторять их много раз. Когда он произнес эту фразу

"*Eandem virtutem istam veniet tempus cum graviter gemes,*"

весь театр разразился неистовыми аплодисментами. Точно так же в хорошо известном отрывке речи *pro Sestio* он рассказывает понаслышке, как великий трагический актер Эзоп, игравший в "Эврисаксиях Акция", снова и снова прерывался аплодисментами, поскольку он ловко приспособливал слова к ожидаемому возвращению из ссылки оратора, его личного друга.[502] Знаменитые слова "*Summum amicum, summo in bello, summo ingenio praeditum*" были среди тех, которые, по словам скромного Цицерона, были восприняты народом с энтузиазмом, что, без сомнения, сильно повредило пьесе. Весь этот отрывок обладает огромной изобразительной силой, и он не вызывает у нас особого энтузиазма только тогда, когда мы вспоминаем, что самого Цицерона при этом не было.

Из этого и других отрывков у нас есть множество свидетельств того, что трагедии все еще разыгрывались; но Цицерон нигде в своей переписке, где мы, естественно, ожидали бы их найти, ни в своих философских трудах не дает нам ни малейшего представления об их воспитательном или эстетическом влиянии ни на него самого, ни на других. Он постоянно

цитирует старые пьесы, особенно трагедии, и знает их очень хорошо, но почти неизменно цитирует их только как литературу. Раз или два, как мы увидим, он вспоминает жест или высказывание великого актера, но, как правило, он думает о них скорее как о поэзии, чем как о пьесе. В этой связи можно отметить, что сейчас вошло в моду писать пьесы без какого-либо непосредственного намерения вывести их на сцену. Мы с удивлением читаем в письме Цицерона своему брату Квинту, находившемуся в то время в Галлии, что последний занялся сочинением пьес и поставил четыре трагедии за шестнадцать дней, и это, по-видимому, в ходе кампании.[503] Один, *Эригона*, был отправлен к своему брату из Британии и потерялся по дороге. Мы больше не слышим этих пьес, и у нас нет оснований предполагать, что они были достойны того, чтобы выжить. В то время ни один выдающийся литературный деятель не писал пьес для актеров, и фактически единственным известным человеком, насколько нам известно, который делал это, был младший Корнелий Бальб, сын близкого друга и секретаря Цезаря. Этот человек написал роман на латыни о своем путешествии в родной город Гадес, поставил его там на сцене и проливал слезы во время исполнения.[504]

Когда мы слышим о пьесах, которые пишутся без постановки, и о трагедиях, которые делаются поводом для выражения политических взглядов, мы можем быть почти уверены, что драма переживает свой век. Интересное доказательство той же тенденции можно найти в первой книге *Ars Amatoria* Овидия, хотя она относится к эпохе Августа. В этой книге Овидий описывает различные курорты в городе, где юноша может присмотреть себе девушку; и когда он приходит в театр, рисует прелестную картину толпящихся там дам со вкусом и модой, — но

Spectatum veniunt: veniunt spectentur ut ipsae.

А затем, ни слова не сказав о пьесе, ни малейшего намека на то, что ему или дамам действительно небезразличны подобные вещи, он переходит к знакомой истории об изнасиловании сабинянок, которое, как предполагается, произошло, когда Ромул держал в руках свою луди.

Любопытно, учитывая, таким образом, кажущийся угасающим интерес к драме как таковой, обнаружить, что самым замечательным событием в театральной истории того времени является строительство первого постоянного каменного театра. За весь долгий период популярности драмы правительство так и не дало согласия на возведение постоянного театра по греческому образцу; хотя было невозможно запретить постановку пьес, адаптированных с греческого, по-видимому, испытывались какие-то странные угрызения совести по поводу предоставления Риму этого внешнего признака греческого города. На Форуме или в цирке были возведены временные сцены, зрители сначала стояли, но затем разместились на сиденьях *впещере* из дерева, сооруженной специально для этого случая. Все шоу, включая пьесу, актеров и флейтистов[505], которые при необходимости сопровождали голоса, было заключено по контракту, как и на все подобные мероприятия, [506] на каждый раз, когда продюсировались *Ludi scaenici*. Наконец, в 154 году до н.э. цензоры фактически приступили к строительству театра, по-видимому, из камня, когда реакционер Сципион Назика, действуя под влиянием временного антигреческого движения, убедил сенат положить конец этому симптому вырождения и издать указ о том, что в будущем не будет предоставляться мест, "*ut scilicet remissioni animorum standi virilitas propria Romanae gentis iuncta esset*".[507] Имел ли этот чрезвычайный указ, законность которого могла быть поставлена под сомнение поколением позже, какое-либо постоянное действие, мы не знаем; несомненно, сенаторы, а после

правления Гая Гракха всадники, сидели на отведенных им местах. Но Рим по-прежнему оставался без каменного театра, пока Помпей в год своего второго консульства, 55 год до н.э., не построил грандиозный театр, способный вместить 40 000 человек. Даже он, как нам говорят, не смог бы добиться этого без некоторой критики со стороны старых и старомодных людей, — настолько прочным было предубеждение против всего, что могло показаться превращающим Рим в греческий город.[508] Ходила также история, подлинное происхождение которой трудно установить, о том, что он был вынужден под влиянием народных настроений скрыть свой замысел, построив сразу за театром храм Венеры Победоносной, ступени которого были каким-то образом соединены со зрительным залом.[509] Театр располагался на Марсовом поле, и его форма нам довольно хорошо известна по фрагментам плана Капитолия города;[510] рядом с ним Помпей также построил великолепный *портик* для удобства зрителей и *курию*, в которой мог собираться сенат, и где одиннадцать лет спустя великий диктатор был убит у ног статуи Помпея.

Несмотря на великолепие этого здания, ему ни в коем случае не было суждено возродить прежний расцвет трагической и комической драмы. Даже при его открытии очевидны признаки вырождения. К счастью для нас, Цицерон в то время был в Риме, и в письме другу в деревню он поздравляет его с тем, что он слишком плохо себя чувствует, чтобы приехать в Рим и посмотреть, как портят старые трагедии чрезмерной демонстрацией.[511] "В *ludi*, - говорит он, - не было даже того очарования, которым обычно обладают игры среднего масштаба; зрелище было настолько сложным, что не оставляло места для веселого веселья, и я думаю, вам не нужно сожалеть о том, что вы его пропустили. Какое удовольствие от вереницы из шестисот мулов в "Клитемнестре" (Акция), или трех тысяч чаш (кратеров) в "Троянском коне" (Ливия), или ярких доспехов пехоты и кавалерии в какой-нибудь имитационной битве? Эти вещи вызвали восхищение вульгарных людей; вам они не доставили бы никакого удовольствия". Это показное сценическое представление в какой-то степени находит свое отражение и в наши дни, и может напоминать нам также об огромных оркестрах с оглушительным звуком, которые восхищают современного композитора и современную музыкальную аудиторию. И пьесы ни в коем случае не были единственной частью шоу. Были выступления атлетов; но они, по-видимому, никогда особо не интересовали римскую публику, и Цицерон говорит, что Помпей признавал, что они потерпели неудачу; но чтобы компенсировать это, целых пять дней устраивались представления с участием диких зверей (*venationes*) — "великолепные, - говорится далее в письме, - никто этого не отрицает, но какое удовольствие может доставить утонченному человеку, когда слабый человек разрывается на части от очень сильного животного, или великолепное животное пронзено охотничьим копьем? ... Последним днем был день слонов, который вызвал немало удивления у вульгарной толпы, но никакого удовольствия. Более того, они даже вызвали чувство сострадания и предположение, что это животное имеет что-то общее с человечеством".[512] Это последнее интересное предложение подтверждается отрывком из "*Естественной истории*" Плиния, в котором он утверждает, что люди были настолько тронуты, что фактически возненавидели Помпея.[513] Последняя эпоха Республики в этом, как и в других отношениях, является переходной; люди еще не до конца привыкли к кровопролитию и жестокому обращению с животными, какими они стали впоследствии, когда их лишили политических развлечений и не оставили ничего, что могло бы развлечь их насилием, кроме зрелищ в амфитеатре.

Ранее в том же письме Цицерон сообщал своему другу Марию, что по этому случаю на сцене вновь появились несколько старых актеров, которые, как он думал, покинули ее навсегда.

Единственный, кого он упоминает, - это великий трагический актер Эзоп, который "был в таком состоянии, что никто не мог сказать ни слова против его ухода из профессии". В один важный момент голос подвел его. Это может напомнить нам о том, что Эзоп был последним из великих актеров трагедии и что его лучшие дни пришлись на первую половину нынешнего столетия — еще один признак упадка подлинной драмы. Он был близким другом Цицерона, и из нескольких упоминаний о нем в сочинениях Цицерона мы можем составить некоторое представление о его гениальности. В одном отрывке Цицерон пишет о том, что видел его таким диким и так возбужденно жестикулирующим, что, казалось, он почти потерял контроль над собой.[514] В описании, уже цитированном из речи *pro Sestio*, сцены в театре перед его отзывом из ссылки, он говорит об этом "высшем артефакте" как о передаче своих намеков на изгнание с бесконечной силой и страстью. Тем не менее, более поздняя традиция егоактерской игры заключалась скорее в том, что он был серьезным и сдержанным; Гораций называет его *gravis*, и Квинтилиан тоже говорит о его *серьезности*. [515] Вероятно, как и Гаррик, он был способен к большому разнообразию настроений и ролей. О том, насколько тщательно он изучал разновидности жестикуляции, свидетельствует любопытная история, сохранившаяся у Валерия Максима, о том, что он и Росций, великий комедиант, часто ходили и сидели в судах, чтобы наблюдать за действиями оратора Гортензия.[516]

Росций тоже был ранним близким другом Цицерона, который, как и Цезарь, по-видимому, ценил дружбу всех гениальных людей, независимо от их происхождения или профессии. Росций, по-видимому, был вольноотпущенником; [517] его великие дни пришлись на раннюю жизнь Цицерона, и он умер в 61 году до н.э., к глубокому горю всех своих друзей. [518] Его актерская игра была настолько великолепно закончена, что стало обычной практикой называть Росцием любого, чья работа была более чем обычно совершенна. Он никогда не мог найти ученика, которого мог бы полностью одобрить; у многих были хорошие стороны, но если было хоть одно пятно, учитель не мог этого вынести. [519] В "*Ораторе*" Цицерон рассказывает нам несколько интересных вещей о нем, — как он делал должное ударение на нужных словах, придерживая жестикуляцию до тех пор, пока не дойдет до них; и как им никогда так сильно не восхищались, когда он выступал в маске, потому что выражение его лица было таким многозначительным [520].

В последние годы жизни Цицерона, когда Росций умер, а Эзоп отошел от дел, мы больше не слышим о великих актерах такого типа. С этими двумя замечательными людьми великие дни римской драматургии подошли к концу, и отныне любимые пьесы - просто фарсы, о которых здесь следует сказать в последнюю очередь.

Происхождение этих фарсов, как, впрочем, и всех видов латинской комедии, и, вероятно, также литературной сатуры, следует искать в шутках и грубом веселье на деревенских празднествах, и особенно, возможно, в том, что Гораций рассказывает нам об увеселениях во время сбора урожая [521]:

Fescennina per hunc inventa licentia morem
Versibus alternis opprobria rustica fudit,
Libertasque recurrentis accepta per annos
Lusit amabiliter, etc.

Послание. ii. 1. 145 и далее.

Эти развлечения всегда сопровождались музыкой и танцами, столь дорогими итальянским народам, и легко догадаться, как они могли постепенно перерасти в пьесы грубого, но вполне устоявшегося типа, с импровизированными диалогами, разыгрываемыми на улицах или позже в перерывах между актами в театре, и, в конечном счете, в качестве послесловий, больше на наш манер.

Во времена Цицерона в моде были фарсы двух видов. В его прежней жизни любимыми были так называемые ателланские пьесы (*fabulae Atellanae*): они были местного латинского происхождения и, вероятно, получили свое название от разрушенного города Ателла, который мог служить постоянным фоном для пьес, не вызывая зависти ни у кого из других латинских городов.[522] Они, несомненно, были очень комичными, но от них можно было устать, потому что количество стандартных персонажей было ограничено, а маски у каждого персонажа всегда были одинаковыми - старик Папп, обжора Букко и другие. Доссенус шулер и т.д. Примерно во времена Суллы *мимы*, похоже, вытеснили эти старые фарсы в пользу народа, возможно, потому, что их развлечение было более разнообразным; сам факт, что актеры не носили масок, показывает, что импровизация могла быть более свободной и менее стереотипной. Но оба вида были одинаково грубы, и их можно назвать комедией низменной жизни в провинциальных городках и в большом городе. Вкусы Суллы, по-видимому, были низкими в том, что касалось пьес, если мы можем доверять Плутарху, который утверждает, что в молодости он проводил большую часть времени среди *мимов* и шутов, и что, когда он был диктатором, он "ежедневно собирал в театре самых распутных людей, с которыми выпивал и вступал в состязание грубых острот".[523] Это может быть связано со свидетельствами врага, но в этом нет ничего невероятного; и возможно, что и Сулла, и Цезарь, которые также покровительствовали мимам, возможно, хотели избежать личных намеков, которые, как мы видели, так часто делались или воображались при представлении трагедий, и стремились ограничить пьесы такими, которые давали бы меньше возможностей для нежелательной критики.[524]

Примерно в 50 году до н.э., как мы видели в главе о воспитании, в Италию приехал сириец Публилий, который начал писать мимы в стихах, тем самым впервые придав им литературный оборот. Цезарь, всегда искавший таланты, вызвал его в Рим и наградил пальмой первенства за его пьесы.[525] Они, должно быть, были, с точки зрения остроумия и стиля, гораздо более высокого порядка, чем любые предыдущие мимы, и фактически недалеко ушли по манере исполнения от более древней римской комедии (*fabula togata*). Цицерон упоминает о них дважды: в письме Корнифицию из Рима в октябре 45 года он сообщает, что в "луди у Цезаря" он слушал стихи Публилия и Лаберия с весьма довольным видом.[526] "*Nihil mihi tamen deesse scito quam quicum haec familiariter doctaque rideam*"; здесь слово *docte*, по-видимому, предполагает, что представление было, по крайней мере, достойно внимания образованного человека. Лаберий, также римский рыцарь, писал мимы в то же время, что и Публилий, и был побежден им в состязании; о нем рассказывают, что Цезарь побудил его сыграть в его собственной пантомиме и отомстил за оскорбление, как это тогда чувствовал римлянин хорошего происхождения, в дошедшем до нас прологе.[527] Мы можем предположить, что его пьесы были того же типа, что и пьесы Публилия, и перемежались теми мудрыми изречениями, *сентенции*, которые автор написал в своих произведениях. Римский народ все еще был способен ценить. Даже во времена Сенеки аплодисментами награждались любые слова, которые публика сразу же считала правдивыми и попадающими в цель.[528]

Таким образом, пантомима была поднята с уровня низшей фарсовой импровизации до признанного положения в литературе и совершенно случайно стала полезной в образовании. Но грубость осталась; танцы были гротескными, а веселье непристойным, и, как говорит профессор Персер, сюжеты почти всегда включали "какой-нибудь инцидент любовного характера, в котором бросалась вызов обычной морали". Римская публика ранней империи наслаждалась этими вещами, а также всевозможными танцами, пением и инструментальной музыкой, и прежде всего *пантомимой*, [529] в которой актер только жестикулировал, не произнося ни слова; это, а также тот факт, что настоящая драма больше никогда не имела равных шансов, является одним из многих признаков того, что городское население теряло как мужественность, так и интеллект.

ГЛАВА XI

Религия

Легко написать слово "религия" в начале этой главы, но в этот материалистический период нелегко найти что-либо, что соответствовало бы нашему использованию этого слова. Во всей массе, например, переписки Цицерона, вряд ли есть что-либо, указывающее на то, что Цицерон и его друзья, а следовательно, как мы можем предположить, и средний образованный человек того времени, были подвержены влиянию в своем мышлении или поведении какого-либо чувства зависимости или ответственности перед Высшим Существом. Если бы, однако, было возможно заменить английское слово латинским *religio*, это было бы гораздо более подходящим названием для этой главы, поскольку *religio* означало прежде всего благоговейный трепет, нервозность, сомнение — фактически почти то же самое, что и то чувство, которое в наши дни мы называем суеверием; и, во-вторых, средства, принимаемые под руководством государства для успокоения таких чувств путем совершения обрядов, призванных умиловить богов.[530] В обоих этих смыслах *религию* можно обнаружить в последнюю эпоху Республики; но, как мы увидим, склонность к суеверной нервозности была ослаблена очень несовершенно, а поклонением, которое должно было бы ее смягчить, в значительной степени пренебрегали.

Возможно, действительно, что в тихих сельских районах проходили веселые сельские празднества — у нас есть много упоминаний и несколько описаний их в литературе периода Августа, — а также поклонение домашним божествам, в котором, возможно, сохранилось чувство *pietas*, более близкое к тому, что мы называем религиозным чувством, чем в любом из культов (*sacra publica*), проводимых государством для народа. Даже в городе культ мертвых, или то, что, возможно, лучше было бы назвать религиозным вниманием, уделяемым местам их упокоения, и религиозные церемонии, сопровождающие рождение, половую зрелость и бракосочетание, сохранялись как форма и обычай среди высших и состоятельных классов. Но большая часть населения Рима, мы можем быть почти уверены, ничего не знала об этих обрядах; бедняк, например, не мог позволить себе ни могилу для себя, ни дом, и его тело бросали в какой-нибудь *путикулус* или обычное захоронение, [531] где было невозможно проводить какие-либо ежегодные церемонии в его память, даже если бы кто-нибудь захотел это сделать. И среди высших слоев общества, за пределами этих *частных сакраментов*, беспечность и небрежное отношение к старым государственным культам неуклонно возрастали. Ни Цицерон, ни кто-либо из его современников, кроме Варрона, ничего не могут рассказать нам об их деталях, а упадок зашел так далеко, что сам Варрон мало или вообще ничего не знал о многих божествах старого религиозного календаря [532] или о том, как им

когда-то поклонялись. Веста с ее простым культом и девственными жрицами была почти единственным божеством, которое не было ни забыто, ни так или иначе трансформировано под влиянием греческой литературы и мифологии; Веста была слишком хорошо известна как символ жизнеспособности государства, чтобы ею пренебрегали, как другими, менее значимыми культами. Старые жреческие ордена жертвоприношений, такие как *Fratres Arvales* и *lesser Flamines*, похоже, не были пополнены понтификами, в чьи обязанности входило это делать: и о Фламене Диалисе, жреце самого Юпитера, ничего не слышно с 89 по 11 год до нашей эры, когда он снова появляется как часть августовской религиозной реставрации. Объяснение, вероятно, заключается в том, что эти должности нельзя было совмещать с какими-либо светскими, что могло увести их обладателя за пределы Рима; а поскольку у каждого человека из хорошей семьи были дела в провинциях, нельзя было найти ни одного квалифицированного человека, желающего подвергнуть себя такому ограничению. Храмы тоже, кажется, были прискорбно запущены; Август сам говорит нам [533], что ему пришлось восстановить не менее восьмидесяти двух; а от Цицерона мы действительно слышим о кражах статуй и другого храмового имущества [534] — святотатствах, которые могут быть приписаны общей деморализации, вызванной социальными и гражданскими войнами. В то же время, по-видимому, существовала сильная тенденция преследовать чужих богов, с поклонением которым римские солдаты познакомились в ходе своих многочисленных восточных кампаний. Примечательным фактом является то, что не менее четырех раз за одно десятилетие поклонение Исиде приходилось подавлять — в 58, 53, 50 и 48 годах до н.э. В 50 году до н.э. нам сообщают, что консул Эмилий Павел, консерватор старого толка, фактически сбросил свою претекстовую тогу и взял топор, чтобы начать разрушать храм, потому что не нашлось рабочих, которые отважились бы на эту работу.[535] Это действительно странные времена; прекрасная религия Исиды, которая, несомненно, имела некоторую силу очищать человека и укреплять его совесть, [536] должна была быть изгнана из города, где старая местная религия никогда не имела такой силы, и где массы теперь остались без малейшей помощи или утешения из какого-либо религиозного источника. Эта история, похоже, звучит правдиво и дает нам ценнейший взгляд на психическое состояние римского рабочего того времени.

О таких иноземных культах и об общем пренебрежении старыми культами Цицерон нам ничего не сообщает; мы должны узнавать или догадываться об этих фактах из свидетельств, представленных более поздними авторами. Его интерес к религиозной практике ограничивался церемониями, имевшими определенное политическое значение. Он сам был авгуром и был очень доволен своим избранием в эту древнюю коллегию; но, как и большинство других авгуров того времени, он ничего не знал об авгуральной "науке" и лишь занимался философскими размышлениями о том, возможно ли предсказывать будущее. Он рассматривал право магистрата "наблюдать за небом" как часть превосходной конституции [537] и не мог простить Цезарю того, что в 59 году до н.э. он отказался парализовать свое законодательство фанатичными заявлениями своего коллеги о том, что тот собирается "искать молнию". Он твердо верил в ценность *божественного* права государства. В своем трактате о конституции (*de Legibus*) он посвящает целую книгу этой религиозной стороне конституционного права и дает ее краткое изложение на квазигиририческом языке, из которого явствует, что он полностью признавал обязанность государства поддерживать правильные отношения гражданина с богами, от благоволения которых зависело его благополучие. Он, кажется, никогда не замечал, что государство пренебрегает этим долгом и что, как мы только что видели, храмы и культы приходят в упадок, вторгаются странные формы религии. Подобные вещи его не интересовали;

в общественной жизни Государственная религия была для него частью конституции, которую следовало поддерживать там, где это было явно необходимо; в его собственном исследовании это было предметом философских дискуссий. В молодости он был близок со знаменитым Верховным понтификом Муцием Сцеволой, который считал, что существуют три религии — религия поэтов, религия философов и религия государственных деятелей, из которых последнюю следует принять и действовать в соответствии с ней, независимо от того, истинна она или нет.[538] Цицерон вряд ли стал бы жаловаться, если бы это высказывание приписали ему самому.

Такое мышление, сочетающее совершенную свободу мысли с полным признанием юридических обязательств государства и его граждан в вопросах религии, нетрудно понять любому, кто знаком с природой *ius divinum* и священнослужителями, управляющими им. Этот *ius divinum* был частью *ius civile*, права римского города-государства; как *ius civile*, исключая *ius divinum*, регулировал отношения гражданина к гражданину, так и *ius divinum* регулировал отношения гражданина к божествам сообщества. Жречество, исполняющее этот закон, состояло не из приносящих жертвы жрецов, приверженцев культа определенного бога и храма, а из чиновников-мирян, отвечающих за эту часть закона государства; их не касалось (так что они действительно могли вполне спорить), существуют ли боги на самом деле или нет, при условии соблюдения закона. Когда в 61 году до н.э. Клодий был пойман переодетым на женском празднике Бона Деа, понтификаты объявили этот поступок *нефасом* — преступлением против божественного закона; но мы можем усомниться, действительно ли кто-либо из этих понтификов верил в существование такого божества. Идея *mos maiorum* была все еще настолько сильна в сознании каждого истинного римлянина, его консервативные инстинкты были настолько сильны, что еще долго после того, как вся реальная жизнь покинула божественных обитателей его города, так что они сохранились лишь как мертвые стебли растений, которые когда-то были зелеными и цветущими, он был вполне способен прийти в ужас от любого открытого презрения к ним. И он был прав, как впоследствии ясно убедился Август; ибо массы, которые не имели никакого отношения к образованию, описанному в шестой главе, которые ничего не знали о греческой литературе или философии и были полны суеверных фантазий, уже теряли доверие к власти, установленной над ними, и к их способности обеспечить благоволение богов и их благосклонность в вопросах материального благополучия. Это единственный способ, которым мы можем удовлетворительно объяснить систематические усилия Августа по обновлению старых религиозных обрядов и жречества, и мы можем справедливо сослаться на тенденции поколения, непосредственно предшествовавшего ему. Он знал, что пролетариат Рима и Италии все еще верил, как всегда верили их предки, что государство и отдельный человек одинаково пострадают, если боги не будут должным образом умиловлены; и что для того, чтобы сохранить их спокойствие и комфорт, чувство долга перед богами должно поддерживаться даже среди тех, кто давно перестал в них верить. Августу действительно повезло, что он нашел в великом поэте из Мантуи того, кто был в некотором смысле не только поэтом, но и пророком, кто мог вдохновляющим примером побудить римлянина вернуться к живому пиетесу — не просто к старым религиозным формам, но и к разумному чувству долга перед Богом и человеком, которое сформировало его характер и его империю. Во времена Цицерона тоже был великий поэт, он тоже в некотором смысле был пророком; но Лукреций мог лишь взывать к римлянам, чтобы они стряхнули с себя трясину своей старой религии, а такой призыв в то время был и бесполезен, и опасен. Рассматривая этот вопрос исторически, а не теологически, мы должны сочувствовать отношению Цицерона и

Сцеволы к государственной религии. Это было основано на государственном инстинкте; и если бы этот инстинкт мог практически проявиться в позитивной политике, подобной политике Августа, вместо того чтобы проявлять себя в философских трактатах, подобных *de Legibus*, или в случайные моменты опасности, подобные тому, что было в *Bona Dea sacrilege*, вполне возможно, что можно было бы предотвратить много бед. Но в том поколении ни у кого не было проницательности или опыта Августа, и ни у кого, кроме Юлия, не было необходимой свободы действий; и мы можем быть почти уверены, что Юлий, каким бы Великим понтификом он ни был, по природе и опыту был совершенно непригоден для выполнения работы, которая требовала такого тонкого обращения, такого понимания работы невежественного итальянского ума.

Такая позиция непоследовательности и компромисса должна показаться современному человеку неудовлетворительной и натянутой, и он с облегчением обращается к смелой откровенности великой поэмы Лукреция "О природе вещей", главной целью которой было убедить римлян навсегда отказаться от массы суеверий, в которую он включил государственную религию, которая удерживала их умы в тюрьме тьмы, ужаса и невежества. Лукреций не принимал никакого участия в общественной жизни; он мог позволить себе быть серьезным; он не чувствовал и тени ответственности за благополучие государства как такового. Эпикурейские догматы, которых он так страстно придерживался, всегда ставили личность выше общества и предполагали жизнь в индивидуальном квиетизме; Лукреций в своем исследовании мог созерцать "*rerum natura*", не беспокоясь о "*natura hominum*", как она существовала в Италии его времени. "*Felix qui potuit rerum cognoscere causas*", — так написал о нем его великий преемник и почитатель, но добавил с оттенком пафоса, который трогает нас даже сейчас: "*Fortunatus et ille deos qui novit agrestes*". Даже в наши дни бескомпромиссного неверующего может тронуть простое богослужение, каким бы наполовину языческим оно ему ни казалось, в деревне на Апеннинах; но в глазах Лукреция любое богослужение казалось вызванным страхом и основанным на незнании законов природы. Нежная и отзывчивая душа Вергилия обращалась к крестьянину, когда он молился своим богам о изобилии или процветании, как обращалась ко всем живым существам в беде или в радости.

Но, тем не менее, верно, что Лукреций был великим религиозным поэтом. Он был пророком со смертельной серьезностью, призывающим людей отказаться от своих ошибок как в мышлении, так и в поведении. Он видел вокруг себя мир, полный зла и безрассудства; мир тщеславия, досады, страха, честолубия, жестокости и похоти. Он видел людей, боящихся смерти и богов; переоценивающих жизнь, но уставших от нее; неспособных использовать ее должным образом, потому что пребывающих в неведении о чудесном действии Природы.[539] Он видел их такими, какими мы их уже видели, беспомощными жертвами честолубия и алчности, вечно, подобно Сизифу, катящему камень в гору и никогда не достигающему вершины.[540] Жестокости и кровопролития в гражданских распрях тот век повидал достаточно, и на этом поэт тоже останавливается с горьким акцентом; [541] на нездоровой роскоши и беспокойстве высших классов, [542] и на их безудержном потакании телесным желаниям. В своем великолепном презрении он, вероятно, преувеличивал пороки своего времени, однако в предыдущих главах мы видели достаточно, чтобы предположить, что он был не просто пессимистом; в его стихотворении нет и следа цинизма или испорченного темперамента. Мы можем быть уверены, что он был абсолютно убежден в правдивости всего, что написал.

Пока Лукреция можно назвать религиозным поэтом, поскольку с глубокой убежденностью и страстными высказываниями он обличал порочность своего века и, подобно еврейским

пророкам, призывал человечество отбросить своих ложных богов и унижительные суеверия и познать истинный секрет руководства в этой жизни. Только когда мы задаемся вопросом, в чем состоял этот секрет, мы чувствуем, что этот экстраординарный человек слишком мало знал об обычной человеческой природе, чтобы быть религиозным реформатором или действенным пророком: как сказал о нем Селлар, [543] он не испытывал симпатии к человеческой деятельности. Его секретом, лекарством от всего мирового зла и несчастий, было всего лишь философское кредо, которому он научился у Эпикура и Демокрита. Его глубокая вера в это - один из самых необычных фактов в истории литературы; ни один человек никогда не превращал такую поэтическую страсть в догму, и ни одна такая властная догма никогда не основывалась на научной теории вселенной. Кажется, он соединил в себе два итальянских типа характера, которые никогда не были объединены ни до, ни после, — церковный, серьезный и догматичный, рассматривающий человеческую природу с доктринальной платформы, а не работающий с ней и не думающий с ней; и, во-вторых, поэтический тип, благороднейшим примером которого является Данте, совершенно ясный и определенный во внутреннем и внешнем видении и освещающий все, к чему прикасается, неописуемым сиянием чистого поэтического воображения.

Секрет Лукреция, таким образом, заключается в знании[544] — не в дилетантстве того времени, а в реальном научном знании единственной философской попытки объяснить вселенную — атомной теории эпикурейской школы. Демокрит и Эпикур — единственные спасители, в этом у Лукреция никогда не было и тени сомнения. В результате этого знания весь сверхъестественный и духовный мир фантазии исчезает вместе со всеми тщетными надеждами или страхами относительно будущей жизни. Боги, если они существуют, перестанут иметь какое-либо значение для человечества, поскольку не проявляют к нему интереса и не приносят ему ни пользы, ни вреда. Химеры, предзнаменования, призраки, смерть и все, что пугает невежд и парализует их энергию, исчезнут в чистом свете этого знания; человеку нечего будет бояться, кроме самого себя. На самом деле ему не нужно бояться самого себя, когда он овладеет "истиной". К тому времени, когда пелена страха спадет с его глаз, его моральное равновесие восстановится; слепой человек прозреет. Что он увидит? Какой моральный стандарт станет ему ясен, санкция правильной жизни, которая захватит его совесть?

Это просто убеждение, что, поскольку эта жизнь - все, что у нас есть в прошлом, настоящем или будущем, *ею нужно пользоваться с толком*. В конце концов, Лукреций ограничивается обычными моральными убеждениями и не находит никакой новой силы или санкции, которые могли бы удержать заблудшую человеческую природу на правильном пути. И мы должны с грустью признать, что он не провозглашает никакой реальной моральной цели; его идеалом, по-видимому, является квиетизм в этой жизни, а затем уничтожение.[545] Это чисто эгоистическое правило жизни. Это даже не общественное кредо; ни семья, ни государство, похоже, не принимают в нем никакого участия, не говоря уже о несчастных в этой жизни, бедных и страждущих. Поэт никогда не упоминает рабство или перенаселенность больших городов. Это можно было бы назвать почти фаталистическим кредо, в котором Природа играет почти ту же роль, что Фортуна в кредо многих менее благородных духов того времени.[546] Природа продолжает бороться; мы не можем сопротивляться ей и не можем улучшить ее; лучше уступить и повиноваться, чем пытаться управлять ею.

Таким образом, лекарство Лукреция совершенно бесполезно; это средство аристократического интеллекта, а не спасителя человечества.[547] Насколько нам известно, это было совершенно

бесплодно; подобно конституции Суллы, его современника, доктрина Лукреция не вызывала чувства лояльности ни у римлян, ни у итальянцев, потому что она была построена на несовершенном знании римской и итальянской природы. Но это было благородное усилие благородного ума; и, помимо своего литературного величия, оно, между прочим, имеет непреходящую ценность для всех изучающих историю религии, поскольку лучше, чем что-либо другое, сохранившееся с той эпохи, показывает необходимость реального освящения морали жизнью и примером богочеловека.

Таким образом, в то время как римский государственный деятель считал необходимым поддерживать *ius divinum*, не утруждая себя попытками вдохнуть новую жизнь в детали предписываемого им богослужения, довольствуясь тем, что многое из этого кануло в лету как более не необходимое для благого управления государством, величайший поэтический гений эпохи трубным голосом провозгласил, что если человек хочет с пользой распорядиться своей жизнью, он должен полностью и без зазрения совести отказаться от старых религиозных идей греко-римского мира. Но была и другая школа мысли, которая долгое время занималась этими трудностями и пришла к выводам, гораздо более соответствующим консервативному характеру римского мышления, чем догматизм Лукреция, поскольку она нашла место для государственных божеств, а следовательно, и для *ius divinum*, в философской системе, уже широко принятой образованными людьми. Эту школу можно охарактеризовать как стоическую, хотя ее теологию часто принимали люди, которые на самом деле не называли себя стоиками; например, сам Цицерон, который, как приверженец Новой академии, школы, отвергшей догматизм и занявшейся диалектикой и критикой, имел полное право принимать догматы других школ, если считал их наиболее убедительными. Его наиболее выдающимся выразителем в этот период был Варрон, а за Варроном и Цицероном стоит великая фигура родосца Посидония[548], из трудов которого до нас почти ничего не дошло. Стоит кратко проследить историю этой школы в Риме, поскольку она сама по себе чрезвычайно интересна как попытка примирить старую теологию — если можно использовать этот термин — с философской мыслью, и она, вероятно, оказала заметное влияние на более поздний квазирелигиозный стоицизм Империи.

Мы должны на мгновение вернуться к периоду, последовавшему за войной с Ганнибалом. Ужасный опыт той войны во многом дискредитировал старую римскую религиозную систему, которая сама по себе была признана недостаточной для сохранения государства. Люди, возбужденные и отчаявшиеся, были успокоены тем, что можно назвать новыми религиозными предписаниями, бесчисленные примеры которых можно найти в книгах Ливия. К сивиллиным книгам постоянно обращались, *и были заказаны и исполнены "lectisternia", "supplicationes", "ludi"*, в которых фигурировали греческие божества. Наконец, в 204 году до н.э. в Рим был доставлен священный камень Великой Матери Идеи, великого божества Пессина во Фригии, и в ее честь был учрежден фестиваль, названный греческим именем Мегалезия. Все это означает, как можно ясно видеть из формулировки Ливия, [549] что правящие классы пытались успокоить умы людей, убеждая их, что не жалеют усилий, чтобы наладить их отношения с невидимыми силами; они тщетно зывали к своим местным божествам и были вынуждены искать помощи в другом месте; они сочли свою собственную узкую религиозную систему совершенно неадекватной для выражения их религиозного опыта последних двадцати лет. И действительно, эта старая религиозная система так по-настоящему и не оправилась от дискредитации, брошенной на нее таким образом. О настроении народа хорошо свидетельствует быстрота, с которой оргиастическое поклонение греческому Дионису распространилось по Италии

несколько лет спустя; и тот факт, что ему было позволено остаться, хотя и под строгим надзором, показывает, что государственная религия больше не обладала властью удовлетворять желания масс. И образованный класс тоже быстро попадал под влияние греческой мысли, которая едва ли могла действовать иначе, чем как растворитель старых религиозных идей. Энний, великий литературный деятель того периода, был первым, кто нанес прямой удар по популярной вере в действенность молитвы и жертвоприношения, открыто заявив, что боги не интересуются человечеством[550] — та же эпикурейская доктрина, проповедуемая впоследствии Лукрецием. Действительно, можно усомниться в том, стала ли эта доктрина популярной или приемлемой даже для культурных классов; но факт остается фактом: тот же самый человек, который сделал больше, чем кто-либо до Вергилия, для прославления римского характера и владычества, был первым, кто поставил под сомнение веру в то, что Рим обязан своим величием своим божественным обитателям.

Но в следующем поколении в Рим прибыл человек, учение которого оказало столь большое влияние на лучший тип образованных римлян, что, как мы уже говорили, его можно считать почти миссионером.[551] Мы не знаем наверняка, писал ли Панэций или учил о природе или существовании богов; но мы точно знаем, что он обсуждал вопрос о гадании[552] в работе [греч. *Peri pronoiias*], где он вряд ли мог избежать этой темы. В любом случае стоические доктрины, которых он придерживался, сами по себе в конечном счете заимствованные у Платона и Старой Академии, были признаны способными в руках его великого преемника Посидония Родосского обеспечить философскую основу как для деятельности, так и для существования богов. Эти люди, следует повторить, были не просто признанными философами, но светскими людьми, путешественниками, писавшими на самые разнообразные темы; они были глубоко заинтересованы, подобно Полибию, римским характером и правительством; они сблизились с более утонченными римскими умами, от Сципиона младшего до Цицерона и Варрона, и, кажется, ясно видели, что старый жесткий стоицизм должен быть расширен и очеловечен, а его этические и теологические аспекты изменены, если он хочет получить реальное влияние на практическое римское понимание. Мы уже видели [553], как их модифицированная стоическая этика благотворно действовала на лучших римлян нашего периода. В теологии они также оставили неизгладимый след в римской мысли; Посидоний написал труд о богах, который лег в основу умозрительной части книги Варрона "*Божественные древности*" и почти наверняка также второй книги "*De Natura Deorum*" Цицерона[554]. Другие философы того периода, даже если они не называли себя стоиками, возможно, обсуждали те же темы в своих лекциях и трудах, приходя к выводам того же рода.

Главным образом из фрагментов работы Варрона мы узнаем кое-что о попытке стоиков привести в соответствие старые религиозные верования с философскими теориями вселенной [555]. Варрон, следуя своему учителю, придерживался стоической доктрины *oanimus mundi* Божественном принципе, пронизывающем все материальные вещи, который в сочетании с ними составляет вселенную и является Природой, Разумом, Богом, Судьбой или любым другим названием, которое философ мог бы выбрать для этого. Вселенная божественна, следовательно, различные ее части также божественны в силу этого информирующего принципа. Теперь, в шестнадцатой книге своего великого труда, Варрон согласовал эту стоическую теорию с греко-римской государственной религией в том виде, в каком она существовала в его время. Главные боги по-разному представляли *части света*; даже разница в поле между божествами объяснялась тем, что боги мужского пола происходили с небес, а богини женского пола - с земли, в соответствии со знакомой древней идеей активного и

пассивного принципа зарождения. Стоическая доктрина [греч. *daimones*] также использовалась для поиска объяснения полубожеств, ларов, гениев и т.д., и, таким образом, еще один персонаж древнеитальянского религиозного сознания должен был быть спасен от презрения и забвения. Древнеитальянская тенденция видеть сверхъестественное проявляющимся множеством различных способов, выражаемых прилагательными, например, Марс Сильванус, Юпитер Элиций, Юнона Лучина и т.д., Также нашла объяснение в доктрине Варрона; поскольку божественный элемент, существующий в небе, земле, море или других частях *мундуса* проявляющийся во многих различных формах деятельности, таким образом, мог бы стать очевидным для обычного человеческого интеллекта без использования философских терминов.

Во главе всей системы стоял Юпитер, величайший из римских богов, чей титул *Optimus Maximus* вполне мог наводить на мысль, что никакое другое божество не могло занять это место. Без него Варрону было бы практически невозможно выполнить свою трудную и опасную задачу. Каждый римлянин узнавал в Юпитере бога, который снизошел до того, чтобы обитать на Капитолии в храме, созданном своими руками, и который, помимо всех других богов, следил за судьбами Римского государства; каждый римлянин также знал, что Юпитер был великим богом небес над ним, поскольку во многих выражениях своей обычной речи он использовал имя бога как синоним открытого неба.[556] Положение, которое теперь отводится небесному богу в новой стоической системе, настолько любопытно, что мы должны на мгновение остановиться на нем.

Варрон считал или, во всяком случае, учил, что Юпитер сам был той душой мира (*animus mundi*), которая наполняет и движет всей материальной вселенной.[557] Он - единый универсальный причинный агент,[558] от которого происходят все силы природы;[559] или его можно назвать на языке, понятном обычному римлянину, универсальным Гением.[560] Далее, он сам является всеми другими богами и богинями, которые могут быть описаны как части, или силы, или добродетели, существующие в нем.[561] И Варрон ясно дает понять, что он хочет отождествить этого великого бога богов с Юпитером в Риме, храм которого находился на Капитолии; Святой Августин цитирует его, утверждающего, что римляне посвятили Капитолий Юпитеру, который своим духом вдыхает жизнь во все во вселенной:[562] или, выражаясь менее философским языком, "Римляне хотят признать Юпитера царем богов и людей". , и об этом свидетельствуют его скипетр и его место в Капитолии". Таким образом, бог, обитавший на Капитолии и в храме, который был центром Римской империи, был также животворящим правителем и центром всей вселенной. Более того, он идет на шаг дальше и отождествляет его с единым Богом монотеистических народов Востока, и в частности с Богом евреев.[563]

Таким образом, Варрон с помощью Посидония и стоиков пришел к монотеистическому взгляду на Божество, который в то же время является своего рода пантеизмом, и все же, как ни странно, способен приспособиться к политеизму греко-римского мира. Но без Юпитера, бога небес как для греков, так и для римлян, а теперь еще и в глазах обоих народов бога, следящего за судьбой Римской империи, этот чудесный подвиг не смог бы быть совершен. Отождествление небесного бога с *animus mundi* стоиков на самом деле не было новой идеей; ее можно проследить по стоическим каналам вплоть до Платона. Что действительно ново и поразительно, так это то, что консервативный римлянин вроде Варрона в тотвек беспечности и сомнений смог, так сказать, перенести небесного бога на Римский Капитолий, где его статую можно было увидеть сидящей между Юноной и Минервой, и при этом преподавать доктрину о том, что он был тем же божеством, что и еврейский Иегова, и что оба они были идентичны стоическому *animus mundi*.

Но понимал ли Варрон также этого Юпитера как божество, "стремящееся к праведности" или действующее как санкция морали? Для римлянина не было бы невозможным или противоестественным так думать о нем, ибо из всех римских божеств Юпитер - это то, чье имя с древнейших времен использовалось в клятвах и договорах, и чей *нумен* считался нарушенным любым публичным или частным нарушением веры.[564] Мы не можем сказать, насколько далеко сам Варрон продвинулся в этом направлении мысли, поскольку фрагменты его великого труда немногочисленны и находятся далеко друг от друга. Но мы знаем, что римские стоики видели в той же самой универсальной Силе или Разуме, который Варрон отождествлял с Юпитером, источник и силу закона, а следовательно, и морали; здесь это обычно называется разумом, *ratio*, действием вечного и неизменного Разума вселенной. "Истинный закон - это правильный разум", - говорит Цицерон в благородном отрывке; [565] и далее учит, что этот закон превосходит все человеческие правовые кодексы, охватывая и санкционируя их все; и что присущий ему дух, который придает ему универсальную силу, есть Сам Бог. В другом отрывке, написанном ближе к концу его жизни и, безусловно, позже публикации работы Варрона, он идет дальше и отождествляет этого Бога с Юпитером.[566] "Этот закон, - говорит он, - возник одновременно с Божественным Разумом" (то есть Разумом стоиков): "поэтому этот истинный и первостепенный закон, повелевающий и запрещающий, является правильным разумом всемогущего Юпитера" (сумма Иовиса). Еще раз, в первой книге своего трактата о богах, он цитирует стоика Хрисиппа, который учит, что вечной Силой, которая является как бы проводником в выполнении жизненных обязанностей, является сам Юпитер.[567] Для римлянина характерно, что в подобных рассуждениях он думает скорее о законе своего государства, чем о морали отдельного человека, как исходящей из того Правильного Разума, которому он мог бы дать имя Юпитера: я не смог найти отрывок, в котором Цицерон приписывает этому божеству санкцию на индивидуальную доброту, хотя многие утверждают, что справедливость и вся система общественной жизни зависят от богов и нашей веры в них.[568] Но римлянин никогда не осознавал индивидуального долга, кроме как по отношению к своему государству или семье, который был живой клеткой в организме государства. В его глазах закон был скорее источником морали, чем мораль причиной закона; и поскольку его религия была частью закона его государства и, следовательно, имела лишь косвенную связь с моралью, ему, естественно, не пришло бы в голову, что даже сам великий Юпитер, прославляемый как Разум во вселенной, мог действительно помочь ему вести его жизнь как индивидуума. Только как источник узаконенной морали мы можем думать о Юпитере Варрона как о "стремлении к праведности".

Менее чем через двадцать пять лет после смерти Цицерона в воображении величайшего из римских поэтов Юпитер вновь предстал перед римским миром, и теперь в форме, понятной всем образованным людям, независимо от того, увлекались они философией или нет. Что мы можем сказать о Юпитере из *Энеиды*? Нам не нужно далеко углубляться в первую книгу поэмы, чтобы обнаружить, что о нем говорят в выражениях, напоминающих нам о Варроне: "О, как ты относишься к человечеству, к Вечному царю империи", - таковы начальные слова обращения Венеры; и когда она закончила,

Olli subridens hominum sator atque deorum
Vultu, quo caelum tempestatesque serenat,
Oscula libavit natae, dehinc talia fatur;

"Parce metu, Cytherea, manent immota tuorum
Fata tibi."

Юпитер здесь, как и в системе Варрона, первопричина и правитель всего сущего, и он также держит в своих руках судьбу Рима и судьбу героя, который должен был заложить первое основание римского владычества. Именно в знании своей воли Эней неуверенными шагами идет в ранних книгах, в более поздних - с твердой уверенностью, к цели, которая поставлена перед ним. Но только что процитированные строки хорошо показывают, насколько Юпитер Вергилия отличается от универсального божества римского стоика. Вне всякого сомнения, Вергилий ощущал силу веры стоиков; но он писал эпическую поэму и никак не мог обойтись без божественного механизма в том виде, в каком он представлен в его великой гомеровской модели. Его Юпитер действительно, как недавно было сказано, [569] "великий и мудрый бог, свободный от тиранических и чувственных черт гомеровского Зевса", другими словами, он римское божество, и иногда действует и говорит как серьезный римский консул древности. Но все же он антропоморфное божество, чисто человеческая концепция личного бога-царя; в этих строках он улыбается своей дочери Венере и целует ее. Вот причина, по которой Вергилий на протяжении всей своей поэмы ставит Судьбу в тесную связь с ним, не объясняя эту связь определенно. Судьба, как она фигурирует в "Энеиде", - это стоическая концепция Рима и его империи; эта стоическая концепция не могла принять форму Юпитера, как в руках Варрона, поскольку бог должен был быть создан по гомеровскому образцу, а не по стоическому. Возможно, не будет преувеличением сказать, что бог как теологическая концепция так и не оправился от такого обращения; любой шанс, который у него когда-либо был стать центром настоящей религиозной системы, был уничтожен "Энеидой", *пьетами*, герой которой действительно номинально обязан ему, но на самом деле велениям Судьбы.[570]

В то время как философы и поэты, таким образом, совершали интеллектуальные подвиги с богами государства, сильная склонность к суевериям, неискушенный страх перед сверхъестественным, которые всегда были характерны для итальянских народов, не только не теряли власть, но и фактически приобретали ее, и не только среди низших классов. Как насмешливо сказал Лукреций, даже те, кто думает и говорит о богах с презрением, в трудную минуту убивают паршивых овец и приносят их в жертву Гривам. Это чувство страха или нервозности, лежащее в основе значения слова *religio*, [571] в прежние времена подавлялось предписаниями понтификов и их *jus divinum*, но оно всегда было готово вспыхнуть снова; как мы видели, в долгой и ужасной борьбе Ганнибаловой войны было необходимо выйти далеко за рамки обычной фармакопеи, доступной священнослужителям, чтобы убедить людей в том, что для их спасения были приняты все возможные средства. Опять же, в эту последнюю эпоху Республики есть очевидные признаки того, что как невежественные, так и образованные люди были затронуты мраком и неопределенностью того времени. Растущая неопределенность в мире политики, растущее сомнение в мире мысли, очень естественно объединившись, породили эмоциональную тенденцию, которая принимала различные формы у людей разного темперамента. Мы можем проследить это (1) в значении, придаваемом предзнаменованиям, приметам, снам; (2) в определенной смутной мысли о будущей жизни, которая принимает позитивную форму в обожествлении людей; (3) в конце периода в чем-то, приближающемся к чувству греха, пренебрежения долгом, навлекающему на государство и отдельных людей гнев богов.

1. Если мы взглянем на последнюю часть "Книги чудес", составленную неизвестным в остальном автором Юлиусом Обсеквенсом на основе записей понтификов, цитируемых в "Истории" Ливия, мы сможем получить четкое представление о том, какое предзнаменование тревожило умы людей. Они во многом такие же, какими всегда были в римской истории, — землетрясения, рождение чудовищ, храмы, пораженные молнией, опрокинутые статуи, волки, вторгающиеся в город, и так далее; они чрезвычайно многочисленны в ужасные годы Социальных и гражданских войн, становятся реже после смерти Суллы и снова вспыхивают в полную силу с убийством Цезаря. О них сообщалось понтификатам из тех мест, где они, как предполагалось, произошли, и, если они считались достойными искупления, заносились в папские книги. Мы можем предположить, что они были посланы главным образом необразованными. Но среди образованных людей у нас есть много примеров той же нервозности, из которых двух или трех должно быть достаточно. Сулла, как мы знаем из его собственных Мемуаров, которые прямо или косвенно использовал Плутарх, имел сильную жилку суеверия в своей натуре и не предпринимал никаких попыток контролировать ее. Посвящая свои Мемуары Лукуллу, он посоветовал ему "не считать путь столь безопасным, как тот, который предписан [греческим: даймоном] (возможно, его гением) в ночи";[572] и Плутарх рассказывает нам несколько историй о предзнаменованиях, по которым он действовал, очевидно, взятых из этой же автобиографии. Нам рассказывают о нем, что он всегда носил с собой маленькое изображение Аполлона, которое время от времени целовал и которому безмолвно молился в минуты опасности.[573] Опять же, Цицерон рассказывает нам любопытную историю о себе, Варроне и Катоне, которая показывает, что эти трое философски образованных людей были вполне способны испугаться пророчества, которое, на наш взгляд, не имеет особого права на уважение.[574] Он рассказывает, как, когда эти трое были в Диррахии, после поражения там Цезаря и ухода армий в Фессалию, им принесли известие о том, что они были убиты. от командующего родосским флотом, что некий гребец предсказал, что в течение тридцати дней Греция будет залита кровью; что все трое были ужасно напуганы и что несколько дней спустя до них дошла весть о битве при Фарсалии. Наконец, все мы помним видение, явившееся Бруту накануне битвы при Филиппах, об огромной и устрашающей фигуре, молча стоящей рядом с ним, которую Шекспир превратил в призрак Цезаря и использовал для объединения своей пьесы. Согласно Плутарху, эпикурейец Кассий, как поступил бы Лукреций, попытался убедить своего друга на рациональных основаниях, что видение не должно его тревожить, но, по-видимому, напрасно.[575]

2. Лукреций отрицал учение о бессмертии души как причину стольких страданий, предотвратить которые, по его мнению, было его миссией. Цезарь в речи, вложенной в его уста Саллюстием во время дебатов о казни заговорщиков 5 декабря 63 года, по-видимому, придерживается того же мнения, и поскольку Цицерон ссылается на его слова в речи, с которой он последовал за Цезарем, мы можем предположить, что Саллюстий правильно передал его.[576] Поэт и государственный деятель мало чем отличались в том, как они смотрели на факты; оба обладали ясным, сильным видением, без следа мистицизма. Но такие люди были скорее исключением, чем правилом; Цицерон, вероятно, лучше представляет среднестатистического мыслящего человека своего времени. Цицерон действительно был слишком полон жизни, слишком глубоко интересовался окружающим его живым миром, чтобы много думать о таких вопросах, как бессмертие души; и как признанный последователь академической школы, он, несомненно, не придерживался какого-либо догматического мнения по этому поводу. Он никогда по-настоящему не был увлечен пифагореизмом, как его друг

Нигидий Фигул, чьи работы, ныне утраченные, были очень популярны в последние годы жизни Цицерона и оказали большое влияние на последующую эпоху. В первой книге своих "Тускуланских диспутов" Цицерон обсуждает этот вопрос с академической точки зрения, не приходя ни к какому определенному выводу, за исключением того, что независимо от того, бессмертны мы или нет, мы должны быть благодарны смерти за освобождение нас от рабства тела. Эта книга была написана в последний год его жизни; но десятью годами ранее в "прекрасном мифе", заимствованном из мифов Платона, который он приложил к своему трактату "О республике", он решительно отстаивал эту доктрину. Там дух старшего Сципиона является его великому тезке, идеальному римлянину Цицерона, и уверяет его, что дорога на небеса (caelum) открыта для тех, кто выполняет свой долг в этой жизни, и особенно свой долг перед государством. "Познай себя богом; как бог богов правит вселенной, так и бог внутри нас правит телом, и поскольку этот великий бог вечен, так и вечная душа правит этим хрупким телом".[577]

"Сон Сципиона" был вдохновением, написанным под влиянием Платона в один из тех эмоциональных моментов жизни Цицерона, которые позволяют сказать о нем, что в его сознании присутствовал религиозный элемент.[578] Несколько лет спустя острота его горя по поводу смерти дочери Туллии привела его снова в сильное эмоциональное состояние. В течение многих недель он жил один в Астуре, на краю Помптинских болот, вне досягаемости всех друзей, запрещая даже своей молодой жене и ее матери приближаться к нему; размышляя, как могло показаться, о том, сохранилось ли в его дочери божественное начало. Эти печальные размышления приняли практическую форму, которая поначалу удивляет нас, но ее нетрудно понять, если мы хорошо знаем Цицерона и следим за тенденциями мышления тех лет. Он мог бы воздвигнуть могилу в память о ней, но это не удовлетворило бы его; это не выразило бы его чувства, что бессмертная богоподобная искра внутри нее сохранилась. Он искренне умоляет Аттика найти и купить ему участок земли, где он мог бы построить *фанум*, то есть святилище для ее духа. "Я хочу, чтобы было построено святилище, и это желание не может быть искоренено из моего сердца. Я стремлюсь избегать какого-либо сходства с могилой ... чтобы достичь как можно большего апофеоза".[579] Чуть дальше он называет эти идеи глупыми; но это, несомненно, только потому, что он пишет Аттикусу, светскому человеку, не склонному к эмоциям или мистицизму. Цицерон действительно говорит на языке итальянского разума, на данный момент свободного от философских спекуляций; он верит, что его возлюбленный умерший продолжал жить, хотя и не смог бы доказать это аргументированно. Он так твердо верит в это, что хочет, чтобы другие знали, что он верит в это, и настаивает на том, чтобы святилище было воздвигнуто в посещаемом месте![580]

Хотя великий диктатор не верил в существование иного мира, в конце своей жизни он согласился стать Юпитером Юлием, а после смерти был должным образом канонизирован как *Divus* и в его честь был воздвигнут храм. Но многогранный вопрос обожествления цезарей не может обсуждаться здесь; он упоминается лишь для того, чтобы по-другому показать направление мысли в этот темный век римской истории. Что бы ни думали некоторые философы, не может быть сомнений в том, что обычный римлянин верил в божественность Юлия.[581]

3. В предыдущей главе мы видели, с какой веселой и беззаботной фривольностью молодые люди, подобные Целию, развлекались даже накануне гражданской войны. Станным контрастом с этим является уныние, охватившее все классы во время самой войны, и особенно

после убийства диктатора. Цезарь казался неотразимым и богоподобным, и люди, вероятно, начинали надеяться на какой-то новый и более стабильный порядок вещей, когда его внезапно свергли, и мир снова погрузился в смятение и сомнения; и только после окончательной победы Октавиана при Акциуме и уничтожения элементов разобщенности после смерти Антония и Клеопатры люди действительно начали надеяться на лучшие времена. Литература тех печальных лет демонстрирует отчетливые признаки общей депрессии, которая была, возможно, чем-то большим, чем усталость и материальный дискомфорт; существовало почти то, что мы можем назвать смутным ощущением греха или, по крайней мере, морального зла, такое чувство, хотя и гораздо менее реальное и интенсивное, как то, которое их пророки время от времени вызывали в еврейском народе, и небезызвестное в истории Эллады.

Самое трогательное выражение этого чувства можно найти в предисловии, которым Ливий снабдил свою историю — замечательный пример истины о том, что, когда великий прозаик сильно тронут, его язык отражает его эмоции своей красотой и серьезностью. Каждый студент знает фразу, в которой он описывает постепенный упадок всего хорошего, что было в римском характере: "donec ad haec tempora, quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus, perventum est"; но не каждый студент может распознать в ней настоящий вздох отчаяния, безошибочный признак печали века.[582] Во вступительных главах, которые служат предисловиями к "*Югурте*" и "*Катилине*" Саллюстия, мы находим нечто в том же печальном тоне, но это звучит не так правдиво, как "*Изгнание*" Ливия; Саллюстий был человеком гораздо более грубой натуры и, кажется, скорее предполагал, чем выражал подлинные чувства опечаленного наблюдателя. В одном из своих ранних стихотворений, написанном, возможно, после перузийской войны 41 г. до н.э.[583], даже жизнерадостный Гораций был тронут, чтобы выразить преобладающую депрессию, причудливо призывая итальянский народ мигрировать, подобно древним фокейцам, на дальний запад, где, как рассказали Серторию в Испании, лежат острова блаженных, где земля, как и в золотом веке, дает все свои плоды невозделанными:

Iuppiter ilia piaae secrevit litora genti
Ut inquinavit aere tempus aureum;
Aere, dehinc ferro duravit saecula, quorum
Piis secunda vate me datur fuga.

Возможно, как недавно было высказано предположение, знаменитая четвертая эклога Вергилия, "*Мессианская эклога*", в некотором смысле задумывалась как ответ на это стихотворение Горация. "Нет необходимости, - кажется, говорит он в этом стихотворении, написанном в 39 году, - искать лучшей доли на легендарном западном острове. Это здесь и сейчас, с нами. Период, в который сейчас вступает Италия, более чем оправдывает в реальной жизни мечту о Золотом веке. Уже сейчас в мир приходит чудесное дитя, которое увидит и откроет эру мира и процветания: тьма и отчаяние через некоторое время полностью исчезнут, и возрожденная Италия — возрожденная в религии и морали, а также в плодородии и богатстве, — поведет мир в новую эру счастья и хорошего правления".[584]

Но Золотому веку, на который возлагались такие нежные надежды, который был так смутно и поэтически задуман, не суждено было наступить в том смысле, в каком Вергилий или любой другой серьезный мыслитель того времени могли мечтать о нем. Я могу завершить эту главу несколькими предложениями, которые выражают это наиболее верно и красноречиво. "Когда

есть горячее стремление к лучшему, проистекающее из сильного чувства человеческого братства и твердой веры в благодать и праведность Бога, такое стремление несет с собой непобедимую уверенность в том, что каким-то образом, где-то и когда оно должно получить свое полное осуществление, ибо оно побуждается Духом, который наполняет и упорядочивает Вселенную на протяжении всего ее развития. Но если человеческий орган вдохновения продолжает фиксировать "как", "где" и "когда" и приписывает какому-то более близкому объекту славу окончательного блаженства, тогда он неизбежно впадает в такие ошибки, как у Вергилия, и обнаруживает свой золотой век в правлении Цезарей (что действительно было существенной чертой христианства), или, возможно, как в более поздние дни, в установлении социализма или империализма. Хорошо для провидца, если он помнит, что царство Божье внутри нас и что истинный золотой век должен основываться на покаянии за проступки и строиться в праведности и любящей доброте".[585]

ЭПИЛОГ

Эти очерки общественной жизни в конце республиканского периода были написаны без какого-либо намерения доказать какую-либо точку зрения или какого-либо заранее задуманного представления о степени деморализации, социальной, моральной или политической, которой тогда достиг римский народ. Но прочтение наводящей на размышления лекции мистера Балфура о "Декадансе" натолкнуло меня на мысль поставить очень краткий диагноз состоянию пациента, жизнь и привычки которого я описывал. Римляне и итальянцы, с которыми они теперь были социально и политически объединены, за последние два столетия до нашей эры не были старыми или измотанными народами. Во всяком случае, несомненно, что за столетие после войны с Ганнибалом Рим и его союзники под руководством римского сената проделали такой объем военной и организационной работы, который вряд ли выполнялся кем-либо до или после; и даже в период, рассматриваемый в этой книге, несмотря на много причин для опасений дома, работа, проделанная римскими и итальянскими армиями как на Востоке, так и на Западе, без сомнения, показывает, что при здоровой дисциплине врожденная энергия населения могла проявить себя. Мы не должны забывать, как бы сурово мы ни осуждали то, как была выполнена эта работа, что именно этим армиям, по всей вероятности, мы обязаны не только сохранением греко-итальянской культуры и цивилизации, но и возможностью дальнейшего прогресса. Установление определенных границ Помпеем и Цезарем, а затем Августом и Тиберием принесло мир в регион Средиземноморья, а вместе с ним сделало возможным развитие римского права и рост новой животворящей религии.

Но народы, как и отдельные люди, если им представляются возможности нанести себе физический или моральный ущерб, с готовностью принимают их. Раз за разом в этих главах нам приходилось оглядываться назад, на эпоху, последовавшую за войной с Ганнибалом, чтобы увидеть, какие это были возможности; и в каждом случае мы находили быстрое и энергичное принятие. Мы видели, как богатство появлялось внезапно и использовалось не по назначению; рабский труд был доступен в ненормальных количествах и использовался с результатами, в основном, плачевными; население города увеличивалось слишком быстро, однако трудности, возникающие в связи с этим увеличением, либо игнорировались, либо неправильно понимались. Мы заметили упадок здоровой семейной жизни, благотворного влияния римских матрон, старых форм государственной религии; неправильное представление об истинной цели образования, являющееся результатом отчасти греческой культуры, отчасти политической жизни; и к этому, возможно, можно добавить растущую подверженность болезням, и особенно

малярии, возникающим из-за экономических просчетов в Италии и антисанитарных условий жизни в городе. Все эти возможности нанести ущерб сердцевине народа были свободно приняты, и в результате в эпоху Цицерона мы не могли ошибиться в признаках и симптомах вырождения.

Но было бы ошибкой делать поспешный вывод, что это вырождение зашло слишком далеко, чтобы его можно было остановить. Это, конечно, не было тем старческим вырождением, которое мистер Бэлфур склонен постулировать как объяснение упадка. Насколько я могу судить, римляне находились на той стадии, когда, несмотря на нездоровые условия жизни и упорное сохранение опасных привычек, было еще не слишком поздно исправиться. Для меня главный интерес к истории ранней империи заключается в поиске ответа на вопрос, насколько далеко зашло это восстановление. Если бы эти главы помогли какому-либо студенту подготовить почву для решения этой проблемы, его цель была бы полностью достигнута.

[Иллюстрация: *Stanfords Geog. Estab. Лондон*]

КОНЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стр. 1, л. 12. *как оценить Рим*: оценить Рим во всей его полноте.

Страница 3, л. 12. *Хинк ад Тарпейами* т. Д.: Он ведет его к Тарпейской скале и к Капитолию, ныне золотому, когда-то заросшему диким кустарником.

Страница 4, л. 24. *Начало сентября* и т.д.: отсюда вы можете увидеть семь холмов суверенного города и оценить Рим в целом, Альбанские и Тускуланские холмы, а также все прохладные пригородные зоны.

Стр. 10, л. 1. *реруми* т.д. Рим стал воплощением высшей красоты.

Стр. 10, л. 13. *nativa praesidia*: естественные средства защиты.

Страница 10, л. 21. *региони* т.д. Участок в центре Италии, идеально подходящий природой для развития города.

Страница 17, л. 2. *пес ferrea* и т.д.: он также не видел трудностей закона, безумного форума или архивов народа.

Страница 22, л. 2. *Ille, ille* и т. Д.: Это был он, сам Юпитер, который выдержал нападение, тот, кто пожелал, чтобы Капитолий, чтобы эти храмы, чтобы весь город и все вы были в безопасности.

Страница 29, сноска 1. *в монтибусеи* т. Д.: построен между горами и долинами, приподнят и почти подвешен высоко, сквозь камни своих зданий, со своими закоулками.

Стр. 39, л. 6. *уби семели др.*: тот, кто однажды сбился с правильного пути, попадет в беду.

Стр. 52, л. 11. *lanificium*: обработка шерсти.

Стр. 55, л. 26. *граффити*: древние каракули, нацарапанные, раскрашенные или иным образом нанесенные на стену, колонну, табличку или другую поверхность.

Стр. 61, л. 4. *квалио репетундис*: суд за вымогательство.

Стр. 64, л. 15. *фамильяреми* т. Д.: близок с Л. Лукуллом, богат, несговорчивый характер.

Стр. 73, л. 14. *закон о цензуре*и т.д.: тот, кто заключил контракт с цензорами, не может быть принят в качестве партнера или акционера.

Страница 73, сноска 2. *Asiatici*и т. Д.: Из государственных доходов Азии у него была очень небольшая доля.

Страница 91, л. 3. *фортиссимуси* т. Д.: самый могущественный и важный фермер, приносящий государственные доходы.

Стр. 93, л. 20. *форум insanum*: форум в его сводящей с ума суеде.

Стр. 116, л. 12. *doctissimusi* др.: самые ученые того времени.

Стр. 121, л. 11. *монументуми* др.: памятник более долговечный, чем бронза.

Стр. 123, л. 20. *вера в человека*: по-настоящему утонченная.

Стр. 127, л. 23. *omnia*и т. Д.: Он принимает всевозможные зловещие формы.

Стр. 130, л. 20. *способ перехода*: постепенно переходить на другую сторону.

Стр. 132, л. 18. *de vi*: о преступном насилии.

Стр. 133, л. 9. *Одно и то же*и т. Д.: Они пристрастились к одному и тому же занятию, они могут осторожно обманывать и хитро соперничать, превосходить друг друга в уговорах, притворяться честными, расставлять ловушки, как будто все они враги друг другу.

Стр. 133, л. 28. *рари нанти* др.: немногие и рассеянные пловцы в огромной бездне.

Страница 142 (внизу). *Клодита* и др.: закройте двери, девушки, хватит нам петь. А вы, благородная пара, живите счастливо и применяйте свою энергичную молодость к усердному труду супружества.

Страница 149, сноска 2. *Si quidi*и т. Д.: Если женщина ведет себя предосудительно или позорно, он наказывает ее; если она выпила вина, если она сделала что-то не так с незнакомцем, он осуждает ее. Если вы застигнете свою жену врасплох во время акта прелюбодеяния, вы можете безнаказанно убить ее без какого-либо суда; но если она поймает вас на прелюбодеянии, она не посмеет прикоснуться к вам, потому что у нее нет на это права.

Стр. 150, л. 11. *liberorum*и др.: для того, чтобы иметь детей.

Страница 155, л. 22. *Odi*и т.д.: Я ненавижу и я люблю. Возможно, вы спросите, как такое может быть. Я не знаю, я чувствую это и огорчен.

Страница 155 (внизу). *Elle apportait*и т.д.: в своем личном поведении, в своих привязанностях она проявляла ту же пылкость и ту же страсть, которые ее брат проявлял в общественной жизни.

Готовая ко всем излишества и не стыдящаяся признаться в них, яростно любящая и ненавидящая, неспособная владеть собой и противящаяся всякому принуждению, она не опровергала великую и надменную семью, из которой происходила.

Страница 178, 1. 3. *рустикоруми* т.д.:

Мужественный выводок фермера-солдата
Был обучен копать в сабинском дерне,
И по суровому кивку матери
Рубить и приносить хворост.

Стр. 178, л. 20. *Максимумы* т.д.: наибольшую заботу следует проявлять о детях.

Стр. 185, л. 8. *Аваруси* др.:

Алчный сам является причиной своих страданий.
Храбрость усиливается отвагой, а страх - колебаниями.
Вам легче обрести удачу, чем цепляться за нее.
Следует опасаться гнева праведных.
Человек умирает каждый раз, когда его лишают родных.
Человек взят взаймы, а не дан жизни.
Лучшая борьба - это соперничество в доброте.
Ничто не доставляет удовольствия, если не обновляться разнообразием.
Плох тот план, который нельзя изменить.
Вы бы реже ошибались, если бы знали, как много вы не знаете.
Тот, кто проявляет милосердие, всегда выходит победителем.
Тот, кто соблюдает свою клятву, преуспевает во всем.
Там, где виновата старость, молодежь плохо обучена.

Стр. 187, л. 7. *Грауси* др.: муза дала грекам гений и гордость языка, не жаждущего ничего, кроме похвал. Но римские юноши долгими расчетами учатся делить монету на сто частей. Пусть юный Альбин скажет: "Если отнять одну из пяти пенсов, что получится?" "Крупу". Хорошо, ты будешь процветать.

Стр. 189, л. 1. В *грамматике* т. Д.: при изучении литературы, чтении поэтов, знании истории, толковании слов, особом тоне произношения.

Стр. 191, л. 9. *Оратор ест* т.д.: оратор, сын мой, - это честный человек, умеющий говорить.

Стр. 191, л. 11. *Помните* т. Д.: овладейте предметом; слова придут сами.

Стр. 196, л. 9. *вирт-бонуси* т.д.: см. стр. 191, л. 9.

Стр. 196, л. 13. *Non enim* т.д.: красноречие и ораторские способности дают хорошие результаты, если на них влияет правильное понимание, а также осмотрительность и контроль ума.

Страница 210, сноска 1. *Манципииси* т.д.: избегайте уподобляться каппадокийскому монарху, богатому рабами и без гроша в кошельке.

Страница 211, сноска 1. *pone aedeti* т.д.: за храмом Кастора находятся те, кому вам было бы жаль одалживать деньги.

Стр. 215, л. 18. *Ан те ибии* т.д.: остались бы вы там среди этих блудниц, проституток пекарей, объедков хлебопек, измазанных вонючей косметикой, отвратительных приверженцев рабства?

Страница 216, сноска 2. *агруми* т.д.: при обработке полей или на охоте, рабских занятиях и т.д.

Стр. 233, л. 5. *Необходимость* т.д.: то, что повелевает мастер, не может быть постыдным.

Страница 233, сноска 3. *Коли рура* и т.д.: плохая практика - заселять поля людьми из работного дома или поручать что-либо делать людям, потерявшим надежду.

Страница 235, сноска 2. *Regumi* т.д.: мы переняли характер тирана.

Стр. 239, л. 10. *ante focosi* т. Д.: Когда-то было принято занимать места на длинных скамьях перед камином и верить, что боги присутствуют за нашим столом.

Стр. 246, л. 5. *nunc veroi* т. Д.: Но теперь с утра до вечера, в праздничные и рабочие дни, весь народ, сенаторы и простолюдины, заняты на форуме и никуда не удаляются и т. Д. (См. стр. 133, л. 9 и перевод этого отрывка.)

Страница 246, сноска 2. *Urbem* и т.д.: оставайся в городе, Руфус; оставайся там и живи при этом свете. Все зарубежные поездки скромны для тех, кто может работать на величие Рима.

Страница 247, сноска 1. *Частые посещения* т.д.: постоянная смена места жительства - признак нестабильного психического состояния.

Стр. 248, л. 12. *contentioi* т.д.: не напряжение ума, а расслабление.

Страница 259, л. 12. *locusi* т. Д.: приятное место у самого моря, его можно увидеть из Анция и Цирцеи.

Страница 265, сноска 3. *Ut illumi* т.д.: пусть боги посрамят того, кто первым изобрел часы и кто первым установил солнечные часы в этом городе. Пожалейте меня! Они разделили мой день по частям. Когда-то, когда я был мальчиком, мой желудок был моими часами, и он был гораздо более подходящим и надежным; он всегда предупреждал меня, за исключением тех случаев, когда ничего не было; теперь, даже когда что-то есть, я не ем, если это не доставит удовольствия солнцу. Ибо весь город полон солнечных часов, и большинство людей ползают по нему, нуждаясь в еде и питье.

Страница 269, сноска 1. *Romaei* т.д.: в Риме долгое время было радостью и гордостью открывать дом рано утром и удовлетворять юридические потребности клиентов.

Стр. 275, л. 20. *Не ведал жизни*: он не знал, как жить.

Стр. 277, л. 10. *ad noctem*: до поздней ночи.

Страница 280, л. 17. *Saepe tribusi* т.д.: часто вы видите три дивана по четыре человека на каждом.

Страница 283, л. 21. [греч.: Еметихаев] и т.д.: он находился под действием рвотного средства и, следовательно, ел и пил свободно и с большим удовольствием; и все, безусловно, было вкусно и хорошо сервировано; более того, я могу сказать, что

"Хотя повар был хорош,
именно чердачная соль придавала еде лучший вкус".

Страница 283, сноска 1. *законности* т.д.: этот закон определял не расходы, а вид продуктов и способ их приготовления.

Стр. 285, л. 11. *Агриколо* и др.: фермер - первый, кто после долгого дня тяжелого труда в поле приспособливает деревенские песни к законам метра; первый, кто на досуге наигрывает песню на своей тростинке, которую он произносит перед богами, украшенными цветами. Это был крестьянин, о Бахус, который с лицом, раскрашенным красноватым суриком, научил свои нетренированные ноги первым движениям танца.

Стр. 287, л. 13. *Quippe etiam* т.д.: ибо даже в святые дни божественные и человеческие законы позволяют нам совершать определенные дела. Ни одна религия не запрещала расчищать каналы, возводить изгородь перед посевами кукурузы, ставить силки для птиц, поджигать колючки и погружать в благодатную реку стадо блеющих овец.

Страница 303, раздел 2. *закон об ограничении прав*: закон о завоевании благосклонности населения при проведении агитации.

Стр. 307, л. 4. *Эндеми* др.: придет время, когда вы будете оплакивать свою доблесть.

Стр. 309, л. 7. *Spectatumi* т. Д.: Они приходят, чтобы видеть, но они приходят и для того, чтобы их видели.

Стр. 313, л. 27. *подводит итоги artifex*: непревзойденный художник.

Страница 314, л. 3. *гравис*: серьезно.

Страница 314, л. 4. *серьезность*.

Страница 315, л. 14. *Фесченнинаи* т. Д.: грубый фесченнинский фарс вырос из подобных обрядов, где деревенские насмешки были переложены на другие стихи; и приятная вольность, терпимая из года в год, разыгрывалась и т. Д.

Стр. 317, л. 18. *Нигил михии* др.: хорошо знаю, что мне не хватало ничего, кроме компании, с кем можно дружески и разумно посмеяться над этими вещами.

Стр. 324, л. 28. *mos maiorum*: обычаи наших предков.

Стр. 327, л. 12. *Феликси* др.: благословен тот, кому удалось познать причины событий.

Стр. 327, л. 16. *Фортунатуси* др.: счастлив также тот, кто знает деревенских богов.

Страница 333, л. 6. *лектистерния*: праздник богов, во время которого их изображения на столбах размещались на улицах.

Страница 333, л. 6. *моления*: религиозные церемонии для моления.

Стр. 333, л. 6. *люди*: игры.

Стр. 339, л. 23. *нумен*: божество, божественность.

Страница 340, сноска 3. *idem etiam* т.д.: он также говорит, что Юпитер - это сила этого закона, вечного и неизменного, который является, так сказать, руководством нашей жизни и принципом наших обязанностей; закон, который он называет фатальной необходимостью, вечной истиной будущего.

Страница 341, л. 15. *как*: как.

Стр. 341, л. 26. *O qui res* т.д.: ты, кто вечной властью управляет деяниями людей и богов.

Стр. 342, л. 1. *Олли* и др.: отец людей и богов, улыбнувшись ей с таким видом, с каким он очищает бушующее небо, нежно поцеловал в губы свою дочь; затем так отвечает: Китерея, перестань бояться; непоколебимыми для тебя остаются судьбы твоего народа.

Стр. 351, л. 13. *Юпитери* т. Д.: Юпитер приберег эти берега для праведных, когда он сплавил золотой век с медью; медью, а затем железом он укрепил века, из которых, согласно моим предсказаниям, будет счастливый выход.

СНОСКИ:

[Сноска 1: Марциал iv. 64. 12.]

[Сноска 2: *Также*. viii. 90. фолл. Капитолийский холм, который Вергилий подразумевает под словом "аркс", был заметным объектом с реки чуть ниже Авентина и был бы гораздо более заметен во времена поэта. Вид на это с этой точки есть в книге Берна "*Рим и Кампания*", стр. 184.]

[Сноска 3: Плутарх, *Катон младший* 39. Предполагалось, что Катон высадится в торговых доках ниже Авентина (см. Ниже), где его ожидали сенат и магистраты, но он со своей обычной грубостью проплыл мимо них к военно-морскому судну.]

[Сноска 4: *Примечание*. viii. 363. Возможно, Вергилий намеревался разместить это жилище на месте будущей Регии, чуть ниже Палатина и между ним и Форумом. См. Сервий *ad loc.*]

[Примечание 5: Современный посетитель пересек бы мост Понте Ротто, который находится в том же месте, что и древний мост, чуть ниже острова Тибр.]

[Сноска 6: Ливий, ст. 54.]

[Сноска 7: Братья Арвалес.]

[Сноска 8: О судоходстве по реке выше Рима см. Страбона, стр. 235.]

[Сноска 9: Гораций *Од.* i. 2. После сильного наводнения в 15 году н.э. были выдвинуты предложения направить часть воды, стекающей по Тибру, в Арнус, но это встретило фатальное

противодействие со стороны суеверных сельских жителей (Тацит, *Анна*. i. 79). Ниссен, *Italische Landeskunde*, i. стр. 324, собрал записи об этих наводнениях.]

[Сноска 10: См. Ниссен, i. стр. 407. Но представляется вероятным, что долина Тибра тогда была менее заражена малярией, чем сейчас (см. Главу Ниссена о малярии в Италии, стр. 410 и далее). В интересной статье *о малярии и истории* мистера У.Х.С. Джонса (Издательство Ливерпульского университета), которая попала ко мне после написания этой главы, автор склонен частично приписывать этическое и физическое вырождение римлян времен Империи этой причине.]

[Сноска 11: Ливий, ст. 54.]

[Сноска 12: Гораций, *Эпод* 16.]

[Footnote 13: *Reden und Aufsätze*, p. 173 foll.]

[Сноска 14: *Ib.* стр. 175.]

[Сноска 15: *De Rep.* ii. 5 и 6.]

[Сноска 16: Beloch, *Die Bewölkerung der griechisch-römischen Welt*, глава 9, подходя к проблеме тремя различными методами, оценивает ее в первом веке нашей эры в 800 000 человек, включая рабов. Во времена Цицерона это было, без сомнения, значительно меньше; но мы знаем, что в его последние годы 320 000 свободных людей получали порции зерна, не считая рабов и зажиточных.]

[Footnote 17: Hülsen-Jordan, *Röm. Topographie*, том i. часть iii. стр. 627, 638.]

[Сноска 18: *Ib.* 643; Cic. *ad Att.* xv. 15. Здесь после смерти своей дочери Туллии Цицерон пожелал купить землю, на которой воздвигнуть в ее честь фанум (Cic. *ad Att.* xii. 19). Здесь также были хорты цезари.]

[Сноска 19: Ливий xxxv. 40.]

[Сноска 20: Хюльсен-Джордан, указ. соч.. Примечание на стр. 143.]

[Сноска 21: см. Ниже, стр. 302. Дионисий Галикарнасский (iii. 68) подробно описывает его во времена Августа, когда он был изменен и украшен.—Хюльсен-Джордан, стр. 120 и далее]

[Сноска 22: Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 199; Виссова в Паули-Виссова, *Настоящая энциклопедия*, с. В. Диана.]

[Сноска 23: Две дороги сошлись незадолго до прибытия в город. Читателю можно напомнить, что именно по Аппиевой дороге святой Павел вошел в Рим (Деяния xxviii.). Другой полезный отрывок, посвященный этим воротам, - Ювенал в. 10 foll.]

[Сноска 24: Здесь может быть полезно проследить путь *померия*, который также огибал Палатин, как описано у Тацита, *Анналы* xii. 24.]

[Footnote 25: Cic. *de Officiis* iii. 16. 66, и рассказанная там история.]

[Сноска 26: Строго говоря, гора Оппий, или южная часть Эсквилина.]

[Сноска 27: См. Замечательную главу Ланчиани "Прогулка по Сакра Виа" в его книге "*Руины и раскопки Древнего Рима*", стр. 190 и далее.]

[Сноска 28: *Георг.* ii. 502. Вергилий, при всем своем восхищении Римом, не любил его толпы.]

[Сноска 29: *Cic. pro Plancio*, гл. 7. Ср. Гораций, *Сб.* i. 9; Луцилий, *Фрагмент.* 9 (изд. Беренс), последнее из которых будет процитировано в другом контексте.]

[Сноска 30: О спорном вопросе о положении Субуры и ее истории см. Виссова, "*Веселые приключения*", стр. 230 и далее.]

[Сноска 31: О раскопках здесь см. Ланчани, *указ. соч.* стр. 221 и далее.]

[Сноска 32: *Cic. Kam.* iii. 9. 21 и далее.]

[Сноска 33: Раньше мы можем предположить, что он выходил окнами на юг или юго-восток, как храм.]

[Сноска 34: Она была завершена Цезарем в 46 году до н.э.]

[Footnote 35: Beloch, *Bewölkerung* p. 382.]

[Сноска 36: *C.I.L.* i.. 206 и Дессау, *Inscr. Lat. Selectae*, ii. 1. p. 493.]

[Сноска 37: *Cic. объявление Q. Fratr.* iii. l. 14 *Suet. de Grammaticis*, 15; *Corn. Nepos, Atticus*, 13.]

[Footnote 38: Hülsen-Jordan, *Röm. Topographie*, том i. часть iii. стр. 323.]

[Примечание 39: Это число людей, получавших кукурузу бесплатно, когда Юлий Цезарь реформировал распределение кукурузы.—Светоний, *июль.* 41.]

[Сноска 40: см. Зеллер, *Стоики* др., англ. пер., стр. 255 и далее.]

[Сноска 41: *cic. de Legibus*, i. 15. 43. Тогда еще не было возможности быть "бедным, делающим многих богатыми"; ничего не иметь и все же обладать всем.]

[Сноска 42: Смотрите определение *insula* в *Festus*. n. III. и для статьи *insula* в целом Миддлтона "*Domus*" в *Справочнике древностей*, изд. 2. Де Марки (*La Religione nella vita domestica*, i. стр. 80) сравнивает большие жилые дома для бедных в Неаполе.]

[Сноска 43: Цицерон (*Раздел. Agr.* ii. 35. 96) описывает Рим как находящийся (по сравнению с Капуей) "в монтибус позитам и выздоравливающий, ценакулис (то есть верхние помещения) в подвешенном состоянии, без оптимизма" и т.д. Витрув. ii. 17 является *классическим местом*.]

[Сноска 44: *Cic. pro Caelio* 17.]

[Сноска 45: В *C.I.L.* vi. 65-67 мы находим *Bona Dea*, воздвигнутую "*in tutelam insulae*", то есть общий культ для всех жильцов. Де Марки *Л.с.* сравнивает обычную святыню неаполитанского

пансиона. Тутела упоминается как божество-покровитель как *insulae*, так и *domus* у святого Иеронима, *Ком. in Isaiam*, 672.]

[Сноска 46: Cic. *de Domo* 109.]

[Сноска 47: Cic. *ad Att.* xv. 17; ср. xiv. 9.]

[Сноска 48: Plut. *Красс* 2: возможно, из Фенестеллы.]

[Footnote 49: "Dormientem in taberna," Asconius, ed. Кларк, стр. 37. Ср. Тацит, *Hist* i. 86, для людей, спящих в скиниях.]

[Сноска 50: Такер, *Жизнь в древних Афинах*, стр. 10.]

[Сноска 51: *Moretum* может быть переводом греческого поэта, возможно, Парфения, но он, безусловно, также хорошо адаптирован к опыту итальянцев.]

[Сноска 52: например, Caesar, *Bell. Civ.* iii. 47. Ср. Тацит, *Анна*. xiv. 24.]

[Сноска 53: По этому поводу см. Сальвиоли, "*Капитализм антикварного мира*", глава vi. это книга со многими недостатками, но написанная итальянцем, который знает свою страну.]

[Сноска 54: См. "*Римские фестивали*" автора, стр. 76 (Cerealia).]

[Footnote 55: Marquardt, *Staatsverwaltung*, ii. pp. 107, 110 foll. Модий, который равен почти пуд, содержал около 20 фунтов пшеницы (Плиний, *N.H.* xviii. 66). Четыре с половиной модии x 20 = 90 фунтов.]

[Сноска 56: Хиршфельд, *Verwaltungsbeamten*, изд. 2, стр. 231; Страбон, стр. 652 (Родос).]

[Сноска 57: Цезарь, *до н. э.* iii. 42. 3.]

[Сноска 58: Марквардт, *указ. соч.* стр. 110.]

[Сноска 59: О мотивах Гракха см. Статью настоящего автора в *Английском историческом обзоре* за 1905 год, стр. 221 и далее.]

[Сноска 60: Cic. *Tusc. Disp.* iii. 20. 48.]

[Сноска 61: Lex Julia municipalis, 1-20, по сравнению со Светонием, *июль*. 41.]

[Сноска 62: Хороший пример можно найти в Cic. *ad Att.* iv. 1. 6 foll.; первое письмо, написанное Цицероном после его возвращения из ссылки.]

[Сноска 63: См. Мои *Римские праздники*, стр. 85 и 204.]

[Сноска 64: Плиний, *Нац. История*. xviii. 17.]

[Сноска 65: Сало. *август*. 42.]

[Примечание 66: Фронтин, i. 4. Дата его работы относится к концу первого века н. э.]

[Сноска 67: см. Ланчани, *Руины и раскопки*, стр. 48; Моммзен, *История*. том i. Приложение.]

[Сноска 68: Фронтин, глава 7, рассказ о котором подтверждается недавно обнаруженными Отрывками из утерянных книг Ливия. Гренфелл и Хант, *Oxyrhynchus Papyri*, iv. 113.]

[Сноска 69: Смотрите полезную таблицу в Lanciani, указ. соч. 58.]

[Сноска 70: Это относится ко времени правления Домициана. Природу общественного фонтана можно понять в Помпеях. См. Мау, *Помпеи, их жизнь и искусство*, стр. 224 и далее.]

[Footnote 71: Cic. *de Officiis*, i. 42. 150.]

[Сноска 72: Ливий xii. 25 н.э..]

[Сноска 73: Это очень заметно, например, в романах Джейн Остин.]

[Сноска 74: Г. Анвин, *Промышленная организация* др., стр. 2.]

[Сноска 75: Плутарх, *Нума*, 17; Овидий, *Фасты*, iii. 310 сл.]

[Сноска 76: Дж.Б. Картер, *Религия Нума*, стр. 48.]

[Сноска 77: Марк. iii. стр. 138. Смотрите также статью Корнеманна "Коллегия" в "Pauly-Wissowa", *Настоящий энциклопедический словарь*, и "Waltzing", *"Профессиональные корпорации в Романах"*, i. стр. 78 foll.]

[Сноска 78: *Le Capitalisme* др., стр. 144 и далее.]

[Сноска 79: Кэрнс, *Власть рабов*, стр. 78, 143 след. См. Ниже, стр. 235.]

[Сноска 80: Плиний, *Нац. История*. xviii. 107.]

[Сноска 81: *C.I.L.* i. 1013. Дата, возможно, до Августа.]

[Сноска 82: *Помпеи* Мау, стр. 380.]

[Сноска 83: См. Мои *Римские фестивали*, стр. 148. О мельницах различных видов см. также Marquardt, *Privatleben*, стр. 405.]

[Сноска 84: *Privatleben*, стр. 409.]

[Сноска 85: *Псевдолус*, 810 посл.]

[Сноска 86: Ср. унста роріа Горация, *Послание*. i. 14. 21 foll. Сцена в винной лавке в Помпеях, Мау, стр. 395.]

[Сноска 87: См., например, *Laudatio Turiae*, *C.I.L.* vi. i. 1527, строка 30.]

[Примечание 88: Только очень богатые семьи нанимали своих собственных фуллеров.—Марк. *Privatleben*, р. 512.]

[Сноска 89: *Менехми*, 404: это, однако, может быть всего лишь переводом с греческого.]

[Сноска 90: *C.I.L.* i. стр. 389.]

[Сноска 91: Марквардт, *Приватлебен*, стр. 693 и ссылка.]

[Сноска 92: Катон, *de re rustica*, 135; очень интересная глава, в которой показано, что из "растений" фермера одежду, ковры, повозки, а также долии лучше всего покупать в Риме.]

[Сноска 93: Марк. *Privatleben*, p. 645.]

[Сноска 94: Страбон, стр. 231.]

[Сноска 95: *Lex Julia Municipalis*, строка 56 и далее.]

[Сноска 96: Мау, *Помпеи*, стр. 377.]

[Сноска 97: См. Гринидж, *Римская общественная жизнь*, стр. 225.]

[Сноска 98: Лекс Клавдия; Ливий xxi. 63.]

[Сноска 99: Plut. *Красс*, 2; Плиний, *N.H.* xxxiii. 134: эквивалентно примерно 160 000 фунтов стерлингов.]

[Сноска 100: Cic. *ad Att.* ii. 1. 2.]

[Сноска 101: *Ib.* iv. 4.]

[Сноска 102: Кукуруза. *Nepos, Atticus*, 5.]

[Сноска 103: Ливий ixiii. 49.]

[Сноска 104: Плиний, *N.H.* xxxiii. 148; Ливий xxxvii. 59.]

[Сноска 105: Polyb. xxxiv. 9, цитируется Страбоном, стр. 148. Ср. Ливий xlv. 18 о ценных рудниках в Македонии.]

[Сноска 106: Полиб. xviii. 35, О нежелании служить, Ливий, Эпит. 48 и 55.]

[Сноска 107: Каннингем, *Западная цивилизация (современная)*, стр. 162 и далее.]

[Сноска 108: Дюруи, *История. Римская*, том ii. стр. 12.]

[Footnote 109: Cic. *de Provinciis consularibus*, v. 12.]

[Сноска 110: Cic. *pro Quinctio* 3. 12; хороший пример партнерства в *res pecuaria et rustica* в Галлии.]

[Сноска 111: Примеры из книги Ливия xxiii. 49; xxxii. 7 (*portoria*); xxxviii. 35 (поставки зерна); xlv. 16 (армия); xlii. 9 (доходы *ager Campanus*).]

[Сноска 112: Фестус, изд. Müller, p. 151.]

[Footnote 113: e.g. Livy xxii. 60 *praedibus et praediis cavere populo*.]

[Сноска 114: Цицерон в своей защите Рабирия Постума, глава 2.4, говорит, что отец Рабирия магнасразделяет *habuit publicorum*. One Aufidius (Val. Max. vi. 9. 7) "*Asiatici publici exiguam admodum particulam habuit*." Ср. Cic *in Vat.* 12. 29]

[Сноска 115: Это точка зрения Делума, *Les Manieures d'argent à Рим*, стр. 119 и далее.]

[Сноска 116: Марк. *Staatsverwaltung*, ii. p.291]

[Сноска 117: Deloume, *Арсенал*, стр. 317 и далее.]

[Сноска 118: *pro lege Manilia*, 7. 18.]

[Сноска 119: *Ib.* 7. 19.]

[Сноска 120: *ad Att.* i. 17. 9. Красс, без сомнения крупный акционер, подтолкнул их к этому.]

[Сноска 121: В письме своему брату, тогдашнему губернатору этой провинции, Цицерон рассматривает возможность заключения контрактов в убыток (*ad QF* i. 1. 33), "*publicis male redemptis*". И в рекомендательном письме в 46 году он ссылается на тяжелые потери, понесенные таким образом, *ad Fam.* xiii. 10.]

[Сноска 122: *ad Att.* v. 16. 2.]

[Сноска 123: *Ib.* vi. 1. 16.]

[Сноска 124: *объявление о знакомстве*, xiii. 65.]

[Сноска 125: *Ib.* xiii. 9. Я не совсем точно придерживался его перевода.]

[Сноска 126: "*Qui est in operis ejus societatis*", то есть задействован в качестве подчиненного агента.—Марквардт, *Staatsverwaltung*, ii. стр. 291.]

[Сноска 127: Марк. ii. стр. 35 и далее.]

[Сноска 128: Смотрите его статью в *издании Antiq.* изд. 2, s.v. *argentarii*.]

[Сноска 129: Дед Августа был аргентарием (свет. 2 *августа*), однако его сын мог жениться на Юлии и быть избранным на должность консула, которую, однако, смерть не позволила ему занять.]

[Сноска 130: Слово для обозначения этого чека - *perscriptio*. Ср. Cic. *ad Att.* ix. 12. 3. отличительные особенности ростовщиков, то есть получение процентов по их вкладам.]

[Сноска 131: Cic. *ad Att.* xii. 24 и 27.]

[Сноска 132: Cic. *ad Fam.* xvi. 4 и 9]

[Сноска 133: Cic. *ad Att.* xiii. содержит много писем, представляющих интерес в этой связи.]

[Сноска 134: Cic. *ad Att.* xiii. 2. 3. Ср. xii. 25. В xii. 12 Разведенная жена Цицерона Теренция желает выплатить долг, передав своему кредитору долг Цицерона перед собой. Другим

способом, с помощью которого можно было избежать фактической выплаты, была выплата процентов на покупные деньги вместо единовременной выплаты. Ср. xii. 22.]

[Сноска 135: хороший пример этого в Velleius ii. 10 (аренда жилья).]

[Footnote 136: Cic. *de Officiis*, ii. 24, 84.]

[Сноска 137: Цезарь, *de Bell. Civ.* iii. 1 и 20 посл.]

[Сноска 138: У Делума в его *Арсенале* есть глава, посвященная этому (стр. 58 и далее), но на его подробности нельзя полностью полагаться. набросок Буассье в "*Сисероне и друзьях*", 83 foll., довольно точен.]

[Сноска 139: *ad Fam.* v. 20 и далее.]

[Сноска 140: *ib.* v. 9.]

[Сноска 141: Попытка Делума доказать, что Цицерон спекулировал с огромной прибылью, мне кажется, не попадает в цель.]

[Сноска 142: объявление *Q. Fratr.* ii. 4. 3. Ср. *ad Att.* iv. 2.]

[Сноска 143: объявление *Q. Fratr.* ii. 14. 3.]

[Сноска 144: дополнение к xii. 22. Я могу добавить в сноске последний поразительный пример безрассудства, который мы уже отмечали. В марте 44 года до н.э. Децим Брут располагал капиталом в 320 000 фунтов стерлингов, однако в следующем году он пишет Цицерону, что, хотя ни одна часть его частной собственности не была обременена, он также обременял долгами всех своих друзей (*ad Fam.* xi. 10. 5). Но это было сделано для того, чтобы сохранить войска.]

[Сноска 145: дополнение к xiii. 42. Ср. xvi. 5.]

[Сноска 146: На что королю действительно нужны были деньги, так это на подкуп сената, чтобы тот восстановил его в должности. —Cic.*ad Fam.* i. 1.]

[Сноска 147: Cic. *про Баб.* Сообщение. 8. 22.]

[Сноска 148: Варрон, *R.R.* i. 2. Ферреро (*Величие и упадок Рима*) обладает достоинством в том, что заметил признаки возрождения итальянского сельского хозяйства в это время, но он склонен продвигать свои выводы дальше, чем того требуют доказательства. Смотрите перевод его работы А.Э. Циммерна, i. стр. 124; ii. стр. 131 foll. Цитируемое им утверждение Плиния (xv. 1. 3) о том, что масло впервые было экспортировано из Италии в 52 году до н.э., имеет, однако, первостепенное значение.]

[Примечание 149: Республике не суждено было просуществовать долго; но среди консулов последних лет ее существования было несколько представителей старинных фамилий.]

[Сноска 150: *ad Fam.* xv. 12. Это довольно высокопарное письмо почти идентично письму другому назначенному консулом аристократу Клавдию Марцеллу. Цицерон в каждом случае пытается заниматься своими делами, одновременно обращаясь к человеку более высокого социального положения, чем его собственное.]

[Сноска 151: Письма с 58 по 54 годы полны горьких намеков на *инвидию* этих людей, кульминацией которых является длинное и ветреное письмо Лентулу Спинтеру от октября 54 года, где он фактически обвиняет их в том, что они схватили Клодия назло ему. В конфиденциальной записке Аттику весной 56 года он сообщил ему, что они ненавидели его за покупку тускуланской виллы великого аристократа Катула.—*ad Fam.* i. 9; *ad Att.* iv. 5.]

[Сноска 152: Плутарх, *Катон большой* 2 и 12.]

[Сноска 153: Кукуруза. Непот, *Катон* 1. 4, который отмечает, что возвращение Катона из квесторства на Сардинии с Эннием в свите было равносильно великолепному триумфу.]

[Сноска 154: Plut. *Аем. Павел*. 6 н.э.]

[Сноска 155: Полибий, xxxii. 9-16.]

[Примечание 156: Разница между ним и его отцом, особенно в политике, в общих чертах описана в "Жизни" Плутарха о последнем, глава xxxviii.]

[Footnote 157: Leo, in *Die griechische und lateinische Literatur*, p. 337.]

[Примечание 158: Лучшие образцы, или, скорее, худшие, можно найти в речах в *Пизонеме*, в *Ватиниуме* во *Втором Филиппике*.]

[Сноска 159: Наиболее поучительным отрывком о *vituperatio* является "Защита Целия" Цицерона, гл. 3. Ср. Квинтилиан iii. 7. 1 и 19. Об обычае на триумфах и т. Д. См. *Пояснения Катулла* Манро, стр. 75 foll. за наиболее ценные замечания.]

[Сноска 160: У нас есть вежливые письма Цицерона Пизону и Ватинию всего через несколько лет после того, как он публично назвал их чудовищами беззакония.]

[Сноска 161: Plut. С. Гракх, глава 6 *ad fin.* Ср. Ливий vii. 33.]

[Сноска 162: Эти характерные фигуры удобнее всего увидеть в интересном томе Стронга о римской скульптуре, стр. 42 и далее.]

[Сноска 163: Plut. *Катон*, глава 1. *ad fin.* Blanditia было словом, обозначающим вежливость у кандидата: "opus est magnopere blanditia", - говорит Квинт Цицерон, *de pet. cons.* § 41.]

[Сноска 164: В Cic. *de Finibus* iii. 2. 7 есть более приятное изображение Катона, сидящего в библиотеке Лукулла в здравом уме.]

[Сноска 165: См. Leo, в уже цитированной работе, стр. 338 и далее.]

[Сноска 166: Об этом замечательном писателе, от творчества которого сохранилось лишь несколько фрагментов, см. Leo, *op. cit.* стр. 340, и Schanz, *Gesch. der röm. Literatur*, i. стр. 278 и далее]

[Сноска 167: Цицерон, *Брут*, 75, 262.]

[Сноска 168: Другие авторы-цезарианцы более или менее успешно последовали за ним; Гирций, написавший восьмую книгу "Галльской войны", и авторы "Александрийской, Африканской и испанской войн" (первая, возможно, принадлежит Асинию Поллиону).]

[Сноска 169: Leo, указ. соч. стр. 355.]

[Сноска 170: см. Ниже, глава vi.]

[Сноска 171: Только что процитированный отрывок из *de Finibus* (iii. 27) знакомит нас с библиотекой Лукулла в Тускулуме, куда Цицерон отправился за книгами и где он нашел Катона, сидящего в окружении томов стоических трактатов.]

[Сноска 172: Фрагменты Панаэция собраны Х.Н. Фаулером, Бонн, 1885. Лучшее известное мне изложение его учения находится в книге Шмекеля "Философия жизни", стр. 18 foll. Но все могут прочитать две первые книги "Официального изложения".]

[Сноска 173: Leo, указ. соч. стр. 360. Шмекель всесторонне рассматривает философию Посидония, отраженную в книге "Варрон и Цицерон", стр. 85 и далее.]

[Сноска 174: См. Введение профессора Рида к "Академике" Цицерона, стр. 17. Цицерон считал Посидония величайшим из стоиков.—/b. стр. 5.]

[Сноска 175: Cic. *de Legibus* i. приводит много примеров этой точки зрения, которая, по-видимому, принадлежала Посидонию, например, 6. 18 и 8. 25. Ср. о *Республике*, iii. 22. 33.]

[Сноска 176: Gaius i. i; Cic. *de Officiis* iii. 5. 23; Моммзен, *Государственный архив*, iii. стр. 604, на основе исследования Х. Неттлшипа в *Филологическом журнале*, том. xiii. с. 175. См. также Sohm, *Институты римского права*, глава ii.]

[Сноска 177: *Брут* 41. 151, где он явно ставит его выше Сцеволы. Этот отрывок в высшей степени интересен и заслуживает пристального внимания.]

[Сноска 178: *Девятое Послание к Филиппийцам*: отрывок, упомянутый в тексте, 5. 10 foll.]

[Сноска 179: Я опускаю "Про Мурену", главу vii. и XXI в., из-за нехватки места. Сульпиций выступал в данном случае против Цицерона, и намеки последнего на него являются полезными образцами хорошего воспитания, о котором говорилось выше.]

[Сноска 180: см. Дион Кассий xl. 59; и Cic. *ad Fam.* iv. 1 и 3, к Сульпицию, с упоминаниями о его консульстве.]

[Сноска 181: *Tusc. Дисп.* iv. 3. 6.]

[Сноска 182: Речь в *Писонеме*; ср. о провинциальных консулах, 1-6. Этот Пизон был отцом жены Цезаря Кальпурнии, которая сохранилась у Шекспира.]

[Сноска 183: Трудный отрывок, в котором Цицерон описывает извращение этого персонажа под влиянием Филодема, был искусно переведен доктором Махаффи в его книге "Греческий мир под властью Рима", стр. 126 и далее; и читателю не мешало бы ознакомиться со всей его трактовкой практических результатов эпикурейства.]

[Сноска 184: Эта глава также полезна как иллюстрация вежливости манер, поскольку Лукулл и Помпей были политическими врагами.]

[Сноска 185: *ad Fam.* viii. 5 *фин.*; viii. 9. 2.]

[Сноска 186: Смотрите введение Аскония к Цицерону *pro Cornelio*, изд. Кларк, стр. 58.]

[Сноска 187: *ad Att.* v. 21. 11, 13.]

[Сноска 188: *ad Q. frat.* ii. 1. 1; ii. 10. 1.]

[Сноска 189: Письма, написанные сразу после возвращения Цицерона из ссылки, являются лучшими примерами такого паралича бизнеса, например, *ad Fam.* i. 4; *ad Qf.* ii. 3. Смотрите полезную статью П. Гребе в *Klio*, т. v. стр. 229.]

[Сноска 190: Это явствует из письма Элиуса Цицерону в 51 г.—н.э. viii. 8. 8.]

[Сноска 191: Асконий в "*Корнелиане*", изд. Clark, p. 59. "Ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent."]

[Сноска 192: Все его письма находятся в восьмой книге "Тех знакомых .."]

[Сноска 193: Тацит, *Анналы* XIII. 2: "voluptatibus concessis."]

[Сноска 194: Квинтил. iv. 2. 123.]

[Сноска 195: Брут 79. 273.]

[Сноска 196: например, *ad Fam.* ii. 13. 3.]

[Сноска 197: Точно такое же сочетание реального интереса и легкомысленного отношения к политике можно найти в ранних письмах Горация Уолпола сэру Х. Манну, особенно в письмах 1742 года.]

[Сноска 198: *ad Fam.* viii. 14. 3.]

[Сноска 199: Цезарь, *Bell. Civ.* iii. 20 посл.]

[Сноска 200: см. Выше, стр. 86; ср. стр. 58.]

[Сноска 201: Так, например, Сервей дисквалифицирован, *ad Fam.* viii. 4. 1.]

[Сноска 202: *Ib.* viii. 8. 2]

[Сноска 203: *Ib.* 8. 12]

[Сноска 204: Луцилий, *Фрагмент.* 9, изд. Baehrens.]

[Сноска 205: Вероятно, это означает, что считалось, что божество обитает в пироге, и что причастники вступали в общение не только друг с другом, вкушая его, но и с ним самим. На

самом деле это в точности аналогично сакраментальной церемонии латинского фестиваля, в ходе которой каждый город принимал участие в священной жертве, в данном случае белой телке. См. Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 96 и ссылка.]

[Сноска 206: Этот интересный обычай зафиксирован Сервием (н.э., iv. 374). Обо всей церемонии конфарреации см. De Marchi, *La Religione nella vita domestica*, стр. 155 и далее; Марквардт, *Privatleben*, стр. 32 и далее. Ср. также Гай i. 112.]

[Сноска 207: Гай л.с.]

[Сноска 208: Cic. *de Off.* i. 17. 54.]

[Сноска 209: т.е. *ius commercii* и *ius connubii*: первое позволяет мужчине требовать защиты в судах по всем делам, касающимся собственности, второе - требовать такой же защиты в случаях спорного наследования.]

[Footnote 210: i.e. *ius provocationis*, *ius suffragii*, *ius honorum*.]

[Сноска 211: Вот как я понимаю Сиг, *Юридические институты Рима*, стр. 223. В хорошо известном *Laudatio Turiae* мы имеем любопытный случай повторного брака путем коэмпции с манусом с определенной целью, связанной, конечно, с денежными вопросами. См. Комментарий Моммзена, перепечатанный в его *Книге правил*, том i.]

[Сноска 212: Вестермарк, *История человеческого брака*, гл. x.]

[Сноска 213: См., однако, любопытный отрывок, цитируемый Геллиусом (iv. 4. 2) из Serv. Сульпиций, великий юрист (выше, стр. 118 и далее), о *спонсалиях* в Лациуме вплоть до 89 г. до н.э.]

[Сноска 214: Другие подробности о платье см. В маркировке. *Privatleben*, p. 43.]

[Сноска 215: Cic. *de Div.* i. 16. 28.]

[Сноска 216: Эти строки подсказали Вергилию знаменитую четверку в конце четвертой эклоги. См. "*Месссианскую эклогу*" Вергилия, стр. 72.]

[Сноска 217: Все члены семьи обращались к ней как к *домине*. См. Marquardt, *Privatleben*, стр. 57, примечание 3. Следует отметить, что она внесла свой вклад в семейные ресурсы в виде приданого, данного ей отцом для поддержания ее положения.]

[Сноска 218: Эти подробности взяты главным образом из шестой книги Валерия Максима, *de Pudicitia*.]

[Сноска 219: Это подтверждается ссылкой на речь Катона в поддержку закона у Геллия, *Noct. Att.* vi. 13.]

[Сноска 220: Ливий xxxiv. 1, где речь Катона воспроизведена на языке Ливия и с использованием "современной" риторики.]

[Сноска 221: De Marchi, указ. соч. стр. 163; Марка. *Privatleben*, p. 87 foll. *Confarreatio* растворялся только с помощью *diffarreatio*, но это, возможно, использовалось только в уголовных целях.]

Другие формы брака не представляли такой же трудности, поскольку не носили сакраментального характера.]

[Сноска 222: Плутарх, *Аем. Полл.* 5.]

[Сноска 223: Ливий xl. 37.]

[Сноска 224: Ливий, *Эпит.* 48.]

[Сноска 225: Ливий xxxix. 8-18.]

[Сноска 226: Плутарх, *Катон Старший* 8.]

[Сноска 227: Геллий (х. 23) цитирует фрагмент речи Катона о Дотибе, в которой встречаются следующие предложения: "Si quid perverse taetreque factum est a muliere, multitatur: si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecerit, осуждение природы. In adulterio uxorem tuam siprehendisses sine indicio impune necares: illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est." При таких обстоятельствах смелая женщина могла бы отомстить незаконно.]

[Сноска 228: Геллий i. 6; ср. Ливий, *Эпит.* 59.]

[Сноска 229: например, *ad Fam.* xiv. 2.]

[Примечание 230: История отношений Цицерона, Теренции, Клодия и Клодии в Пинте. *Cic.* 29 слишком полна неточностей, чтобы на нее можно было положиться. В 41-й главе то, что он говорит о разводе и его причинах, следует воспринимать с осторожностью; похоже, это взято из какой-то записи, оставленной Тираном, вольноотпущенником и преданным другом Цицерона, и поскольку Цицерон, очевидно, любил этого человека гораздо больше, чем свою жену, мы можем понять, почему эти двое должны были невзлюбить друг друга.]

[Сноска 231: Плутарх, *Т. Гракх.* 1; *Gaius Gracch.* 19. Сохранившиеся письма Корнелии, вполне возможно, подлинные.]

[Примечание 232: Недавнее издание *Ars amatoria* Пола Брандта содержит введение, в котором хорошо выражены эти моменты.]

[Сноска 233: Катулл 72. 75.]

[Footnote 234: *Cicéron et ses amis*, p. 175.]

[Сноска 235: Децим Брут, один из тираноубийц 15 марта 44 г.]

[Сноска 236: Sall. *Kam.* 25.]

[Сноска 237: Plut. *Лукулл* 6.]

[Сноска 238: *Cic. ad Fam.* viii. 7. письмо Целия, в котором он рассказывает о женщине, которая развелась со своим мужем без всякого предлога в тот самый день, когда он вернулся из своей провинции.]

[Сноска 239: Plut. *Катон мин.* 25 и 52. Плутарх, кажется, использует здесь Антикатона Цезаря, но факты, должно быть, были хорошо известны.]

[Сноска 240: например, *ad Att.* xv. 29.]

[Сноска 241: *ad Fam.* ix. 26.]

[Сноска 242: Так называемое *Laudatio Turiae* хорошо известно всем изучающим римское право как поднимающее сложный вопрос римского юридического наследования; но его также можно рассматривать как реальный фрагмент римской литературы, ценный также для некоторых моментов истории того времени, которое он охватывает. Впервые она была сделана доступной и понятной Моммзену в 1863 году, и статья, которую он тогда написал об этом, недавно была перепечатана в его *Книге "Правила поведения"*, том i, вместе с новым фрагментом, обнаруженным на том же месте, что и другие, в 1898 году. Этот фрагмент и обсуждение его связи с целым можно найти в "*Классическом обзоре*" за июнь 1905 г., стр. 261; "похвала" без нового фрагмента в "*C.I.L.*" vi. 1527.]

[Сноска 243: Приложение. до н.э. iv. 44. Идентификация была подвергнута сомнению в последнее время, но, как я думаю, без должной причины. Смотрите мою статью в *Классическом издании*, 1905, стр. 265.]

[Сноска 244: Вот как я интерпретирую новый фрагмент. См. *Классическое откр. кз.* стр. 263 и далее]

[Сноска 245: По юридическому вопросу см. Моммзен, *Gesammelte Schriften*, i. стр. 407 и далее.]

[Сноска 246: Нижеследующий отчет составлен по материалам Аппиана iv. 44, Валерия Максима vi. 7. 2 и *Laudatio*. Аппиан сохранил около пятидесяти историй о побегах в то время, и единственная, которая соответствует *Laudatio*, - это история Лукреция.]

[Сноска 247: Ньюман, *Политика Аристотеля*, i. стр. 372.]

[Сноска 248: Список лучших авторитетов приведен в начале книги профессора Уилкинса. Из них, безусловно, наиболее полезным для студента является раздел в *частной книге* Марквардта, стр. 79 foll. Два тома Крамера ("*История познания*" и др.), которые охватывают всю античность, наиболее ценны, по его словам, своей широтой взглядов. См. также Н. Nettleship, *Лекции и эссе*, гл. iii. foll.]

[Сноска 249: Plut. *Катон Старший*, гл. xx.]

[Сноска 250: Plut. *Аем. Павел*. глава vi.]

[Сноска 251: Plut. *Катон малый*, 1 год н.э. То, что рассказано в предыдущей части этой главы, возможно, является выдумкой, основанной на характере взрослого человека; но эта информация в конце может быть почерпнута из современного источника.]

[Сноска 252: Значение. Макс. iii. 1. 2.]

[Сноска 253: В "*Жизни*" Плутарха есть единственная история детства Цицерона, глава ii, о том, что родители посещали его школу из-за его известности как ученого и т.д., Но я не придаю этому большого значения.]

[Сноска 254: Итак, в *объявлении* QF iii. 1. 7: де Чичероне спрашивает меня о семпере рогасе и т.д.]

[Сноска 255: Ib.]

[Сноска 256: Ib. iii. 3. 4.]

[Сноска 257: Ib. iii. 9.]

[Сноска 258: Смотрите несколько фрагментов в приложении к изданию Ризе "Остатки мениппейских сатир" Варрона, стр. 248 и далее.]

[Сноска 259: *De Rep.* iv. 3. 3.]

[Сноска 260: Plut. *Катон* 20.]

[Сноска 261: Вероятно, есть намек на точку зрения стоиков о том, что разум достигается только на четырнадцатом году жизни, в строке Вергилия в *Ecl.* 4. 27.]

[Сноска 262: у Нония, стр. 108, с. в. эфиппий. Ср. отчет о воспитании младшего сына Катона, Плуто.*Катон*, 20. Ср. также Virg. *Aen.* ix. 602 foll.]

[Сноска 263: в Nonius, стр. 156, s. v. puerae.]

[Сноска 264: стр. 281, изд. Müller.]

[Сноска 265: Она. *Оды* iii. 6.]

[Сноска 266: Дионис. Гал. ii. 26.]

[Сноска 267: Cic. *pro Cluentio* 60. 165; Марка. *Privatleben*, p. 87.]

[Сноска 268: Смотрите статью автора в *Классическом издании* vol. x. стр. 317, в которой собраны доказательства в поддержку этой точки зрения. То, что претекста имела квазисакральный характер, кажется несомненным; см., например, Hor. *Epod.* 5. 7; Persius, v. 30; pseudo-Quintilian, *Declam.* 340. Смотрите Henzen, *Acta Fratrum Arvalium* 15, о pueri patrimi et matrimi, представляющих в этом древнем культе детей старой римской семьи.]

[Footnote 269: Cic. *de Legibus*, ii. 59.]

[Сноска 270: Polyb. vi. 53. Отчет о практике laudatio см. в Marq. *Privatleben*, p. 346 foll. Это тоже выродилось в фальсификацию.]

[Сноска 271: Полный список игр можно найти в Marquardt, *Privatleben*, стр. 814 и далее.]

[Сноска 272: Этот вопрос обсуждается Квинтилианом, i. 2.]

[Сноска 273: Plut. *Аем*. Ошибка. 6.]

[Сноска 274: Полная информация о начальных школах в Уилкинсе, глава iv., и Marq, стр. 90 и далее.]

[Сноска 275: Квинтил. i. 3. 14.]

[Сноска 276: Плутарх осторожно сообщает нам, что Эм. Павел сам осуществлял этот надзор (гл. vi.).]

[Сноска 277: *Pro Flacco* 4, 9. Ср. до *Квинты. Fratr.* i. 2. 4.]

[Сноска 278: То, что мальчик не всегда был почитителен, показано в забавном отрывке из Плавта. *Bacchides*, III. iii. 34 сл.]

[Сноска 279: Сенатор. *Controversiae*, vii. 3. 8.]

[Сноска 280: Лондон, О.Дж. Клей и сыновья, 1895.]

[Сноска 281: Фортуна встречается много раз, например, в так называемых сентенциях Варрониса, напечатанных в конце издания Ризе фрагментов мениппейских сатир Варрона. Это характерно для того периода.]

[Сноска 282: Hor. *Послание.* i. I. 70.]

[Сноска 283: Марк. *Приватлебен*, стр. 95 и далее; Уилкинс, стр. 53.]

[Сноска 284: Хорошим примером этого является хорошо известный случай с кредитом Брута кипрским саламинянам: см. Особенно Cic. ad Alt. v. 21. 12.]

[Сноска 285: Hor. *Ars Poet.* 323 foll.]

[Сноска 286: Моммзен, *История Рима*, iv. стр. 563.]

[Сноска 287: Квинтилиан придерживался мнения, что греческие авторы должны предшествовать латинским: i. I. 12.]

[Сноска 288: *De Oratore*, i. 187.]

[Примечание 289: В книге много тем другого рода, но все они проиллюстрированы совершенно одинаково.]

[Footnote 290: H. Jordan, *M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant*, p. 80.]

[Сноска 291: Полную информацию по этому вопросу можно найти в Marquardt, *Privatleben*, стр. 131 и далее.]

[Сноска 292: См. Мои *Римские фестивали*, стр. 56. Либералия (17 марта) была обычным днем перемен и удобным днем для зачисления тиронов.]

[Сноска 293: Смотрите очень интересное примечание (11) в Marq. стр. 123, касающееся зачисления в муниципальные города.]

[Сноска 294: "За Целио", 4. 9.]

[Сноска 295: Ливий xlv. 37. 3.]

[Сноска 296: *Pro Caelio*, 30. 72.]

[Сноска 297: *Pro Caelio*, 31. 74.]

[Сноска 298: *Римское образование*, гл. v.]

[Сноска 299: *Rhetorica ad Herennium*, начало. Датируется эта работа примерно 82 годом до н.э. См. Статью автора в "Филологическом журнале", х. 197.]

[Сноска 300: Х. Неттлшип, *Лекции* др., стр. III; Уилкинс, стр. 85; Квинтил. xii. 2.]

[Сноска 301: Уилкинс, *l.c.*]

[Сноска 302: Квинтил. i. 4. 5; xii. 1. 1; xii. 2 и 7.]

[Сноска 303: *Ib.* xii. 1. 11.]

[Сноска 304: Plut. *Cic.* 4; *Caes.* 3.]

[Сноска 305: *ad Fam.* xvi. 21. Перевод основан на переводе мистера Шакбурга.]

[Сноска 306: См. "*Der Horn, Gutsbetrieb*" Х. Гуммеруса, перепечатано из "*Klio*", 1906: превосходный образец экономического исследования, которому я многим обязан в этой главе.—Э. Мейер, "*Die Sklaverei im Altertum*", стр. 46.]

[Сноска 307: Страбон, стр. 668.]

[Сноска 308: Ливий, xlv. 34.]

[Сноска 309: Ливий, *Эпит.* 68.]

[Сноска 310: Цезарь, *Б.Г.* ii. 33.]

[Сноска 311: *ad Att.* v. 20. 5.]

[Сноска 312: Валлон (*Hist. de l'Esclavage*, ii. стр. 38) отметил, что только Вергилий проявляет чувство нежности к участи пленника, цитируя *Эна.* iii. 320 фолл. (речь Андромахи): но это касалось судьбы принцессы, причем мифической принцессы. Ни один латинский поэт того времени не проявлял настоящего сочувствия к пленникам или рабам.]

[Сноска 313: *Cic. pro lege Manilia* 12. 23. Плутарх в своей "*Жизни Помпея*" 24 добавляет, что римляне с хорошей репутацией присоединились бы к пиратскому бизнесу, чтобы получить прибыль таким скандальным способом.]

[Сноска 314: сет. 32 августа периода до Августа.]

[Сноска 315: Варрон, *R.R.* ii. 10; Диодор xxxvi. 3. 1.]

[Сноска 316: *Нор.Послание.* i. 6. 39:—

"Mancipiis locuples eget aeris Cappadocum rex:
Ne fueris hic tu."

]

[Сноска 317: Варрон, *P.P.* i. 17.]

[Сноска 318: *Ib.* 2. 10. 3.]

[Сноска 319: *Op. Epode* 2. 65. *Ср. Tibull.* ii. 1. 25 "turbaque vernarum, saturi bona signa coloni."]

[Сноска 320: См. Гуммерус, *указ. соч.*, стр. 63, который рассматривает *obaeratus* Варрона как эквивалент *addictus* римского долгового права.]

[Сноска 321: Смотрите хорошо известное описание Форума в "*Куркулио*" Плавта, iv. 1: "pone aedem Castoris, ibi sunt subito quibu'кредо мужчины"; Марк.*Privatleben*, стр. 168; Валлон, *указ. соч.*, гл. ii.]

[Сноска 322: Геллий iv. 2 приводит выдержку из эдикта эдилов, составленного с целью противодействия такой острой практике.]

[Сноска 323: Ливий xxxix. 44.]

[Сноска 324: *N.H.* vii. 55. Эта история дает хороший пример торговых хитростей: мальчики не были близнецами и приехали из разных стран, хотя и были совершенно похожи.]

[Footnote 325: *Bevölkerung*, p. 403.]

[Сноска 326: *Cic. Отключено.* ii. 21. 73.]

[Сноска 327: Гален, v. стр. 49, изд. Кун; Гален был уроженцем этого великого города.]

[Сноска 328: доктор Гаммерус обещает это.]

[Сноска 329: *Sittengeschichte*, i., изд. 5, стр. 264.]

[Сноска 330: Вероятно, написана Клодием в 58 году.]

[Сноска 331: *Объявление Аскония в защиту Корнелия.*, изд. Кларк, стр. 75; Вальсирующие, *Профессиональные корпорации*, i. стр. 90 и далее]

[Сноска 332: Выпечка как ремесло появилась, как мы видели, только в 174 году; Плавт умер в 184 году; таким образом, возникает некоторое сомнение в римском характере отрывка, или, возможно, речь идет не об общественной пекарне.]

[Сноска 333: Смотрите замечательный отрывок из Атенея (vi. 104), цитируемый Марквардтом, *Privatleben*, стр. 156, об использовании рабов в Риме для непроизводительного труда.]

[Сноска 334: Саллюстий, например, говорит о своей собственной жизни на пенсии, что он не стал бы заниматься "agrum colendo aut venando, servilibus officiis".—*Catil.* 4.]

[Сноска 335: Валлон, *История. de l'Esclavage*, том ii. глава iii.]

[Сноска 336: Салл. *Катил.* 12.]

[Сноска 337: iv. 3. 11 и 12. Плутарх говорит, что в качестве военного трибуна Катон младший имел при себе пятнадцать рабов. — Катон младший 9.]

[Сноска 338: Катон, *R.R.* 2. I.]

[Сноска 339: В гл. 185 он упоминает города, где многие другие предметы можно купить лучше всего и дешевле всего: в Риме, например, одежду и ковры, на фермах Калес и Минтурна - железные орудия труда и т.д. См. также Гуммерус, указ. соч. стр. 36.]

[Сноска 340: *R.R.* 10 и 11.]

[Сноска 341: *Assiduos homines quinquaginta praebeto*, то есть подрядчик: глава 144.]

[Сноска 342: Смотрите обсуждение этого слова в Gummerus, стр. 62 foll. Варрон определяет их как тех, кто "является операми в услужении данту за денежное вознаграждение за должника" (*de Ling. Lat.* vii. 105), то есть они отдают свой труд в противовес рабству.]

[Сноска 343: *R.R.* i. 22.]

[Сноска 344: Ср. *Plut. Катон Старший* 21 год; раб должен быть на работе, когда он не спит.]

[Сноска 345: Это вопрос, в который я не могу вдаваться, но вряд ли может быть сомнений в том, что в долгосрочной перспективе бесплатный труд дешевле. См. Кэрнс, *Власть рабов в Америке*, гл. iii.; Сальвиоли, *Le Capitalisme*, стр. 253; Колумелла, *Praejatio*.]

[Сноска 346: Гуммерус, стр. 81. В то же время мелкий земледelec - очевидный факт в Колумелле: он возделывает свой участок земли, не работая на других.]

[Сноска 347: Для Спартака, *Аппиан*, *Б.Г.* i. 116; для Целия, *Цезарь*, *г. до н. э.* iii. 22; и *ср. до н.э.* i. 56.]

[Сноска 348: *R.R.* ii. 10.]

[Сноска 349: Колумелла, i. 8.]

[Сноска 350: *Гай* ii. 15.]

[Сноска 351: Примеры преданности рабов своим хозяевам: *Аппиан*, *до н. э.* iv. 29; *Сенека*, *de Benef.* iii. 25.]

[Сноска 352: *ad Fam.* xvi. 1; прочтите также очаровательные письма, которые следуют далее. Тирон был освобожден Цицероном в неизвестном времени.]

[Сноска 353: *дополнение.* xii. 10.]

[Сноска 354: Смотрите статью "Освобождение" в *Сборнике древностей*.]

[Сноска 355: Только при осуществлении избирательного права он был ограничен со всеми своими собратьями-либертини одним из четырех городских племен.]

[Сноска 356: *Значение.* Макс. viii. 6. 2.]

[Сноска 357: Sall. *Cat.* 24 и 56; Валлон, ii. стр. 318 и далее.]

[Сноска 358: см., например, Cic. *ad Att.* ii. 24. 3; Асконий, в "*Милонианах*" (изд. Кларк, стр. 31); Среди рабов Милона были гладиаторы, и они были организованы по-военному (an antesignanus, стр. 32), когда он встретился с Клодием.]

[Сноска 359: *Pro Sestio*, 15. 34.]

[Сноска 360: *De Pet. Consulatus*, 5. 17.]

[Сноска 361: *до квинты. Братство.* i. 2 до конца.]

[Сноска 362: Страбон, стр. 381.]

[Сноска 363: Дион. Гал. iv. 23.]

[Сноска 364: Валлон, указ. цит. ii. стр. 436.]

[Footnote 365: See Otto Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, ch. iv. and v.]

[Сноска 366: см. Marquardt, *Privatleben*, стр. 172.]

[Сноска 367: Валлон (ii. стр. 255 и далее) собрал ряд примеров. Рабы Плавта в такой же степени афиняне, как и римляне, но условия в каждом случае были бы практически одинаковыми. Ср. Варрон, *Мужчины.* Сб. изд. Riese, p. 220: "Crede mihi, plures dominos servi comederunt quam canes."]

[Сноска 368: Петроний, Сб. 75.]

[Сноска 369: Диодор xxxiv. 38.]

[Footnote 370: "Coli rura ab ergastulis pessimum est et quicquid agitur a desperantibus," wrote Pliny (*Nat. Hist.* xviii. 36) в знаменитом отрывке о латифундиях.]

[Сноска 371: *R.R.* i. 17.]

[Сноска 372: Смотрите несколько превосходных замечаний по этому вопросу в *Ессе Ното*, ближе к концу главы xii. ("Универсальность христианской республики").]

[Сноска 373: *Власть рабов*, гл. v., и особенно стр. 374 foll. Живую картину подлых белых можно найти в "*Гекльберри Финне*" Марка Твена, составленном на основе его собственного раннего опыта, особенно в главе xxi.]

[Сноска 374: "Regum nobis induimus animos", - писал Сенека в хорошо известном письме о притязаниях рабов как людей, *Ep.* 47.]

[Сноска 375: *Жизнь в древних Афинах*, стр. 55.]

[Сноска 376: Об этом взгляде на Lar см. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, стр. 148 и далее; и примечание автора в *Archiv für Religionswissenschaft*, 1906, стр. 529.]

[Сноска 377: *Фасти*, vi. 299.]

[Сноска 378: Катон, *R.R.*, глава ii. начало.; Гораций, *Epode* 2. 65; Сб. ii. 6. 65.]

[Сноска 379: *Римская религия*, стр. 214.]

[Сноска 380: Или *lectulus adversus*, то есть напротив двери; Аскон. изд. Кларк, стр. 43, хороший проход для содержимого атриума.]

[Сноска 381: См. "*Помпеи*" Мау, стр. 248.]

[Сноска 382: Мау, *Помпеи*, стр. 240.]

[Сноска 383: О степени, до которой это могло быть доведено, можно догадаться из послесловия. *Кат.* 12.]

[Сноска 384: Квинту Цицерону, разбогатевшему вместе с Цезарем в Галлии, приглянулся пригородный дом: *Cic. ad Q. Fr. iii. l. 7*. В этом письме Марк сообщает своему брату, что сам он не очень-то стремился к такой резиденции и что его дом на Палатине обладал всем очарованием такого пригорода. Его вилла в Тускулуме, как мы увидим, служила домом недалеко от города.]

[Сноска 385: Большое количество отрывков о шуме и толпе в Риме собрано в *Записках мэра к Ювеналу*, стр. 173, 203, 207.]

[Сноска 386: Некоторые интересные замечания об общем облике города можно найти в заключительной главе книги Ланчани "*Руины и раскопки*". О расточке в другом месте, кроме Рима, см. Ниже, стр. 256.]

[Footnote 387: *ad Fam. ii. 12*: "Urbem, Urbem, mi Rufe, cole, et in ista luce viva Omnis peregrinatio (foreign travel) obscura et sordida est iis, quorum industria Roma potest illustris esse," etc.]

[Сноска 388: Лук. ii. 22 фол.; iii. 1060 фол. Ср. Seneca, *Ep.* 69: "Frequens migratio instabilis animi est!"]

[Сноска 389: *de Oratore*, ii. 22.]

[Примечание 390: Эти дома вместе с берегом, на котором они стояли, давно утонули в море, и мы только сейчас, благодаря настойчивости мистера Р.Т. Гюнтера из Колледжа Магдалины, осознаем их положение и бывшее великолепие. Смотрите его книгу *о Движениях Земли в Неаполитанском заливе*.]

[Сноска 391: См. *Cic. pro Caelio*, §§ 48-50.]

[Footnote 392: *Cicero's Villen*, Leipzig, 1889.]

[Сноска 393: Варрон, *P.P.* iii. 13.]

[Примечание 394: Вилла когда-то тоже принадлежала Сулле, и аристократические связи доставляли ее владельцу некоторые неприятности. См. выше, стр. 102.]

[Сноска 395: Шмидт, указ. соч. стр. 31.]

[Footnote 396: *de Finibus*, iii. 2. 7.]

[Сноска 397: *о законе*, ii. 1.]

[Сноска 398: указ. соч. стр. 15. Друг-путешественник заверил меня, что Фибрено - восхитительный ручей.]

[Сноска 399: *до квинты. Fratr.* iii. 1.]

[Сноска 400: *ad Att.* xiii. 19. 2.]

[Сноска 401: Для получения дополнительной информации об удобствах виллы в Арпинуме см. Schmidt, указ. соч.]

[Сноска 402: *дополнение к ii.* 14 и 15.]

[Сноска 403: О.Э. Шмидт, *Краткое изложение Вехселя Цицерона*, стр. 66 и 454; но см. его "*Виллен Цицерона*", стр. 46, примечание.]

[Сноска 404: *ad Att.* xii. 19 init.]

[Сноска 405: См. Сенеку, *Послание*. 69, о тревожном влиянии постоянной смены обстановки.]

[Сноска 406: В письме молодого Цицерона к Тирону есть исключение, переведенное выше, стр. 202.]

[Сноска 407: Цензорин, *О смерти натали*, 23. 6.; Плиний, *N.H.* vii. 213. Обо всем, что касается разделения дня, см. Marquardt, *Privatleben*, стр. 246 и далее]

[Сноска 408: В XII Таблицах упоминались только восход и заход солнца (Плиний, *l.c.* 212). Позже маршал консула провозгласил полдень (Варрон, *de Ling. Lat.* vi. 5), а также окончание гражданского дня. Ср. Варрон, *Л.Л.* vi. 89.]

[Сноска 409: *Cic. pro Quinctio*, 18. 59.]

[Сноска 410: См. статью "Часовое дело" в *Сборнике древностей*, том i.]

[Примечание 411: Наши современные часы называются равноденственными, потому что они установлены на продолжительность естественного часа в дни равноденствий. Эта система, по-видимому, появилась лишь в конце периода Империи.]

[Сноска 412: О водяных часах см. Marquardt, указ. соч. стр. 773 и далее.]

[Сноска 413: Строки настолько хороши, что я могу рискнуть процитировать их полностью у Гелла. iii 3 (ср. Риббек, *Фрагмент. Gomicorum*, ii. p. 34): "parasitus esuriens dicit:

Ut illum di perdant primus qui horas repperit,
Quique adeo primus statuit hic solarium.
Qui mihi comminuit misero articulatim diem,

Nam olim me puero venter erat solarium,
Multo omnium istorum optimum et verissimum:
Ubivis ste monebat esse, nisi quom nihil erat.
Nunc etiam quom est, non estur, nisi soli libet.
Itaque adeo iam oppletum oppidum est solariis,
Maior pars populi iam aridi reptant fame."

Четвертая строка содержит истину о природе человека, иллюстрации которой можно легко найти и в наши дни.]

[Сноска 414: Плиний, *N.H.* xv. 1 фолл, излагает историю нефтяной промышленности. О свечах см. Marquardt, *Privatleben*, стр. 690.]

[Сноска 415: см. Выше, стр. 93.]

[Сноска 416: Марк. *Privatleben*, p. 264.]

[Сноска 417: Cic. *ad QF* ii. 3. 7. Для липпитудо, *ad Att.* vii. 14.]

[Сноска 418: Hor. *Epist.* ii. 1. 112; Плиний, *Ep.* iii. 5, 8, 9.]

[Сноска 419: Hor. *Epist.* ii. 1. 103: "Romaе dulce diu fuit et solenne reclusa Mane domo vigilare, clienti promere iura" etc. Любопытно, что вся наша информация об этом раннем бизнесе почерпнута из литературы Империи. Единственный отрывок Цицерона, который Марквардту удалось найти для иллюстрации, к несчастью, относится к его практике в качестве губернатора Киликии (*ad Att.* vi. 2. 5).]

[Сноска 420: например, *объявление Qf* i. 2. 16.; и Q. Cic. *Commentariolum petitionis*, sec. 17.]

[Сноска 421: Посмотрите, что он говорит о М. Манилии в "*De Opame*". iii. 133.]

[Сноска 422: Это слово, по-видимому, связано с *ieiunium* (Растение. *Куркулио* l. i. 73; Фест, стр. 346) и, таким образом, отвечает на наш *break_fast_*. Глагол - *ientare*: Афраний: фрагмент. "*ientare nulla invitat.*")]

[Сноска 423: Гален, том vi. стр. 332. Я беру эту цитату из Marquardt, *Privatleben*, стр. 257; другие можно найти в примечаниях к этой странице. Марквардт, по-видимому, был первым, кто привел свидетельства авторов-медиков о римских трапезах.]

[Сноска 424: Смотрите интересный отчет о них (*salutatores, deductores, assectatores*) в *Commentariolum petitionis* из Q. Цицерон, 9. 34 сл.]

[Сноска 425: см. Выше, стр. 109.]

[Сноска 426: Q. Цицерон, *_Comment.* Пет._9. 37.]

[Сноска 427: См. "*Римские празднества*" автора, стр. 125 и далее.]

[Сноска 428: Плутарх, *К. Гракх*, 6.]

[Сноска 429: Cic. *ad Fam.* ii. 12.]

[Сноска 430: Фрагмент. 9. Baehrens, *Fragm. Поэт. Рим.* стр. 141. Ср. Гален, том х, стр. 3 (Кун).]

[Сноска 431: Ливий xlv. 36; Cic. *ad Fam.* i. 2; об известном случае "препятствия" пространной речью, Гелл. iv. 10.]

[Сноска 432: Фест, стр. 54.]

[Сноска 433: *ad Fam.* vii. 30.]

[Сноска 434: *de Divinatione*, ii. 142, написано в 44 году до н.э.]

[Сноска 435: Варрон, *R.R.* i. 2; слова вложены в уста одного из говорящих в диалоге. Смотрите примеры из более поздних авторов, Marq., *Privatleben*, стр. 262.]

[Сноска 436: *дополнение.* xiii. 52; возможно, зимой от этой привычки часто отказывались.]

[Сноска 437: Сенека, *Ep.* 86. Весь этот отрывок в высшей степени интересен, поскольку иллюстрирует разницу в привычках, выработанную в течение двух столетий.]

[Сноска 438: Мау, *Помпеи*, стр. 300. См. выше, стр. 244.]

[Сноска 439: Смотрите план в Мау, стр. 357; Марквардт, *Privatleben*, стр. 272.]

[Сноска 440: Смотрите объяснение и иллюстрации профессора Персера в *Сборнике древностей*, том i, стр. 278.]

[Сноска 441: Тема общественных бань в Риме, по сути, относится к периоду Империи и слишком обширна, чтобы ее можно было рассматривать в главе о повседневной жизни римлянина времен Цицерона. Общественные бани уже существовали в Риме, но мы очень мало слышим о них, что показывает, что они еще не были незаменимым дополнением общественной жизни; но тот факт, что Сенека в уже цитированном письме описывает эдилов, которые проверяли температуру воды руками, показывает (1), что бани были общественными, (2) что в них была горячая вода, а не, как позже, горячий воздух (*thermae*). Говорят, что последнее изобретение появилось до Социальной войны (Val. Max. ix. 1. 1.). Некоторые бани, по-видимому, использовались частными лицами в качестве спекуляции и носили имя их строителя (например, *balneae Seniae*, Cic. *pro Cael.* 25. 61). Летом молодые люди все еще купались в Тибре (*pro Cael.* 15. 36). В Помпеях старейшие общественные бани (Стабианские; Мау, стр. 183) датируются вторым веком до нашей эры]

[Сноска 442: Традиция заключалась в том, что изначально отцы семейства также сидели, а не полулежали. См. Марк. *Privatleben*, p. 292 note 3.]

[Сноска 443: Колумелла, ii. 1. 19, очень интересная глава; Плутарх, *Катон мин.* 56.]

[Сноска 444: Plut. *Лукулл* 40; см. выше, стр. 242.]

[Сноска 445: Plut. *Quaest. Продолжение.* 1. 3 foll.; и Marq. стр. 295.]

[Сноска 446: Hor. Сб. i. 4. 86; ср. Cic. в *Pisonem*, 27. 67.]

[Сноска 447: Cic. *de Senect.* 14. 46.]

[Сноска 448: Луцилий, фрагмент. 30; 120 сл.; 168, 327 и т.д. Варрон написал сатиру Мениппа на чревоугодие, фрагмент которой сохранился у Геллия, vi. 16.]

[Сноска 449: Смотрите интересный отрывок в *Cic. pro Murena*, 36. 75, о поминальном пиршестве Сципиона Эмилиана.]

[Сноска 450: Катулл. 47. 5: "vos convivium lauta sumptuose De die facitis?"]

[Сноска 451: 26. 65 foll; Hor. *Od.* iii. 19 и комментаторы.]

[Сноска 452: *ad Fam.* vii. 26 57 года до н.э. Законом о роскоши, должно быть, был некий *lex Aemilia*, более поздний, чем Сулла. (См. Gell. ii. 24: "право на роскошь ценарную, на род *ciborum* и на модус *praefinitus est*".) Эта глава Геллия и Макроб. iii. 17 - самые безопасные отрывки, к которым можно обратиться по вопросу роста гурманства.]

[Сноска 453: см. Манро, *Пояснения Катулла*, стр. 92 и далее.]

[Сноска 454: Тибулл. ii. 1. 51 сл. Ср. ii. 5. 83 сл. Некоторые из них также описаны Овидием в его *Fasti*. Очаровательный рассказ о сегодняшнем фесте в тосканской деревне вы найдете в "Уголке на Апеннинах", написанном лидером Скоттом, главы xxviii. и xxix.: книга, полная значения для сельской жизни Италии, древней и современной.]

[Footnote 455: Wissowa, *Religion und Kultus*, p. 366. "Feriae" появилась вовремя, чтобы быть ограниченной публичными празднествами, в то время как "festus dies" охватывал все праздники.]

[Сноска 456: *de Legibus*, ii. 8. 19: ср. 12. 29.]

[Сноска 457: Georg. i. 268 foll. Катон уже говорил то же самое: *P.P.* ii. 4.]

[Сноска 458: Таким образом, Овидий описывает обряды, совершаемые *Flamen Quirinalis* на старом сельскохозяйственном празднике Робигалии (Робигус, божество плесени), как будто это был любопытный эпизод старой практики, о котором большинство людей ничего не знали.— *Фасти*, iv. 901 сл.]

[Сноска 459: Гринидж, *Юридическая процедура во времена Цицерона*, стр. 457.]

[Сноска 460: Это то же слово, что и наша *ярмарка*.]

[Сноска 461: *Фасти*, iii. 523 сл.; Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 51.]

[Сноска 462: *Римские праздники*, стр. 185. Этот обычай, несомненно, имел религиозное происхождение.]

[Сноска 463: *Ib.* стр. 268. Август ограничил этот срок тремя днями.]

[Footnote 464: Wissowa, *Religion und Kultus*, p. 170. На культ Сатурна в значительной степени повлияло греческое употребление, но этот конкретный обычай, скорее всего, произошел от латинского *farm*.]

[Сноска 465: см. Выше, стр. 172. Марквардт, *Приватлебен*, стр. 586; Фрейзер, *Золотая ветвь* (изд. 2), т. iii. стр. 188 и далее.]

[Сноска 466: Cic. *Verr.* I. 10. 31; где Цицерон жалуется на трудности, с которыми он столкнулся при ведении своего дела из-за количества людей с августа по ноябрь того года.]

[Сноска 467: Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 217 и далее.]

[Сноска 468: Смотрите отчет в Dion. Hal. vii. 72, взятый у Фабия Пиктора.]

[Footnote 469: See Friedländer in Marquardt, *Staatsverwaltung*, iii. p. 508, note 3.]

[Сноска 470: Полный отчет об этой процессии и весь вопрос о Ludi Romani см. в Friedländer, *l.c.*; Wissowa, *Religion und Kultus*, стр. 383 и далее; или в статье "Triumphus" в *Справочнике древностей*, изд. 2. Все отчеты во многом обязаны эссе Моммзена в *Römische Forschungen*, ii. стр. 42 и далее.]

[Сноска 471: О параллелизме между Ludi Plebeiі и romani см. Моммзен, *Staatsrecht*, ii. стр. 508, примечание 4.]

[Сноска 472: Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 179 и далее.]

[Сноска 473: *Ib.* стр. 69.]

[Сноска 474: *Ib.* стр. 72 и далее.]

[Сноска 475: Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 91 и далее.]

[Сноска 476: Ливий xxii. 10.7; Дионисий vii. 71.]

[Сноска 477: Плиний, N.S. xxxiii. 138. То же самое происходило один или два раза при Августе.]

[Сноска 478: Ливий xl. 44.]

[Сноска 479: ii. 16, 57 сл.]

[Сноска 480: У нас есть некоторые подробности о смехотворно расточительных расходах этого эдила у Плиния, N.H. xxxvi. 114. Он построил временный театр, который был оформлен так, как если бы он должен был стать постоянным памятником великолепия.]

[Сноска 481: Версия v. 14. 36.]

[Сноска 482: Plut. Caes. 5.]

[Сноска 483: Cio. *ad Fam.* viii. 9.]

[Сноска 484: *ad Att.* vi. I. 21.]

[Сноска 485: Нет никаких доказательств того, что рабы допускались при Республике. Колумелла, писавший при Нероне, первым упоминает об их присутствии на играх (*R.R.* i. 8. 2), если только

мы не рассматриваем виллика Горация, *Epist.* i. 14. 15, в качестве раба. См. Friedländer в Marq. стр. 491, примечание 4.]

[Сноска 486: см. Выше, стр. 13; Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 208.]

[Сноска 487: *Римские праздники*, стр. 241.]

[Сноска 488: *Ib.* стр. 77 и далее.]

[Сноска 489: Дионис. В Hal. in. 68 приводится это число для времен Августа, и, насколько нам известно, Август не расширял Цирк.]

[Сноска 490: Гелл. iii. 10. 16.]

[Сноска 491: Плиний, *H.X.* x. 71: он, по-видимому, имеет в виду более раннее время, и эта Цецина, возможно, была другом Цицерона. В другом отрывке Плиния мы слышим о красной фракции примерно во времена Суллы (vii. 186; Friedl. стр. 517). Ср. Тертуллиан, *de Spectaculis*, 9.]

[Сноска 492: Графическое изображение сцены в цирке во времена Августа см. у Овидия, *Ars Amatoria*, i. 135 foll.]

[Сноска 493: глава 59.]

[Сноска 494: см. Schol. Bob. о *pro Sestio*, новое издание Teubner, стр. 105.]

[Сноска 495: Значение. Макс. ii. 3. 2. Гипотеза относительно объекта выставки консулов принадлежит Бюхелеру в Рейне. Mus._1883, стр. 476 и далее]

[Сноска 496: Пример был подан, согласно Ливию, *Элит.* 16, неким Юнием Брутом в начале первой Пунической войны.]

[Сноска 497: *ad Fam.* ii. 3.]

[Сноска 498: Происхождение этих кровавых зрелищ на похоронах требует дальнейшего изучения. Это может быть связано с примитивным и диким обычаем приносить пленников в жертву гномам вождя, воспоминание о котором мы находим в "Жертвоприношении пленников Энеем" в Virg.*Aen.* xi. 82.]

[Сноска 499: См. "Энний" Люциана Мюллера, стр. 35 и далее, где он противопоставляет Моммзену интеллект и вкус римлян 2 века до н.э.]

[Сноска 500: Cic. *Брут*, 28. 107, где он говорит о том, что знал самого поэта.]

[Сноска 501: *объявление*, пункт ii. 19.]

[Сноска 502: *Pro Sestio*, 55. 117 сл.]

[Сноска 503: *объявление Q. Fratr.* iii. 5.]

[Сноска 504: Справедливо будет сказать, что эта информация взята из письма Асиния Поллиона Цицерону (*ad Fam.* x. 32. 3), и поскольку у Поллиона на каждого нашлось слово насмешки, мы можем не принимать во внимание историю со слезами.]

[Сноска 505: Тибицины, обычно неправильно переводимые флейтисты; этот характерный итальянский инструмент на самом деле был примитивным гобоем, на котором играли с помощью трости, и обычно двойной формы (две трубы с соединенным мундштуком), которые до сих пор иногда встречаются в Италии.]

[Сноска 506: см. Выше, стр. 70.]

[Сноска 507: Значение. Максимум. ii. 4. 2; Ливий, *Эпитет*. 48.]

[Сноска 508: Тацит, *Анна*. xiv. 20.]

[Сноска 509: Тертуллиан, *de Spectaculis*, 10; Плиний, *N.H.* viii. 20.]

[Сноска 510: Смотрите превосходный отчет в Hülsen, том iii. из книги Джордана "*Топография*", стр. 524 foll. Некоторые арки несущей аркады все еще видны.]

[Сноска 511: *ad Fam.* vii. 1. Профессор Тиррелл называет это письмо риторическим упражнением; не является ли оно скорее одним из тех, в которых Цицерон прилагает усилия к написанию, поэтому пишет менее легко и естественно, чем обычно?]

[Сноска 512: Я использовал перевод мистера Шакбурга с одним или двумя словесными изменениями.]

[Сноска 513: Плиний, *Нац. История*. viii. 21.]

[Сноска 514: *de Div.* i. 37. 80. Ср. рассказ в *Plut. Cic.* 5.]

[Сноска 515: *Hor. Ep.* ii. 82; *Квинтил.* ii. 3. Ил.]

[Сноска 516: Значение. Макс. viii. 10. 2. Говорили, что Цицерон научился жестикуляции как у Эзопа, так и у Росция.—*Plut.Cic.* 5.]

[Сноска 517: Плиний, *H.X.* vii. 128.]

[Сноска 518: *Pro Archia*, 8.]

[Сноска 519: *De Oratore*, i. 28. 129.]

[Сноска 520: *De Oratore*, iii. 27, 59.]

[Сноска 521: Полезный краткий обзор литературы по этому сложному предмету можно найти в Schanz, *Gesch. der rom. Literatur*, том i. (изд. 3), стр. 21 и далее.]

[Сноска 522: Это точка зрения Моммзена, *Hist.* iii. стр. 455, которая является общепринятой. Для получения дополнительной информации см. Teuffel, *История римской литературы*, i. (изд. 2), стр. 9. То, что они были в моде до мимуса, взято из *Cic. ad Fam.* ix. 16.]

[Сноска 523: *Plut. Sulla*, 2: ep. 36.]

[Сноска 524: Политические аллюзии в мимах, однако, не были чем-то неизвестным. Ср. *Cic.ad Alt.* xiv. 3, написано в 44 году до н.э., после смерти Цезаря.]

[Сноска 525: Все отрывки о Публилии собраны в издании его *Сентенций* мистера Бикфорда Смита, стр. 10 и далее. О мимах в целом читателя можно отсылать к превосходной статье профессора Персера в журнале *Smith's Diet. из Antiq.* изд. 2.]

[Footnote 526: *Animo aequissimo, ad Fam.* xii. 19. Возможно, он скорее имеет в виду, что лестные намеки на Цезаря не задели его чувств.]

[Сноска 527: См. Риббек, *Фрагмент. Комикс. Лат.* стр. 295 и далее.]

[Сноска 528: Сенека, *Послание.* 108. 8.]

[Сноска 529: Смотрите другую превосходную статью профессора Персера в *Издании Antiq.*]

[Сноска 530: См. *Журнал Хибберта* за июль 1907 г., стр. 847. Во втором смысле Цицерон часто использует множественное число "religiones", особенно. in *de Legibus*, ii.]

[Сноска 531: см. Миддлтон, *Рим в 1887 г.*, стр. 423; Гораций, *Сб.* i. 8. 8 foll.; Ниссен, *Итальянское землевладение*, ii. стр. 522.]

[Сноска 532: Фаулер, *Римские фестивали*, стр. 336 и далее.]

[Сноска 533: *Monumentum Ancyranum* (лат.), 4. 17.]

[Сноска 534: *de Nat. Deor.* i. 29. 82.]

[Footnote 535: Valerius Maximus, *Epit.* 3. 4; Wissowa, *Rel. und Kult.* p. 293.]

[Сноска 536: См., например, Дилл, *Римское общество от Нерона до Марка Аврелия*, гл. v.]

[Сноска 537: см., например, *pro Sestio*, 15. 32; в *Vatinium*, 7. 18.]

[Сноска 538: Августин, *Civ. Dei*, iv. 27.]

[Сноска 539: Ср. i. 63 foll.; iii. 87 и 894; v. 72 и 1218; и многие другие отрывки.]

[Сноска 540: iii. 995 сл.; v. 1120 сл.]

[Сноска 541: iii. 70; ст. 1126.]

[Сноска 542: ii. 22 сл.; iii. 1003; v. 1116.]

[Сноска 543: *Римские поэты республики*, стр. 306.]

[Сноска 544: Секрет можно найти в последних 250 строках Вк. iii., а также в начале и конце Вк. v.]

[Сноска 545: v. 1203; ii. 48-54.]

[Сноска 546: ст. 1129.]

[Сноска 547: "Философия никогда не затрагивала массы человечества, кроме как через религию" (*Декаданс*, достопочтенный А.Дж. Бальфур, стр. 53). Это истина, о которой Лукреций был глубоко, хотя и неудивительно, неосведомлен.]

[Сноска 548: см. Выше, стр. 115.]

[Сноска 549: например, xxi. 62.]

[Сноска 550: Риббек, *Фрагмент. Trag. Rom.* p. 54: Ego deum genus esse semper dixi et dicam coelitum, Sed eos non curare opinor quid agat humanum genus.]

[Сноска 551: см. Выше, стр. 114.]

[Footnote 552: See H.N. Fowler, *Panaetii et Hecatonis librorum fragmenta*, p. 10; Hirzel, *Untersuchungen zu Cicero's philosophischen Schriften*, i. p. 194 foll.]

[Сноска 553: см. Выше, стр. 115.]

[Footnote 554: Schmekel, *Die Mittlere Stoa*, p. 85 foll.; Hirzel, *Untersuchungen*, etc., i. p. 194 foll.]

[Сноска 555: Фрагменты собраны Э. Агадом, Лейпциг, 1898.
Подавляющее большинство найдено в Санкт-Петербурге. Augustine, *de Civitate Dei*.]

[Сноска 556: Как говорит Виссова (*Религия и Культ Реме́ра*, стр. 100), Юпитер не фигурирует в римском языке и литературе как личность, гремевшая громом или проливающаяся дождем, а скорее как само небо, объединяющее эти различные проявления активности. Наиболее известной иллюстрацией употребления, упомянутого в тексте, является строка Горация из *Оды* i. 1. 25: "manet sub love frigido venator".]

[Сноска 557: апрель. Август. *Civ. Dei*, iv. 11.]

[Сноска 558: *Ib.* vii. 9.]

[Сноска 559: апрель. Август. *Civ. Dei*, vii. 13: animus mundi здесь назван так, но, очевидно, отождествляется с Юпитером.]

[Сноска 560: *Ib.* vii. 9.]

[Сноска 561: *Ib.* iv. 11, 13.]

[Сноска 562: Август. *евангелие о консенсусе*. i. 23, 24. Ср. *Civ. Dei*, iv. 9.]

[Сноска 563: *Ib.* i. 22. 30; *Civ. Dei*, XIX. 22.]

[Footnote 564: See Wissowa, *Religion und Kultus*, p. 103.]

[Сноска 565: *de Rep.* iii. 22. См. выше, стр. 117.]

[Сноска 566: *de Legibus*, ii. 10.]

[Сноска 567: *de Nat. Deor.* i. 15. 40: "idem etiam legis perpetuae et aeternae vim, quae quasi dux vitae et magistra officiorum sit, lovem dicit esse, eandemque fatalem necessitatem appellat, sempiternam rerum futurarum veritatem." Хрисипп, конечно, говорил о греческом Зевсе.]

[Сноска 568: например, *de Off.* iii. 28; *de Nat. Deor.* i. 116.]

[Сноска 569: Гловер, *Исследования по Вергилию*, стр. 275.]

[Сноска 570: Интересно отметить, что в религиозном возрождении Августа Юпитеру отнюдь не принадлежит ведущее место. См. Картер, *Религия Нумы*, стр. 160, где, однако, отношение Августа к великому богу, возможно, преувеличено. Об отношении Юпитера Вергилия к судьбе см. Э. Норден, "*Эпистолярная техника Вергилия*", стр. 286 foll. Стоит отметить, что Сенека никогда не упоминает Юпитера как центр пантеона стоиков.—Дилл, *Римское общество от Нерона до М. Аврелий*, стр. 331.]

[Сноска 571: Смотрите статью автора в журнале *Хибберта*, июль 1907 г., стр. 847.]

[Сноска 572: *Plut. Sulla*, 6.]

[Сноска 573: Валерий Максим ii. 3.]

[Сноска 574: *de Div.* i. 32. 68.]

[Сноска 575: *Plut. Брут*, 36, 37.]

[Сноска 576: *Зал. Кат.* 51; *Сис. Кат.* iv. 4. 7.]

[Сноска 577: *Cic. de Rep.* iv. 24.]

[Сноска 578: Рид, *Академики Цицерона*, Введение, стр. 18.]

[Сноска 579: *дополнение к xii.* 36.]

[Сноска 580: *ad Att.* xii. 37.]

[Сноска 581: Светоний, *июль.* 88. См. Э. Корнеманна в *Клио*, т. i, стр. 95.]

[Сноска 582: Мы не знаем точно, когда было написано это предисловие. В настоящее время предисловия составляются, как правило, по окончании произведения, но, по-видимому, в древности такой практики не было, и внутренние свидетельства здесь убедительно свидетельствуют в пользу более ранней даты.]

[Сноска 583: *Эпод* 16. 54; ср. 30 и далее.]

[Сноска 584: сэр У.М. Рамзи, цитируется в *Мессиианской эклоге* Вергилия, стр. 54.]

[Сноска 585: доктор Дж.Б. Мэр, в *Мессиианской эклоге* Вергилия, стр. 118 и далее.]